

Дорога к счастью

Роман



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

По давно усвоенным законам аул теснился к реке. Казалось, напуганный прошлыми бедами, он притаился в густой зелени верб и акаций. Безветренная тишина стояла над ним, ее нарушал лишь шум реки. Местами над ним вились темно-сизые ленты кизячного дыма. Тонкий минарет главной мечети возвышался над аулом, и полумесяц на нем блестел, как надмогильный знак.

Аул был окружен выцветшим ковром толокни, за толокой шли пашни. Ровно и широко расстилалась закубанская степь, лишь кое-где глаз упирался в темно-синюю полосу леса, ближний хутор или селение.

Солнце клонилось уже к закату, когда Биболэт на рысях выехал из аула. Под ним был статный гнедой шеулох¹, породисто горбоносый, с пышной волнистой гривой и крупной белой вывездью на лбу — «зеркальным лбом», как говорят адыги.

Конь этот был единственно ценным в хозяйстве отца Биболэта и, как всякий отличающийся достоинствами конь, пользовался в ауле известностью.

Отец ни за что не хотел расставаться со своим конем, хотя нужда была постоянным гостем в его доме. Соседи, богатые орки², стремясь завладеть гнедым, не раз засылали подставных покупателей. Их бесил величавый вид потомка пшитля³, когда тот выезжал на своем завидном коне. Но старик не поддавался соблазну предлагаемой ему хорошей цены.

¹ Шеулох — редко встречающаяся порода кабардинской лошади.

² Орки — мелкодворянское сословие у адыгов в прошлом.

³ Пшитль — крепостной крестьянин.

«Назло оркам буду держать гнедого», — говорил он.

Биболэт ценил гнедого за его плавную рысь — «рысь-качели». Это — редко встречающееся достоинство коня, когда он несет седока гордо и стремительно, но плавно, без встряски.

В Биболэте трудно было узнать московского студента. Весной он приехал на каникулы в кепке и клетчатом костюме, а сейчас был одет в черную черкеску с белыми газырями и кинжалом. За плечами у него развевались большие крылья белого башлыка. В седле он сидел с непринужденной грацией горца, слегка сбочившись. Каракулевая шапка, низко надвинутая на глаза, придавала ему солидный, даже несколько суровый вид. Однако взыскательный адыгеец, увидя его, непременно бы сказал: «Адыг, но еще зеленый».

И он, конечно, не ошибся бы. Биболэт надолго был оторван от родного края и не выдерживал строгих адыгейских требований к верховой езде. Уже при выезде из аула он допустил непростительное нарушение традиции: уважающий себя адыгеец въезжает и выезжает из аула не иначе, как солидным, размашистым шагом. Кто же без нужды помчится по аулу, словно вестник несчастья!

Биболэт знал все эти правила, но сейчас не заботился об их выполнении: каникулы его кончались — всего несколько дней оставалось до отъезда. Радостное возбуждение Биболэта было пронизано сейчас грустью прощания с милой сердцу стихией верховой езды и с этими родными местами, где каждая ложбинка, каждый кустик были дороги ему с детства.

Все, кажется, изменилось здесь до неузнаваемости, все выглядит иначе, чем в детстве. Уменьшились масштабы, сократились расстояния. Вот рощица старых верб и белolistок — в детстве она представлялась ему таинственным дремучим лесом, полным чудес. Ему тогда казалось, что она страшно далеко от аула, а она почти рядом, и смешно даже называть ее рощей. Но Биболэт способен еще смотреть на все это через увеличительное стекло дорогих воспоминаний. Для него все здесь полно неповторимых запахов, ощущений.

Красивыми бросками гнедой загребает землю. Знакомая ликующая легкость наполняет грудь Биболэта, непреодолимый порыв вперед охватывает его.

И тут он опять допускает нарушение адыгейского обычая. Но уж этот проступок простил бы ему даже

самый строгий адыгеец. Такое случается и с людьми повзрослее. Да что там! Иной убеленный сединами старец выедет из аула, храня степенную важность, а затем поглядит вокруг с опаской и, не приметив насмешливого взгляда, подберет поводья и... ринется вспоминать молодость.

Не удержался и Биболэт: отъехав немного от аула, он ослабил поводья, наклонился и тронул каблуками бока коня. Гнедой понял и с места распластался в стремительном полете.

Но вот всадник остановил своего шеулоха. Конь, пофыркивая, бодро зашагал вперед, а Биболэт приподнялся на стремянах, оправил полы черкески и окинул взглядом степь вокруг.

Все так же бедна родная степь, как и десятки лет назад. Разбросанными, редкими ломтями чернеет пашня. Бурьян и колючки одолевают землю. Темнеют сухие заросли подсолнуха, не убранного с прошлого года, жутко отбрасывая длинную вечернюю тень... Стаи грачей и галок мечутся в вечерней тревоге.

Биболэт пересек пашни межевыми тропинками и выехал на дорогу.

До его слуха донеслись голоса: кто-то возбужденно понукал лошадей. Выехав из-за кустов, он увидел увязшую в яру тачанку. Возле нее метался малыш кучер. Две женские фигуры растерянно стояли в сторонке. Подъехав на почтительное расстояние, требуемое по обычаю присутствием женщин, Биболэт соскочил с седла, зацепил поводья за заднюю луку и деловито направился к тачанке, на ходу подтыкая за пояс полы черкески.

Женщины — старуха и молодая девушка — отошли немного в сторону, подчеркивая этим почтительную скромность перед незнакомым мужчиной.

— Надо было колеей ехать, а не по заросшей тине, — укоризненно заметил Биболэт мальчику.

— Да, поедешь!.. — смущенный своей неудачей и готовый расплакаться, обиженно бросил тот. — Там мы тоже чуть не завязли!

Тачанка, врезавшись колесами в густую грязь, глубоко осела. Лошади, тощие, вислобрюхие, стояли, безнадежно понутив головы, словно стыдились своей немоги.

Биболэт подошел к лошадям, тронул их взбившиеся

челки и расправил перепутавшиеся вожжи, затем вскочил на тачанку и, подготовив лошадей к дружному рывку, с диким гиканьем предков обрушил на их спины удары кнута. Лошади без большого труда выволокли тачанку. Биболэт помог мальчику расправить упряжь и только тогда повернулся к женщинам.

Старуха, пряча под платок прядь тронутых сединой волос, ждала, чтобы Биболэт, исполняя обычай, подошел первый. Как только он шагнул в их сторону, она с улыбкой поплыла навстречу.

— Спасибо, сын мой, да продлит твои дни аллах! Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не встретили такого славного... Наш упрямец не послушал нас: свернул с дороги... Спасибо! Да сделает аллах все хорошее на свете твоим уделом!

Подошла ближе и девушка, скромно отставшая от старухи.

— Мать, вы, я вижу, гости, — мельком взглянув на девушку, отвечал Биболэт. — Кучер ваш слишком молод, а дорога впереди не безопасна: всякий народ разъезжает в здешних местах. Пожалуйте к нам, переночуйте, а завтра спокойно поедете, куда вам надо.

Заметив тревожную бледность старухи и мелькнувший в глазах ее испуг, Биболэт не сомневался, что предложение его будет принято. Но старуха сказала:

— Нет, спасибо. Мы бы так поздно не выехали, если бы лошади не нужны были дома завтра. Не станем прерывать и твою дорогу...

— Это неважно: у меня нет спешного дела. Лучше будет, если вы вернетесь.

— А ты куда едешь, сын мой, не в наш ли аул Шеджерий?

— Да, в Шеджерий.

Разговаривая, Биболэт кидал озабоченные взгляды на своего коня, который беспокойно кружился и грыз удила.

— Сейчас я приведу его, — догадался мальчик.

Солнце село за темную гряду туч и огненным заревом зажгло полнеба. Откуда-то вынырнул холодный ветерок. Зловеще надвигались удлиняющиеся тени кустов. Тревога наступающей ночи давила тоской. Лошади, залаянные грязью, в испарине, мелко дрожали.

Девушке, видно, хотелось поскорее очутиться под крышей. Она смущенно и виновато шепнула что-то ста-

рухе. Но та была непоколебима и только строго повела бровью.

— Нет, доедем как-нибудь. А ты, сын мой, раз нам по пути, пересядь к нам, не побрезгуй обществом женщин. Поедем вместе, нам будет с тобой спокойнее.

Биболэт предпочел бы седло тачанке. Но эти слова: «...не побрезгуй обществом женщин...», эта заискивающая улыбка, эта покорная мольба в глазах... Такими пришли они из старого мира. Слишком хорошо знал Биболэт всю затаенную горечь их бесправной жизни, и первый образ, поразивший его детское сознание, был образ матери, украдкой утирающей слезы. Неприметной тенью мужа проходили они свою жизнь. Покорность, терпение и выносливость были мерилами их достоинств.

— Хорошо, — сказал Биболэт, — если не хотите вернуться, я и на это согласен... — и пристегнул оседланного коня к правому — карему.

Тачанка, скрипя, накренилась под тяжестью старухи, которая взобралась первой. Она уселась и стала кутаться в ворохи платков: шелковый персидский, сохранившийся, по-видимому, с молодых лет, заключил в пеструю рамку ее строгое лицо, а большой, мохнатый, с густой бахромой опустил на плечи. Успокоенная и довольная, что нашла надежного опутника, она заторопилась.

Девушка нерешительно остановилась, молча уступая Биболэту свое место. Старуха поддержала ее. Биболэт понял теперь, что старуха — мать девушки. По обычаю первенство и лучшее место принадлежат женщине; но, будучи дочерью хозяйки, девушка гостеприимно уступала свое место. Однако если бы Биболэт воспользовался ее приглашением, он показал бы незнание обычая, совершил бы неприличное. Он не попался на это безобидное коварство и, усадив девушку на ее место, сам сел рядом с мальчиком, лицом к женщинам.

Глава вторая

Биболэт смог теперь внимательно присмотреться к спутницам. Лицо старухи было в густых штрихах морщин. Былая красота отлилась в старческое благообразие, строгость которого подчеркивалась сомкнутыми бровями. Дочь сидела, опустив глаза и смущенно пере-

бирая кисти шарфа. Ей, наверное, было не больше шестнадцати лет. Тонкие брови и черные длинные ресницы резко выделялись на матовой белизне ее лица. Из-под пестрого шарфа выбивались пряди волнистых волос. Пучок бледных фиалок был вышит на воротнике простенького ее пальто. Рассматривая эти наивные цветы, необычные для адыгейки, которая любит восточную пестроту красок, Биболэт силился определить, что именно так заинтересовало его в девушке. Еще в яру он приметил в ней осмысленную сосредоточенность и отсутствие жеманной стыдливости, характерной для прежней черкешенки. Не это ли остановило его внимание? И где научилась эта девочка ценить скромную прелесть цветов?

Должно быть. Биболэт слишком пристально смотрел на девушку, и она, почувствовав его взгляд, подняла веки. Большие черные глаза глянули на него прямо, и он увидел в них ту пытливую робость правдивого, чистого сердца, которая опасается возможной неискренности и грубости других.

— Я и не спросила, какого ты рода, сын мой? — прервала вдруг молчание старуха.

— Мозоковых, — ответил Биболэт.

— Мозоковых?.. Мозоковых я, кажется, знала. Мозоков Измаил не дедом ли доводится тебе?

— Да, Измаил был моим дедом, — не очень охотно ответил Биболэт. Он не любил пристрастия старых людей к перетряхиванию всякой родословной пыли.

— Та-ак... Я знала твоего деда... Славный был человек, таких теперь и не сыщешь, — с обычным старческим многословием затянула старуха. — Он часто бывал у наших соседей, у покойного Дзеукожа, да будет ему джанат¹. И каждый раз заходил проведать мою бабушку, которая ведь была родом из вашего аула. Умный был человек. Измаил и обычаев крепко держался... — Она помолчала и прибавила со вздохом: — Что же поделаешь — смерть неумолима. Мало ли хороших людей покинуло этот мир!

Биболэт и девушка молчали. Они одинаково не почувствовали словам старухи, от которых веяло тленом смерти. В сгустившихся сумерках она и сама казалась призраком прошлого: черным ворохом темнел ее силуэт.

Разговор оборвался. В небе зажглись яркие звезды.

¹ Дж а н а т — рай.

Легучие мыши с тонким писком витали над тачанкой; лошади, утопая во мраке, всхрапывали будто где-то вдалеке. Старые рессоры скрипели, отзываясь на гулкий стук колес.

— Я слышала, у Мозоковых сын учится по-русски в большом городе. Он твой брат или родственник? — вспомнила вдруг старуха.

— А может, я и есть тот сын? — засмеялся Биболэт.

— Ты?.. Да нет, у тебя и внешность и все поступки адыгейские! — с заметным смущением сказала старуха.

— Если адыг учится, он вовсе не перестает быть адыгом. Наоборот, он еще лучшим адыгом станет.

— Так-то оно так... Но нынешняя молодежь ни на что не похожа: ни молитвы, ни корана. Это я не про тебя, сын мой. У тебя хоть вид человеческий.

В гневном порыве на молодежь старуха махнула рукой.

— Кто вернет былой дуней¹?... Можно ли забыть, как сохты² учили священные китабы³? Как они с сумками за плечами и с молитвами на устах ходили по домам за пропитанием. Радостно было подавать им. А теперь я даже не знаю, что и творится на этом свете! Даже женщины захотели учиться. Вот и наша заладила: хочу учиться! — кивнула старуха в сторону своей дочери.

Та наклонила голову, теребя конец шарфа.

Биболэт полушутливо сказал:

— Да? Если так, я на стороне твоей дочери. За то, что она хочет учиться, хвалить ее надо, а не упрекать.

— Не хочу, не хочу и слышать об этом! — сердито проговорила старуха. — Пусть она будет достойной адыгейкой, большего я не прошу у бога!

— Поучится, еще более достойной будет.

— Адыгейской женщине учение вовсе ни к чему. Не учились до сих пор, а были не хуже других: слава об их красоте и достоинствах долетала до самого Стамбула.

— Но эта слава ничего, кроме рабства, не принесла черкешенке: их продавали и покупали, как красивых животных, ими потешались богатые турки и татарские ханы.

Старуха озадаченно замолчала. Она не ожидала, что

¹ Дуней — мир, вселенная.

² Сохта — ученик духовной школы.

³ Китаб — арабская духовная книга.

ее слова можно обратить против нее же. Сотрясаясь от толчков тачанки, она упрямо твердила:

— Пустить свою дочь учиться, чтобы парни ее за локти таскали! Аллах сохранит меня от этого!.. Мужское дело совсем другое: если уж необходимо учиться, пусть мужчина учится, не забывая все же своей веры и своего народа.

Девушка чувствовала себя виноватой. Биболэту стало жаль ее.

— Училась где-нибудь или учишься? — обратился он к девушке.

— Нет, не училась и не учусь.

— В школу она не ходила, — ворчливо сказала старуха, — а дома немного училась.

— Все же немного училась? Я хочу стать твоим союзником, а ты так недоверчива! — прикинулся обиженным Биболэт.

— Да нет же!.. Мама так только говорит...

Сбоку тачанки промелькнула тень, и тут же послышался чей-то хриплый кашель. Старуха оглянулась и торопливо проговорила:

— Кажется, свой? Останови-ка, останови!

Кучер натянул вожжи. Лошади остановились.

— Спроси, кто такой? — сказала старуха шепотом, с тревогой взглядываясь в темноту, откуда приближалась тень.

— Эй, кто там? — крикнул Биболэт.

Выросшая из темноты фигура приблизилась к тачанке и в свою очередь спросила:

— А вы кто такие?

— Садись, довезем! — предложил Биболэт, взяв на себя роль хозяина.

Человек нерешительно взялся за борт тачанки. Лицо его трудно было рассмотреть. Мохнатая шапка ворохом чернела на голове, впадины глаз темнели, седая борода полумесяцем охватывала лицо.

— На подводе женщины? — полувопросительно сказал старик и снял руку с борта тачанки.

— Ничего.... Садись, поместимся, — торопливо промолвила старуха.

— Нет! Неудобно вваливаться в подводу, где женщины. Аул уж недалеко, дойду как-нибудь, продолжайте свой путь, — твердо сказал старик и отошел.

— Да ничего, садись! Нельзя же так сторониться

соседей, Малехож! — пошутила старуха, разглядев спутника.

— Хоть убей меня аллах! Чей же этот голос?.. О-уй-уйу! Да это же Хымсад!.. А это моя красавица Нафисет! — воскликнул обрадованный старик. — А это кто? — старик кивком головы указал на Биболэта.

— Это — гость...

— Гость — это хорошо!

— Не из отары ли так поздно идешь, Малехож?

В тоне старухи чувствовалась фамильярность, допускаемая в отношениях с чудаковатыми друзьями.

— Оттуда, оттуда, дорогая Хымсад! — отвечал старик. — Приходится маяться на старости лет. Не могу бросить хозяйство на беспечных сыновей... Надо царапать землю, пока жив. Умрем — пусть делают, что хотят...

— Ты довольно царапал землю, Малехож, за свою жизнь. Теперь предоставь это молодым. Тебе пора на отдых, пора отмаливать грехи.

— Не удастся как-то, Хымсад, не могу сидеть сложа руки. А с грехами... с грехами да свершится начертанное аллахом.

— Садись же, Малехож!

Нафисет поднялась, уступая место старнику. Поднялся и Биболэт.

— Теперь, когда вы нашли такого надежного спутника, я могу пересесть на своего коня, — предложил он.

Старик запротестовал:

— Нет, сын мой, это никуда не годится! Выходит, что мы, свои, встретились — и гостя с воза спихнули. Так не годится!

— Как? Так ты хочешь в полночь мимо нашего дома проехать! — удивленно проговорила старуха. — Разве мы не адыги и не имеем крова? Ни за что не отпущу... Нельзя так!

— Но я еду не к чужим — к сестре.

— Большое счастье, сын мой, — сказал Малехож. — иметь сестру и ехать к ней в гости. Но тебе будет легче оправдаться перед сестрой, нежели перед нами: чего только сестра не простит брату... Да, большое счастье иметь родных. Мы, старики, живем высохшими одинокими бодыльями в степи... И дети, как не свои дети...

— Если едешь к сестре, которую, может, давно не

видел, не стану удерживать. Грешно отнимать брата у сестры... А за кем же твоя сестра замужем? — спросила старуха.

— За Бехуковым.

— Имешь достойных родственников. Да сохранил аллах твою сестру на многие лета!

Биболэт терпеливо выслушал эти неизбежные формулы вежливости, отвязал коня и стал прощаться.

— Как повидаешься с сестрой, заходи и к нам, сын мой, отведай нашу соль-кашу, — сказала старуха, протянув ему руку.

— Спросишь Устаноковых, всякий воробей на плетне укажет тебе их дом, — дополнил Малехож, зная, что хозяйка не называла фамилии по обычаю, запрещающему женщине произносить имя мужа.

Нафисет хотела сойти с тачанки, чтобы проститься, но Биболэт не позволил ей.

— Хоть ты и выказала недоверие ко мне, все же я остаюсь твоим союзником. Если понадобится помощь, пиши к нам в город. Пиши по этому адресу, — Биболэт протянул девушке клочок бумаги, на котором вселеную напсал адрес.

— Ты тоже выказываешь недружелюбие: в полночь проходишь мимо нашего дома. Значит, мы — квиты. А в союзники приму тебя охотно, — с неожиданной смелостью ответила Нафисет.

Биболэт вскочил на пугливо шарахнувшегося коня и скрылся во мраке.

Глава третья

Бехуковы были из стародавних уорков аула. Многие завидовали их достатку. Огороженный новеньким забором, двор Бехуковых выделялся в ряду соседних дырявых плетней. Всегда был полон зерна их амбар под зеленой крышей, а баз не вмещал всего скота. Косяк кабардинских лошадей поддерживал уоркское достоинство семьи. В летнюю страдную пору бехуковские мажары развозили по полям батраков, двор наполнялся перестуком отбиваемых кос, оглашался горластым пением баграчек.

Глава Бехуковых, Хаджи, принадлежал к группе тех набожных седобородых завсегдатаев мечети, перед которыми благоговели верующие адыгейцы. Он казался

человеком, отрекшимся от всего мирского. Но хоть и обратился сердцем к аллаху Хаджи, он вопреки своей святой славе, выглядел молодцевато, никогда не забывал своего оркского происхождения и часто наказывал своим сыновьям:

— Помните, что вы от людей произошли! Не водитесь со всякими пшителями, держите себя достойно.

Если заваривалось в ауле какое-либо кляузное дело, неизменным участником его оказывался властно постукивающий костылем Хаджи.

Адыги обычно воздерживаются от злословия по адресу стариков. Если иногда и заходила речь о молодости Хаджи, аульчане отделялись добродушными намеками: «В свое время был бравым... достаточно понаездничал...», что означало — занимался конокрадством.

В своем доме Хаджи распоряжался полновластно. Три взрослых сына могли бы сами вести все хозяйство, но, как ни настаивали они, чтобы отец занимался только своим почетным судейством и молитвами, старик ни за что не хотел выпускать из рук управление домом, настойчиво вмешивался во все мелочи, восстанавливая этим против себя сыновей.

Нельзя сказать, что Хаджи был бесполезен для дома. Он вечно терся возле правления, а впоследствии и аулисполкома. Поэтому во время раздела земли, лесных участков и раскладки налогов Хаджи какими-то неведомыми путями добивался существенных выгод и облегчений для своего дома.

Старший сын убоготворил родителей, жену он взял из семьи уорков. А Хусен, самый видный и смелый, огорчил их, женившись на сестре Биболэта — Айшет.

— Надо было равную себе брать, — сказали степенные старики.

Женщины особенно яростно осуждали Хусена за женитьбу на «холопке». Лишь молодые друзья Хусена одобрили его выбор:

— Что бы ни говорили, а хорошую и красивую жену взял себе Хусен.

Хаджи решил было вовсе не пускать в дом ни сына, ни невестку. Вмешались старики и кое-как уломали его. Однако с тех пор Хусен сердцем отбил от дома: не мог он простить родителям пережитых унижений.

В семье Бехуковых лишь младший из сыновей, Юсуф, — он когда-то учился вместе с Биболэтом одну

зиму в соседней русской станице — стал на сторону молодых. Породнившись, Юсуф и Биболэт подружились особенно крепко, и только они двое поддерживали родственные отношения; родители же Биболэта не хотели простить Бехуковым оскорблений, нанесенных их дочери.

В пору сладкого предутреннего сна Айшет проснулась от крика Хаджи. Старик вернулся с утренней молитвы и теперь выгонял забредшую во двор чужую корову. Голос его раздавался в тишине двора, то приближаясь, то удаляясь, и вдруг зазвучал у горницы Айшет, стоявшей отдельно от большой сакли¹ — кухни.

— И вилы опять здесь оставили! — сердито ворчал старик. — Еще напорется скотина!

Вилы со звоном вопзились в песок.

Свекру не полагалось стучать прямо в горницу, так как по обычаю он не мог ни видетсья, ни разговаривать со своей снохой. Поэтому он всегда будил ее какими-нибудь выкриками, для которых всегда находился повод.

— Ах, проспала скотину!.. — всполошилась Айшет и, отодвинув край занавески, выглянула в окно. Было еще рано.

«Чего он так расходился?» — неприязненно подумала она, осторожно выскользнув из-под одеяла. Хусен продолжал храпеть.

В горенке от спущенных ситцевых занавесок полумрак. Возле кровати в колыбели спит сын. Его легкое дыхание, колыхавшее накинутую на личико кисею, теплой радостью отдалось в груди Айшет.

— Родненький мой, — прошептала она. — Радость моя!..

Хаджи все еще носился по двору.

Айшет скрипнула дверью, давая знать старику, что ей надо выйти. Хаджи быстро удалился, громко бросив как бы в пространство:

— Скотина отстанет от стада!

Холодное, в сизом налете густой росы, дымилось осеннее утро. Мычание коров и рев буйволов разносились над аулом. Соседская буйволица, недавно отелившаяся, в безысходной тоске по своему черненькому буйволенку заглушала ревом всех остальных. Вороны, прислушиваясь к этому реву, смотрели с верхушек

¹ В большой сакле обычно жили старики.

перо на Айшет. Они ждали утреннего мусора, рассчитывая на случайный жирный кусок. Батрак Иван чистил конюшню. Там вздымались клубы теплого навозного пара.

Привычным движением Айшет зябко скрестила на груди руки и бесшумной от мягких чувяк походкой направилась к большой сакле, стараясь не попасться на глаза Хаджи.

Свекровь, зловеще надувшись, отгребала в очаге уголья из-под золы. В утренних сумерках она, в завязанном рожками платке, походила на ведьму. Ядовито сжатые блеклые ее губы знакомым холодом резанули сердце Айшет.

Красными пятнами засверкали угли, задымились набросанные щепки. Свекровь встала, хрустнув коленями, и пошла к двери, но, увидев входившую старшую нысэ¹, остановилась.

— А нысэ! Принеси немного сухого хвороста, ни лучинки нет в доме, нечем даже огонь развести... — И, проходя обратно мимо Айшет, сокрушенно добавила: — Что же делать, надо нести тяжесть, взваленную на плечи аллахом...

Айшет ополоснула холодной водой ведро и, не сказав ни слова, вышла.

Баз дышал тепловатым паром навоза. Коровы, увидев Айшет, замычали. Галки, важной поступью гулявшие по исклеваным спинам буйволов, поднялись и с недовольным криком перелетели на крышу сарая.

Айшет подоила трех коров. Оставалась последняя — самая поровистая. Выпущенный теленок встряхнулся от утренней свежести и, задрав хвост, стремительно кинулся к вымени матери. Подождав немного, Айшет принялась оттаскивать теленка, но он не давался.

Работник Иван, проходивший мимо с большим навильником сена, остановился и сказал:

— Давай, нысэ, я привяжу! — И, взяв теленка за ошейник, оттащил его к плетню.

— Спасибо, Иван, спасибо! Телка большой стал, моя сила не хватяйт с ним...

То, что Иван, который на просьбы обычно отвечал недовольным ворчанием, сам догадался помочь ей, особенно ее тронуло. Мало она видела людей в этом доме,

¹ Нысэ — сноха.

которые проявляли бы к ней человеческое внимание.

Но Иван был еще менее избалован человеческим вниманием в доме Хаджи. Обособленной, тяжелой жизнью жил он у Бехуковых. Ночевал он то в конюшне, то на сене, то на мажаре, короче говоря, там, где его застигала ночь. Сирота Иван вырос среди адыгейцев и, как помнят все, был вечным батраком. Работал Иван, как вол, но не прибавлялось у него ничего — ни одежды, ни имущества. В угрюмом молчании влачил он свою долю. Казалось, все чувства притупились в нем настолько, что он перестал различать горе и радость, любовь и ненависть.

В воскресенье Иван исчезал и возвращался к вечерней уборке лошадей навеселе. Обычно всегда молчаливый, он в таких случаях становился необыкновенно словоохотливым...

Была у Ивана неостывающая ненависть к одному человеку в ауле — к Хаджи Бехукову. В трезвом виде он побаивался его и молчал, но навеселе больше всего приставал именно к Хаджи. В последнее время Иван начинал пугать своего хозяина прорывающимися и в трезвом виде словами о конце власти Хаджи, о союзе батраков, куда Иван грозил записаться.

— На минутку, хозяин!... — с самым серьезным видом останавливал старика Иван.

— Чего тебе? — неохотно отзывался Хаджи.

— Ты, хозяин, думаешь, что коли я выпивши, так уж ничего не понимаю... Ты дюже хитрый, Хаджи! За даром заставляешь работать на себя. Иксплуатор ты, самый что ни на есть иксплуатор! Давай подсчитаем, что ты мне даешь и что я тебе отрабатываю... — Иван вплотную надвигался на Хаджи и начинал считать, загибая корявые пальцы.

— Иди, иди! — старался отделаться от него старик.

— Нет, постой-ка, хозяин, — не отставал Иван, — постой! Ты думаешь, я дурак, а ты умный, потому и справил богатое хозяйство. А вот кабы ты был, как я, иногородним — ни кола, ни земли, — попробовал бы тогда наладить хозяйство! Посмотрел бы я, как бы ты катался на тачанке... Нет, теперь тебе конец, Хаджи! — наступал Иван, угрожающе стуча пальцем в грудь хозяина. — Подожди, дай только записаться в союз!..

У Бехуковых лишь младшая сноха проявляла к Ивану добросердечие. Грустные ее глаза смотрели на него с участием. Во время еды ей украдкой от старухи и стар-

шей снохи иногда удавалось подложить работнику лиш-
ний кусок хлеба, мяса.

Иван принимал это участие угрюмо, молчаливо, но вместе с тем проявлял готовность помочь Айшет в ее домашних делах. И сейчас Иван, видимо, был доволен, что смог оказать услугу младшей нысэ. Он постоял некоторое время, потом полез в карман за махоркой и, смахнув на затылок старую свою шапку, стал крутить сигарку.

— Телка выросла, не надо ее допускать к корове, — кричал он и пошел к брошенному навильнику сена.

Айшет машинально тянула два податливых теплых свекла. Две голубовато-белые струйки с жужжанием поизались в ведро, вспенивая молоко матовыми пузырьками. Застывшим, грустным взглядом смотрела Айшет в ведро, думы возникали в голове и исчезали, как эти пузырьки...

Курчавая черная головка отрывается от ее груди. Шаловливо упираясь ручонками, ребенок долго, сосредоточенно смотрит на мать и вдруг весь светлеет от ясной улыбки, пытается что-то сказать. Получается: ба... ба... И белый мазок материнского молока на его губах выдувается таким же вот чистым матово-голубым пузырьком.

Лицо Айшет при воспоминании о сыне озаряется тихой радостью... Но тут же вспоминаются неприязненно сжатые блеклые губы свекрови, слова Хаджи, отравленные скрытым ядом... Лицо ее тускнеет, вздох вырывается из груди. «Почему белый свет устроен так, что и улыбка ребенка не способна согреть душу...»

Свое положение в семье Айшет часто сравнивала с жизнью Ивана — и не видела разницы. Находила даже, что положение Ивана лучше: «Он все же волен идти, куда хочет... А я и этого не могу...»

Капризная корова сердито оглядывалась. Отягченная думами о своем горьком, наболевшем, Айшет забыла об осторожности. Внезапным ударом ноги корова вышлеснула полведра молока...

Расстроенная, со слезами на глазах, проклиная корову и свое житье, Айшет принялась отряхивать мокрый подол. В это время из-за сакли появился Хусен. Айшет залюбовалась им.

«Далекий краше, чем близкий...» — оформился в ее мозгу давно подведенный итог совместной жизни, накопивавшийся с первого года замужества. Грубова-

тость Хусена и суровость его характера изо дня в день убивали в Айшет любовь к мужу. Страшась этого, Айшет обманывала себя.

«А все-таки он лучше многих», — мирилась она, вспоминая еще более бедную радостями жизнь жещици, с которыми ей приходилось общаться.

Хусен шел в конюшню, стыдливо нагнув голову, избегая встречи с кем-нибудь из старших: старшие не должны были видеть, как он выходит из горницы своей жены. Айшет встала за корову. Она хорошо помнила, как старшая сноха корила ее: «Как вам не стыдно, нысэ. Должно быть, вам ночи не хватает, что вы и днем заигрываете друг с другом».

— Вернись скорее в дом, ребенок плачет, — бросил скороговоркой Хусен, проходя мимо.

Айшет поспешила в большую саклю. Там никого не было. Прикрыв подойник ситом, она побежала в свою горницу. Ребенок заливался плачем в колыбели. Она взяла его на руки, маленький мужчина успокоился, но все еще обиженно тер кулачками заплаканные глаза и требовательно тянул:

— Па-пу!¹

Айшет кинулась к чашкам, стоявшим на почерневшей от мух полке. С вечера там оставалась полная миска молока, но теперь миска была пуста. Тогда она повернулась к висящим на деревянных крюках черным полушариям прикрытых казанов с молоком — святая святых старухи, властительницы дома, к которым без ее ведома не смела притронуться ни одна из снох.

«Неужели, если я возьму для ребенка, будут бранить?» — подумала Айшет и с внезапной решимостью посадила мальчика наземь. Он не замедлил разразиться ливнем слез. Подхлестываемая плачем ребенка, Айшет зачерпнула несколько ложек молока, разбив слой плотно застывших густых сливок. Собственный голод легкой тошнотой поднялся в ней изнутри. Но Айшет помнила, что съесть что-нибудь раньше других будет таким нарушением адата, которое никогда ей не простят.

Айшет кормила ребенка, когда свекровь вернулась с кумганом².

Это была жалкая старуха, вечно стонущая от бесчисленных болезней. Айшет иной раз брало раскаяние

¹ Па-пу — молока.

² Кумган — сосуд для воды. Употребляется как рукомойник.

на ненависть к свекрови, когда она воочию видела ее дряблкое, мертвенно-бледное лицо, и она давала себе зарок переносить все обиды, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить последние дни старухи. Но, наталкиваясь на ее непримиримую и своенравную жестокость, Айшет вновь ожесточалась.

Свекровь грозно прошла мимо Айшет, мельком бросив неодобрительный взгляд на ребенка. В это время пришла за молоком соседская девочка. Уже месяц, как соседки, в ожидании приплода от своей коровы, брали у Бехуковых молоко к утреннему чаю. Каждое утро прибегала от них эта босоногая девочка с тоненькой косичкой и так же, как и сегодня, застенчиво становилась у дверей. Молча брали у нее кастрюлю, наливали с разрешения старухи молока, и девочка стремительно исчезала, радуясь, что исполнена неприятная обязанность.

Сегодня старуха внесла некоторое изменение в молчаливый порядок отпуска молока.

— Пришла, моя хорошая? — спросила она с фальшивой добротой.

— Да... — чуть слышно выдавила девочка.

— Налей-ка ей, — обратилась старуха к старшей снохе, которая только что вошла с охалкой дров.

Та сняла неприкосновенный казан и... метнула торжествующий взгляд на чашку, которая стояла перед ребенком Айшет.

— Аллах да накажет меня!.. Кто же трогал молоко? — ехидно спросила она.

— Я взяла несколько ложек, чтобы успокоить ребенка, — объяснила Айшет, чувствуя, как вся кровь бросилась к лицу.

Старшая сноха сделала вид, что ей очень стыдно за младшую.

— У нас и спрашивать перестают! — сказала свекровь голосом, явно предвещающим грозу.

Айшет сдержала равновесие наружу слова горечи. Она знала, что в ее положении лучше всего молчать, и покорно потупилась.

Глава четвертая

Бехуковы уже спали, когда во двор въехал Биболэт. Старый пес залаял хрипло и лениво, но, услышав зов знакомого голоса, умолк и побежал навстречу. Недо-

верчиво и смущенно виляя хвостом, он зевнул с призывом и засеменял обратно к своей нагретой конуре.

Биболэт накинул поводья на корявый палец конюязи и заглянул в кунацкую, пропахшую табаком и сырмятной кожей. Там никого не было. Биболэт вышел на порог, не зная, что же делать дальше.

Звезды равнодушно мигали вверху. На горизонте низко нависли тучи. Сакли выдыхали кислый запах кизячного дыма. В конюшне хрустели сеном лошади, а на базу сыто вздыхала скотина.

С окраины аула донесся шум трещоток и звуки гармоник.

«Свадебное игрище... Вероятно, Юсуф там... Не пойдешь ли мне туда?» — подумал Биболэт, но, взглянув на горницу Айшет, увидел, что в щель ставней пробивается узкая полоска света.

Он подошел к окну и легонько постучал кошном сложенной вдвое плети. Услышал ляг упавших ножниц и едва уловимый шорох чувяк.

Дверь открылась. Айшет пристально вглядывалась в темноту широко открытыми, не видящими со света глазами. Биболэт шагнул к ней.

— Ах, Лэт!.. — Она бросилась обнимать брата. — Как ты напугал меня!..

Кизячным дымом и тряньем пахло от Айшет, и брат не почувствовал в этой серой фигурке милую, родную, веселую сестру.

— Хусен дома?

— Нет.

— Где же он?

— Не знаю. Видела, как он оделся и выехал со старшим сыном соседа.

— Хусен, как истинный адыг, конечно, не посвящает жену в свои мужские дела... — насмешливо проговорил Биболэт.

— Ладно!.. — коротко отозвалась Айшет. — Заходи в комнату.

— Зайти-то я успею, да вот не знаю, куда лошадь поставить... Юсуфа тоже нет?

— Оп, должно быть, ушел на чапщ¹.

— Кого же ранили и где?

— Я не знаю! — уклончиво ответила Айшет.

¹ Чапщ — игры, сопровождавшие лечение раненого, чтобы не дать ему уснуть ночью.

— Где ключ от конюшни?

— Привяжи коня на гумне. Придет с чапца Золотой Всадник и... — Айшет, взглянув на Биболэта, который насмешливо смотрел на нее, осеклась.

— Зо-ло-той Всадник? — передразнил Биболэт, растягивая по слогам.

— Ну... вот ты... — засмушалась Айшет, не зная, что сказать.

— Золотой Всадник... Золотоглазый... Сладкая душа!... А Хусена величалась «сам» и «он». Да? Где же твои клятвы не придерживаться этих глупых обычаев? — укоризненно спрашивал Биболэт.

— Ну, хорошо: Юсуф, Хусен! — храбро сказала Айшет, но тут же с опаской посмотрела в сторону большой сакли и тихо прибавила: — Тебе все шутки, а мне... услышат, не оберусь попреков. Счастье вам, мужчинам, не знаете того ада, в котором живем мы.

Айшет минутку помолчала, точно позабыв о брате, но тут спохватилась.

— Входи же, дорогой! Поставь поскорее лошадь и входи!

Биболэт закрепил в скирде сена деревянный рогач и привязал к его концу поводья. Конь тронул сено упругой верхней губой и принялся хрустеть, пофыркивая от душистой пыли.

В горнице Айшет устоялся сладковато-кислый запах пеленок. Мальчик спал на кровати. А на полу, разбросав на нестрой подушке черные слипшиеся кудряшки, спала какая-то девочка.

— Соседская... — пояснила Айшет, прибирая разбросанную на стульях одежду. — Я одна боялась ночевать, позвала ее.

— Хорошенькая будет, если выживет, — задумчиво сказал Биболэт, любуясь ясным личиком спящей.

Айшет с грустью проговорила:

— Если бы ты видел, как она обрадовалась чистой наволочке! Весь вечер пела песни... Как мало радости у них... Всю зиму ходит в том, в чем сейчас спит: босенькая и в ситцевом платье... Правильно ты сказал: если выживет...

¹ У адыгейцев и вообще у кавказских горцев невестки не проносили имен мужчин, родичей мужа. Младшим из них они давали ласкательные имена вроде того, каким наделила Юсуфа Айшет.

— А этот молодец? Как же он уснул раньше матери? — Биболэт приблизился к кровати.

— Не надо, не буди его... Сядь, поговорим. Они, конечно, скажут: «Завалился прямо к сестре — ни приличий, ни обычаев не знает». Ну и пусть! Хорошо, что мы одни. Ведь каждый раз ты уезжаешь, не поговорив со мной. Ну, как у нас? Все живы-здоровы?.. Говорили, что мама болеет.

— Она всегда прихварывает, а теперь у нее зубы болят. Насильно возил ее в станицу. Посмотрела бы ты, что вытворяла мама, когда врач начал бормашиной чистить ей зуб.

— Бедный ты мой... Опять ухлопал все свои денежки. Обошлась бы мама как-нибудь; раньше ей помогал от зубной боли два¹ нашего эфенди². Каким амбра-каменем³ висим мы на твоей шее!

Ласковой заботой звучали слова, в которых перед Биболэтом была опять прежняя Айшет. Для всех находились у нее тепло и ласка, в которых отогревались окружающие ее люди, холодные и черствые от бедности. Даже лакомства, перепавшие на ее долю, она откладывала для других. Но сама Айшет была одинока в своей семье: адыгейский обычай закрывал перед ней даже сердце матери, не чаявшей в ней души. Айшет болезненно воспринимала жестокую к женщине жизнь и страдала от этих суровых обычаев. И она радовалась, что хоть Биболэт вырвался за черту аула на широкие просторы жизни.

Айшет убрала одежду и села за стол. Тусклый свет лампы подчеркивал матовую бледность ее исхудавшего лица. Красивые печальные глаза, густо подведенные синевой истощения, глубоко сидели в орбитах. На обнаженных гладкой прической висках голубели жилки, а две резкие бороздки преждевременных морщин впились в углы бледных губ.

Биболэт, всматриваясь в знакомые черты, чувствовал, как тает его холодок отчужденности, как обнажается из-под закопченной чужим дымом одежды нежная душа настоящей Айшет, такой родной и близкой...

«Неужели поздно?.. Неужели нельзя освободить

¹ Два — амулет с молитвами.

² Эфенди — мулла.

³ Амбра-камень — мифический камень небольшого размера, но необычайной тяжести.

Айшет?.. И тысячи таких же, как она?» — билась бесшумно мысль Биболэта.

— Отчего ты так бледна, не больна ли? — тихо спросил он.

— Разве? Нет, не больна, но здоровье, верно, неважное.

— Что же у тебя болит?

— Внутри что-то... Летом еще ничего, а осенью и зимой — тяжело. На днях совсем было свалилась! — Айшет улыбнулась жалкой улыбкой.

— Свалиться тебе легко: на улице осень, а ты в ситцевом платье!

— А что же мне делать? Не носить же единственное шерстяное платье! Что тогда буду надевать в праздники? Мое приданое они щедро раздали жадным родственникам¹, а сами за три года расщедрились только на два ситцевых платья. Я уж пробовала намекать, но они молчат. Больше ни слова не скажу, лучше умереть, чем просить их... — Айшет склонила голову, сиюсья подавить подступившие слезы.

— Какая же ты упрямая, Айшет!.. — с укором сказал Биболэт. — Если не хочешь просить Бехуковых, почему не обратилась к маме, к отцу?

Айшет ответила с той сосредоточенной серьезностью, с какой говорят давно продуманное и наболевшее.

— Отец стар. Ему бы только себя прокормить, пока ты станешь на ноги... Не хватает еще, чтобы и я была на его старые плечи!

— Всю жизнь придется жить в таком аду?.. — вздохнул Биболэт.

— Смерть — желанный отдых! — с каким-то безнадежным спокойствием согласилась Айшет. — Я даже оглядываюсь, когда беру кусок хлеба... Не решаюсь нишний раз постирать платье, причесаться — скажут, ухаживаю за собой, как девица... Для ребенка не могу взять без спроса молока, того самого, которое раздают соседям с притворным и корыстным добросердечием... Пусть не прогневадается аллах на мои слова: радостнее жить на шее, чем такая жизнь...

— А сегодня, должно быть, случилось что-нибудь, что ты так плохо настроена?

— Нет, я всегда так настроена. Если всю жизнь не

¹ Адыги по обычаю наряды невесты раздавали родственникам мужа.

видишь радости, душа иссыхает. Вы, мужчины, когда не поладите между собой, можете не встречаться: вы не заперты, как мы, в одной сакле. Мы, женщины, как на цепи: всю жизнь вокруг сакли!

Айшет умолкла, нервно теребя лоскут черной материи и словно ища утерянную мысль.

— Я иногда думаю, — снова заговорила она, — лучше бы мне не понимать того, что стало мне понятным благодаря тебе. Не замечала б я тогда всей нашей жизни, не мучилась бы, жила спокойнее, как другие женщины... Они ведь вслепую живут... Большинство не имеет ни единой светлой минуты, почти все больны и телом и душой, вечно охают... Аллах обошел их счастье, а они считают, что так и должно быть.

Айшет долго тянула свою жалобу. Вначале она едва сдерживала душившие ее слезы, но, делясь своим горем, постепенно успокаивалась. А Биболэт, наоборот, расстраивался, волновался и, бессильно бесясь, шагал по горнице из угла в угол.

Айшет взглянула на брата и прервала свои жалобы:

— Бедный ты мой! Ко всем твоим заботам я прибавляю еще и свои... И в редкие твои приезды не даю тебе покоя глупыми жалобами.

— Айшет, я поговорю с Хусеном! — гневно сказал Биболэт.

В горнице стало так тихо, что можно было отчетливо расслышать мерное дыхание спящих детей.

— Нет, Лэт, тебе нельзя вмешиваться, — сказала Айшет, сбрасывая оцепенение. — Моя жизнь кончена. И ему самому несладко живется. Он давно собирается отделиться, но все не решается. Нет, пусть будет то, что аллахом начертано! Как-нибудь уладится!

На кровати беспокойно зашевелился и захныкал ребенок. Айшет кинулась к нему. Видя, как сестра, осторожно сгибаясь, склонилась к своему ребенку, Биболэт понял, какими крепкими узами связана она.

Ребенок уснул, Айшет бережно прикрыла сына одеялом... Теперь она была иная: грустно-усталая, озабоченная.

— Я и забыла дать тебе что-нибудь поесть, — вспомнила она и, достав из-под матраца большой ключ, направилась к сундуку. — Я слышала, что ты собираешься приехать, и давно припрятала для тебя кое-что.

Она вложила ключ в обведенную ромбом золотистой

шести скважину замка, и замок зашел грустным переставом упругих пружин.

Другого не могу подать тебе сейчас, большая сакни закрыта. Попробуй — это свадебное угощение! Тут одна семья справляла свадьбу, а их девочка украдкой принесла свою долю. За ту малую ласку, которую я уделяю им, все соседские дети готовы для меня душу отдать. Если б и взрослые были такие, как дети... — говорила Айшет, ставя перед Биболэтом тарелку домашней халвы и печенья.

Биболэту не хотелось есть, но, чтобы не огорчить сестру, он попробовал ее угощения. Айшет сидела, бросая на брата робкие взгляды, и наконец решилась...

— Лэт, я хочу спросить тебя... Только аллахом заклинаю, скажи всю правду!

— У меня нет тайн, которые нужно было бы скрывать от тебя. Спрашивай!

— Я слышала, ты в коммунисты записался... Правда это?

Биболэт удивленно вскинул голову:

— А тебе почему кажется, что я стану скрывать, что я коммунист? Разве в этом есть что-нибудь плохое?

— Не надо, не записывайся! И наши не хотят...

— Э, да тут, оказывается, целый заговор против меня! — рассмеялся Биболэт и круто обернулся на стуле лицом к сестре.

— Не заговор, но отца и маму это беспокоит: ты у них единственный...

— Тебя-то, Айшет, кто так напугал коммунистами? Ну, я понимаю: отец и мать — старики, держатся за старый мир. Но ты-то чего боишься? Вот ты только что говорила о рабском своем житье в семье. Но не одной тебе так плохо. Беспросветная жизнь калечит почти всех адыгейских женщин. И как ты думаешь, с кем надо идти? С теми, кто душит тебя, или с коммунистами, которые хотят сделать жизнь светлой?

Айшет упрямо держалась своего:

— Может, у них на сердце плохого и нет ничего, может, и хотят они добра бедным, но если ты запишешься, восстановишь всех против себя. Не забывай, что тебе надо содержать наших стариков... Не записывайся, прошу тебя, мой дорогой, свет очей моих! Пожалей родителей и меня!

— Айшет, я не узнаю тебя: по-твоему выходит, что

надо трусливо сидеть около своего очага, а не бороться вместе с коммунистами за правое дело?

— Да, я отчаялась за тебя, за себя и за стариков. Если бы ты был на моем месте!.. Ведь, кроме тебя, у нас ни радости, ни надежды нет. В беспросветной нашей жизни лишь одна радость — ты.

Со двора донеслось мужское покашливание, звонкие шаги приблизились к горнице.

— А нысэ! Не легла еще спать?

— Нет! — ответила Айшет, вставая. — Это Золотой Всадник, — тихо пояснила она брату, направляясь к двери.

— Конь Биболэта на гумне, а в кунацкой его нет. Не у тебя ли он?

— Нет, его здесь нет, — пошутила Айшет, открывая дверь, и, услышав разочарованное: «Где же он?», прибавила торопливо:

— Здесь, здесь! Заходи!

Глава пятая

— Нет, скажи, пожалуйста, каким это таинственным ночным наездником вдруг вышырнул ты? Уж не подружился ли с нашими ночными наездниками?

Юсуф, как буря, ворвался в комнату, улыбаясь во весь свой широкий и пухлый рот.

— А что же, и нам надо немного понаездничать, довольно уж им одним гордиться своей удачью! — пошутил Биболэт, поднимаясь навстречу Юсуфу.

— Вот было бы замечательно, если бы ты пристал к конокрадам, а я бы записался в коммунисты вместо тебя. Ух, и погонял бы я тогда тебя, как затравленного волка! Нет, серьезно: вы, коммунисты, так взялись за наших «джигитов», что им житья не стало! — весело хохоча, говорил Юсуф и вдруг отступил назад, привычным движением сбил свою каракулеву шапочку на затылок и, глядя словно издали на Биболэта, воскликнул:

— Бог мой, каким внушительным адыгейским мужем ты нарядился! Оказывается, не зря наши конокрады дрожат перед коммунистами: у тебя такой воинственный вид, что ты хоть кого можешь напугать.

— Да, конокрадам или бандитам лучше не попадаться к нам в руки! — невозмутимо отразил шутку Биболэт.

В самом деле, Лэт, — сказала Айшет, касаясь рукой подола черкески, — я сейчас только заметила, как идет тебе адыгейский костюм.

— Э, тут целая история вышла! — улынулся Биболэт. — Как только я приехал в аул, пришел старик Хаджимет. Я вышел ему навстречу, протянул руку. Он не принял моей руки и уставился на меня с самым свирепым видом. Когда я его спросил: «Чем я заслужил такое суждение, Хаджимет?», он сказал: «Ты очень хороший парень и очень хорошо сделал, что вернулся домой проведать нас, стариков. Но вот твой головной убор я нахожу непристойным. Если уж вашей семье не под силу найти для тебя адыгейскую шапку, я подарю тебе свою». И с этими словами кончиком костыля сбил с моей головы клетчатую кепку. С тех пор мою кепку заперли в сундук. А когда я собрался сюда, отец выпрошил адыгейскую одежду у соседей и настоял, чтобы и одновременно в ней ехал.

— Очень правильно поступил с тобой Хаджимет! — серьезно, без тени усмешки сказала Айшет.

Садись же, чего стоишь, — спохватился Юсуф. — Расскажи нам новости. Говорят, бой был с бандитами? Расскажи, как это было?

— Как было? Да очень просто: прибыла из Краснодара тройка по борьбе с бандитизмом, собрала отряд из надежных аульчан и разгромила гнездо бандитов в нашем лесу.

— А с Дархоком как?

— Дархоку удалось скрыться с несколькими друзьями. В ауле забрали кое-кого из его сообщников.

— И ты тоже участвовал в этом деле?

— Да.

— А тут у нас целые легенды рассказывают о Дархоку, будто он неуловим и пуля его не берет. То, что он и теперь сумел уйти, умножит его славу.

— Ничего, далеко не уйдет!

— Ты уверен в этом? — спросил Юсуф, глядя на Биболэта каким-то неясным, ускользящим взглядом, не то испытующим, не то отчужденным.

— А где ты пропадал всю ночь? — круто изменил направление разговора Биболэт. — Может, тоже проваляешься наездничеством?

— Не-ет, это я давно оставил. Так что твои отряды мне не страшны. У нас тут, — Юсуф беззаботно усмехнулся, — открылся чащ. И вот каждую ночь мы толь-

ко тем и заняты, что хлещем друг друга по спине жгутом да сбиваем губы о вертящийся пирог.

— О, если ты был на чапце и так рано удрал оттуда, ты совершил преступление. Тебя следует оштрафовать.

— Ну, по части наших адыгейских обычаев ты мне вовсе не страшен, только в вопросах учености и политики ты забиваешь меня. — Юсуф засмеялся и прибавил: — А вот если б заполучить тебя на чапц, я бы расправился с тобою! Заарканил бы тебя старыми адыгейскими обычаями, опутал бы тонкостями адата, в которых ты не искушен, и ты был бы в моих руках, как миленький.

— Сомневаюсь...

— И вправду, Золотой Всадник, ты сегодня рано ушел с чапца, точно знал, что гость приехал! — сказала Айшет.

— Я вовсе и не собирался так рано уходить. Мальчик Устанок Едиджа сказал, что к нам приехал гость, и я поспешил домой. — Юсуф повернулся к Биболэту: — Каким образом ты в спутники к ним попал?

Биболэт рассказал о своей встрече на дороге.

— Ну и везет же тебе! — Юсуф хлопнул себя по ляжке, сунул руку в карман, выхватил портсигар, на лету поймал губами брошенную вверх папиросу и продолжал: — Клянусь аллахом, ты сидел рядом с самой красивой девушкой Адыгеи! Наши парни грызутся из-за нее, а ты с ходу угодил к ней в спутники! Нет, тебе всегда везет!

Юсуф потянулся к лампе, чтобы прикурить папиросу. Освещенное лампой лицо его, так хорошо знакомое Биболэту, вдруг поразило его странным соединением самых разнородных черт: широкий и крутой подбородок волевого упряма добродушно уживался с бесформенным пухлым ртом безвольного сластолюбца. Глаза у него были голубые, необыкновенно голубые, что редко встречается среди адыгейцев. Внешность Юсуфа отражала и его внутреннюю суть. Биболэт знал, что в нем есть доброта и чуткость, но еще больше в нем корыстного себялюбия. Это был типичный представитель кичливой семьи уорков, аульный грамотей, один из тех бездельников, которые изредка почитывали кое-какие книжки, замечали кое-какие непорядки в ауле, что, однако, не побуждало их к деятельности, а в лучшем слу-

ему только вызывало у них ни к чему не обязывающие восторженные сожаления.

Юсуф долго прикуривал свою папироску, а когда прикурил, то затянулся несколько раз подряд и, выпустив густые кольца дыма, возобновил разговор.

— Ну, а как тебе понравилась Куляц? — спросил он.

— Но ты, должно быть, говоришь о другой девушке, — возразил Биболэт. — Ту, с которой я познакомился, зовут Нафисет.

— Э, тогда это младшая! — с заметным разочарованием сказал Юсуф и торопливо прибавил: — Младшая тоже хорошенькая, но совсем не то, что старшая — Куляц. Главную-то красавицу ты, значит, и не видел. Обязательно сходи к ним. Вот посмотришь мою симпатно!

— Мой аллах, сколько у тебя этих симпатий! — засмеялась Айшет. — Хоть бы женился скорее, снял бы с меня долю тяжести!

— Я не знаю Куляц, — задумчиво проговорил Биболэт. — но Нафисет, по-моему, хорошая девушка.

Юсуф улыбнулся и сказал:

— Нет, младшую никак нельзя сравнить со старшей. А впрочем, если тебе понравилась младшая, так это еще лучше для меня. А я уж подумал, что мне придется уступить гостю.

— Слава аллаху, если Лэту понравилась адыгейская девушка. А я уж отчаялась, думала, что из наших никакая ему не будет по сердцу, — вклинила Айшет вечную свою заботу о брате.

— Нет, Айшет, ты меня не поняла, — несколько сконфуженно пояснил Биболэт. — Она меня заинтересовала необычными для наших женщин новыми чертами.

Юсуф стряхнул с папироски пепел и раскрыл рот, чтобы возразить Биболэту. Но Айшет торопливо перебила его:

— Подожди-ка, пусть говорит Лэт. Я не видела эту девочку Устаноковых, но слышала о ней. Послушаем, что он о ней скажет.

— Да ему, наверное, понравилось то, что она хочет учиться! Но таких девушек у нас сколько угодно, только есть ли в этом какой-нибудь смысл? — Юсуф пренебрежительно махнул рукой.

— Вот именно это заинтересовало меня! — резко

выпалил Биболэт, не стараясь скрыть свое негодование по поводу такого безнадежного махания рукой на раскрепощение черкешенки.

— Вот-вот... Ты сказал то, что было у меня на сердце! — горячо воскликнула Айшет. — Ты подумай, люди уже стали вокруг нее плести сплетни. И все это из-за того, что девочка носится с книжками и не отвечает на всякие ухаживания. Если бы у бедняжки оказалась какая-нибудь подмога, из нее вышел бы человек. Но родители не пускают ее учиться.

— И весь аул, и Юсуф в том числе, клюет ее за это? — язвительно проговорил Биболэт.

— Да-а, — нисколько не смущаясь, протянул Юсуф. — Ты все лягаешь меня, но напрасно. Я не все понимаю, но вижу и такое, что тебе и в голову не взбредет там, в городе... Если бы, например, ты слышал, что мне сегодня рассказали, тебе это не казалось бы таким простым делом. Вот такой случай... Была у нас в ауле девушка, и она тоже носилась с книгами, хорошо читала по-адыгейски и даже по-русски. Хорошая была девушка, веселая, приветливая. Любила она одного парня из нашего же аула. Но родители не захотели отдать ее за этого парня. Тут подвернулся богатенький жених из ближнего аула. И выдали девушку за него. Против ее воли. Но, понимаешь... Он был болен. Валлахи, я знал это! Но он мой хороший знакомый, и когда он посвятил меня в свои планы насчет женитьбы, я не решился стать ему поперек дороги... Ну, а сегодня вечером мне сказали, что она умерла... Третьего дня, по ее просьбе, меня вызывали к ней. Когда мы остались одни, она попросила: «Передай Шумафу, что я его всегда любила. А нашим передай, что они сами меня убили. Пусть теперь будет доволен Пшикан». А Пшикан — это ее брат, который больше всех старался выдать ее за этого... Такие вот случаи и заставляют меня говорить, что не будет толку из женского стремления к учебе... Я не могу забыть, как она сказала: «Передай Шумафу...»

Биболэт, Юсуф и Айшет умолкли, точно над могилой. Они даже старались не смотреть друг на друга, словно каждый считал себя виновным в гибели этой несчастной женщины.

— Да... — вздохнул наконец Биболэт. — Что же теперь-то горевать!

— Как же не горевать? — удивился Юсуф.

— Почему же ты не пожалел ее раньше?

Юсуф прищурился и удивленно спросил:

— А как же, по-твоему, я должен был поступить? Подвести человека, по-товарищески доверившего мне свою тайну, и покрыть себя несмываемым позором в глазах людей?

— Да, ты поступил так, как нужно по адату. Ты остался верен своему товарищу (конечно — мужчине) не только в опасности, но и в житейских мелочах. По адату все правильно вышло. Но вот по-человечески ты должен был поступить совсем иначе: предупредить девушку, к черту послать этого подлеца! Отдать под суд! Впрочем, за это ты получил бы прозвище большевика, а это тебе не по плечу...

— Ну, если все мы и наш адат так плохи, тогда я и не знаю, что остается делать.

— А разве ты сейчас не видишь, что адат — это закон, удобный для богатеев? — гневно спросил Биболэт.

— Когда твои коммунисты перестроят все, как обещают, я тоже признаю их. Но что-то не верится.

— Если бы все говорили и думали так, как ты, не было бы, конечно, и того, что уже построено!

Юсуф умолк. Он сидел грустный, стараясь оставаться вежливым по отношению к гостю. Айшет встревожилась; она опасалась непоправимой ссоры между ними. В то же время была у нее и другая забота, порожденная страхом потерять единственного брата. «Лэт — коммунист!» — думала она, уже не сомневаясь. Ей хотелось крикнуть: «Не записывайся, мой дорогой, свет очей моих! Пожалей нас!..» Но она не решалась, не находила слов для возражения против всего сказанного братом о жизни адыгейской женщины, об адате.

«Правда все это, — признавалась она самой себе — И я могла бы сказать, что это только малая доля правды».

То, что брат ее умел рассуждать так глубоко и значительно, рождало в ней гордость и вместе с тем тревогу.

«Аллах с ней, с этой правдой и с нашим житьем! — думала она. — Мы всегда страдали и будем страдать, пусть только Лэт не бьется над этим и не ссорится с людьми».

Биболэт чувствовал, что больно кольнул Юсуфа, но не жалел об этом. Он хорошо знал, что Юсуф не способен всерьез задуматься над всеми этими важными

вопросами, и в то же время считал, что, будучи грамотным и неглупым, он мог быть полезен в ауле. «Нужно объясниться с ним», — подумал Биболэт, но, заметив тревогу на лице сестры, решил отложить это объяснение.

Они простились с Айшет и перешли в кунацкую. Здесь Биболэт возобновил разговор:

— Как фамилия Нафисет? — спросил он, расстегивая плетеные пуговицы на воротнике бешмета.

— Устанокова, — буркнул Юсуф и тут же поторопился добавить: — Не беспокойся — они не орки, а фокотли¹.

— Напрасно ты стараешься уколоть меня, дорогой друг! — спокойно сказал Биболэт. — Я не люблю только тех орков, которые до сих пор оберегают свою оркскую спесь. С того времени, когда было уничтожено крепостное право, и среди орков тоже произошло расслоение, то есть среди них появились и кулаки, и середняки, и бедняки. Так что не все орки — наши враги, так же, как и не все фокотли и пшитли наши союзники.

— Если ты действительно не терпишь девиц с оркским духом, то мне за свою Куляц беспокоиться нечего, она может перещеголять заносчивостью родовитых орков, хотя семья ее самая середняцкая.

— А Нафисет?

— Она не признает ни орков, ни пшитлей.

— А кто из ваших парней ей нравится? — с притворным равнодушием спросил Биболэт.

— Девочка никому не оказывает предпочтения. Но это неважно: ты ведь сам знаешь — как только хорошенькая девушка чуть поднимет голову, на нее сейчас же начинается охота, и в конце концов ее заставят выйти замуж. Поймают и твою Нафисет.

Биболэт неожиданно изменил направление разговора.

— А какие у тебя планы? — спросил он. — Думаешь и дальше болтаться без дела?

— А что мне делать? Я хотел бы поступить в совпартшколу, да меня не возьмут: сын кулака, как ты меня величаешь. Учиться на свои средства нельзя — не согласятся дома...

— Надо вести какую-нибудь новую работу.

— А какую же?

¹ Фокотль — не закрепощенное еще крестьянское сословие, находившееся в податной зависимости от феодалов.

Ну, если в ауле да в наше время не найти что послать...

Они еще долго беседовали, лежа в постели, и уснули лишь после первых петухов.

Глава шестая

— Да не поразит меня аллах своим гневом, но разве мы живем по-человечески?.. Думаю, думаю и ничего не понимаю: живем мы, адыгейцы, в ауле, не видим дальше своего частоккола и воображаем, что весь мир полон нами. Но мир велик. Много в нем такого, о чем мы понятия не имеем: и большое знание, и мастерство великое, и житье разумное, неведомое нам.

Так рассуждал Мхамет, сидя напротив Биболэта в кунацкой Бехуковых. Сильный, здоровый, он, как балка, подпирающая накренившуюся хату, был единственным трудоспособным мужчиной в большой семье. Безропотно тащил он взваленное на него бремя. В летнюю страду Мхамет успевал везде: и на сенокосе, и на яровом клину, и на жнитве. И везде мощная, статная фигура его дышала бодрой уверенностью и спокойствием твердо стоящего на земле человека. Но Мхамет не закапывался в заботы о доме и семье: он оказывался в центре всякой более или менее солидной компании молодежи в кунацких аула, а его мощный голос, возносясь выше всех, вел запевадой старинные песни. В дни редких приездов Биболэта к Бехуковым Мхамет неотлучно бывал с ним. И Биболэт тоже любил Мхамета, высоко ценил его вдумчивый ум и его честную и чуткую натуру.

По-бычьи вдавив голову в крутую шею, Мхамет сидел сейчас, навалиясь грудью на стол и задумчиво глядя из-под густых бровей на позолоченный солнцем четырехугольник на полу, на котором в сладком оцепенении грелись осенние мухи.

— Эх... чем я заслужил такую жестокость своих родителей, что они не поучили меня хоть немного! — продолжал он. — Да не прогневается аллах, но покойный родитель заботился только о том, чтобы оставить мне какое-нибудь имущество... А что такое имущество? Утренняя роса: не успеешь оглянуться, и она испарилась. Валлахи, врет, кто говорит, что новая власть не умна. Она знает пользу людей, раз хочет учить всех.

Мхамет откинулся на спинку скрипнувшего стула и,

прислонившись затылком к оконному косяку, негромко, грустно затянул старинную песню о «Мхамет-гуаза». Биболэт встрепенулся: он очень любил эту задумчивую мелодию, полную мужественной печали, но Мхамет прочел только два куплета и умолк. Его печальные глаза были устремлены куда-то в угол потолка.

— Да-а, Биболэт, вот так пройдет наша жизнь! — сказал вдруг Мхамет.

— И откуда у тебя такая безнадежность? Сейчас за учение берутся люди постарше тебя. Правда, друг, поедем со мной! Я берусь устроить тебя, — с внезапной горячностью отозвался Биболэт.

— Нет, поздно. Мне уже тридцать... А потом, что скажут люди? Ведь у меня на руках семья — мать, сестры.

На солнечный четырехугольник, лежавший на полу у двери, надвинулась тень человека. Пестрая чалма Хаджи, как подсолнух, зацвела в дверях. Биболэт и Мхамет поднялись навстречу старику и отошли от стола.

— А-а, Мхамет!.. Наконец-то ты опять нашел тропинку в нашу кунацкую! — насмешливо проговорил Хаджи и, пройдя вперед, сел за стол, потер морщинистое лицо и сокрушенно вздохнул: «Ля-илляха илляллах Мухамедун расулуллах».

— Садитесь! — пригласил он и обернулся к Мхамету: — Как можешь ты, такой богобоязненный человек, сидеть с заядлым коммунистом... Биболэт, как Эблис¹, незаметно обратит тебя в свою веру. Да, да, если у других коммунистов только по одному рогу, то у него скоро вырастут два...

— Не один, а десять рогов готов я отрастить на своей макушке, только бы знать то, что знает Биболэт, — в этом же шутливом тоне ответил Мхамет.

Биболэт улыбнулся. Такие отношения установились между ними: Хаджи, побаиваясь его, прикрывал свою враждебность шутками и при случае царпал его как бы мгновенными выбросами хищных когтей.

Помолчали. Мхамет и Биболэт, согнанные с мест у стола, сидели теперь прямо против двери. Яркое освещенное подворье дышало в сумрачную кунацкую баюкающим теплом солнцегрева.

Хаджи взял кумган и, бормоча молитву, вышел.

¹ Эблис — демон.

Мхамет облегченно вздохнул и медленно свернул шарку.

Со стороны большой сакли послышался детский голосок, поющий песенку. Затем раздался глухой топот босых ножек, оборвавшийся у кунацкой, из-за двери осторожно выглянула черноволосая детская головка и тут же юркнула обратно.

— Иди, иди, Кац!.. Что тебе? — крикнул Мхамет.

Младшая нысэ зовет гостя, — промолвила девочка из-за стены.

— Иди, иди сюда, Кац! — позвал Мхамет.

Кац застенчиво подошла к порогу.

— Пойди ко мне! — сказал Мхамет, протягивая ей руки.

Девочка шагнула в комнату, ступая так осторожно, точно шла по бревнышку через ерик. Не сводя с Биболэта испуганных глаз, она приблизилась к его другу и застенчиво потупилась. Биболэт узнал в ней девочку, почевавшую вчера у Айшет.

— Вот кто у нас девица первый сорт! Правда ведь, Кац? — лукаво улыбнулся Мхамет.

— Да, — чуть слышно ответила девочка.

— Когда выйдешь замуж, подаришь мне коня?

— Да.

— Кого ты больше всех любишь?

— Маму.

— А еще кого?

— Младшую нысэ.

— А меня?

— И тебя тоже.

— А папа твой нехороший, он бьет тебя?

— Да.

— А наш гость?

— Да...

Смех оглушил и смутил девочку, она рванулась, чтобы убежать, но Биболэт задержал ее и подарил две серебряные монеты. Зажав их в худенькой ручонке, она пошла к двери, не веря, что ее так и отпустили, а когда переступила порог, то быстро оглянулась и кинулась бежать.

Мхамет проводил Биболэта к его сестре. Она встретила их виноватой улыбкой.

— Не знаю, может быть, ты рассердишься, — сказала Айшет, — но я уже обещала уговорить тебя сделать доброе дело.

Мхамет решил, что удобнее оставить сестру и брата одних.

— Не скучай, друг, а я пока на минуту загляну к себе.

— Нет, нет, не уходи! — поняла его уловку Айшет. — Золотого Всадника нет дома, и тебе придется помочь Биболэту.

— Тогда говори, в чем дело! — попросил ее брат.

— Тут ко мне одна женщина приходила, — начала Айшет в необычайном волнении, — она хочет развестись с мужем, а он не дает ей развода. Родители выдали ее насильно за старика. Соблазнились его маленькими сбережениями. Она прожила с ним семь лет и решила уйти, услышав, что женщина может теперь найти какую-то защиту. Но старики, которые верховодят в ауле, ополчились против нее: не позволяют ей подать заявление в суд. Сегодня они собираются, чтобы поговорить по этому делу. Вызвали ее, она прибежала сюда попросить тебя присутствовать. Говорит: «Старики не дадут мне и двух слов сказать в свою защиту».

Биболэт сидел с неопределенной улыбкой на лице — трудно было угадать, что он думает.

— Я забыла сказать самое интересное, — спохватилась вдруг Айшет, — ее прислала сюда Нафисет, дочь Устаноковых. Помнишь, о которой ты вчера говорил. Эта женщина пошла к ней с просьбой написать заявление. Но Нафисет далека еще от того, чтобы писать такие бумаги. Она и посоветовала обратиться к тебе.

— Однако и вас, женщин-защитниц, набирается внушительная компания, — засмеялся Мхамет и подмигнул Биболэту, как бы говоря: «Вот тебе и на! Здорово мы втяпались!»

— А где соберутся старики? — приступил к делу Биболэт.

— Кажется, в правлении.

— Действительно, «правление», а не исполком, если там такие вещи творятся... Придется нам с тобой, Мхамет, заново революцию делать в ауле!

— Что же, я тебя благополучно доставлю к старикам, а на худой конец захвачу надежную палку, — улыбнулся Мхамет и, тут же став серьезным, прибавил: — Только избавь меня от разговоров с ними по такому делу. Это только коммунисту по плечу.

Расплавленное солнце еще высоко висело на бледно-голубом небе, когда Биболэт и Мхамет вышли со двора и направились в аулисполком.

Аула пучился высокими стогами сена и, свернувшись в ленивой дреме, грелся на солнце. На огородах дозревала взлохмаченная рыжая кукуруза и блестели лысые тыквы. Улицы, гумна и дворы лоснились золотистой россыпью свежей соломы. Чувствовалось сытное довольство урожая.

Но разруха пережитого голода и гражданской войны отенживалась еще в высоких бурьянах, глядевших на улицу через плетни заброшенных огородов, гуляла по развороченным дворам с повалившимися оградами, по раскрытым крышам хат...

Мхамет, уступая гостю почетное место, шагал слева от него. Они шли по улице, стройные и нарядные. Мхамет ступал величаво, мягко шевеля свешенными рукавами черкески. Из-за полупритворенных дверей их стыдливо провожали взглядами девушки. Мхамет добродушно посмеивался:

— Не замечаешь, друг, как ты всполошил наших девиц? — спрашивал он, пряча в усах лукавую усмешку.

— Но в этом не я один повинен! — отшучивался Биболэт.

Двор аулисполкома стоял особняком, выделяясь среди прочих дворов своей бесхозяйственной наготой. Пустой раскрытый сарай отодвинулся далеко в глубину двора, неподалеку от него белело неуклюжее служебное здание с широким крыльцом наружу. Вот и все, что было на огороженной забором исполкомовской делянке. На остальном пространстве хоть на коне джигитки — пусто.

Косая площадь перед исполкомом была изрезана пыльными линиями переплетающихся дорог, посредине ее стоял одинокий столб коновязи с венчиком из железных пальцев.

Наискось от исполкома, на краю площади, зазывно цестрела бакалеей будка воскресшего в первые дни непа лавочника. Возле нее свалена куча толстых дубовых бревен. Приобретенные хозяином при распродаже помещичьего лесного участка, они давно лежали там и стали излюбленным местом для сборищ свободных от работы жителей аула.

Годы гражданской войны приучили аульчан к бешеной скачке событий. Исполком, как источник всех новостей и связанных с ними тревог, приобрел особую притягательную силу. И времяпрепровождение на бревнах, по соседству с лавкой, вошло в ежедневную привычку у людей. В любое время дня можно было видеть на бревнах гроздь мохнатых фигур, похожих на примостившихся на ночь индюков.

И сегодня на бревнах сидела группа аульчан, разместившихся по старшинству. Лучшие места были заняты стариками. В некотором отдалении от них толпились молодые, почтительно прислушиваясь к тому, что говорили старшие.

— Валлахи!... Сколько мы пережили за эти годы! — задумчиво промолвил Хаяляхо. — Сколько тревог пришло к нам из этой старой дыры — правления!...

Хаяляхо — невзрачный старикашка. В ауле он знаменит был тем, что именно с ним всегда приключались самые необыкновенные и забавные истории. Он умел смешно рассказывать даже о самом трагическом, и все любили его за это и слегка подтрунивали над его чудачковатостью.

Была у Хаяляхо и другая особенность: он страстно любил новости. Едва дождавшись, пока подрос единственный сынок, старик взвалил на него все заботы по хозяйству, а сам занялся аульскими делами. В погоне за новостями он суетливой походкой носился по аулу, неся впереди неизменный свой костыль.

Страсть Хаяляхо к новостям наложила печать и на его внешность: всегда была чутко наклонена его ежистая голова в барашковой, с торчащими клочьями шерсти, шапочке и выставлено вперед настороженно прислушивающееся правое ухо.

— Хаяляхо, расскажи, как собирались повесить тебя, — начал кто-то, вызывая старика на пересказ забавного случая.

— Е-е... Аллах да сохранит тебя от такого! — притворился испуганным от одного лишь воспоминания Хаяляхо. Выцветшие, слезящиеся глаза засветились добродушной насмешкой над самим собой.

— Кто же хотел тебя повесить? — не отгадал спрашивающий.

— Только они способны на такое... беляки из тех отрядов, что отступали к Новороссийску.

А каким образом Мхамет оказался там, на твое счастье?

Видно, тогда не пришел еще мой час...

А сколько было беляков?

— Двое.

И винтовки у них были?

— В том-то и дело... Они прямо сверкали оружием, как злая собака зубами.

Счастливо ты отделался тогда, Халяхо!

— Валлахи, в тот день Мхамет оказался молодцом! — Напыхо умолк, ожидая упрасиваний.

— Как же ты остался дома, когда весь аул согнали на сход к правлению?

— То-то и плохо, что я тогда был дома. Я спрятался во дворе в сапетке с кукурузой. Сижу... Кругом тихо, все мужчины около правления, а женщины попрятались по домам. Но вот слышу: на площади загалдел народ. Я подумал: «Хорошо, что меня там нет». Потом слышу: в доме завопили женщины, забегали, точно куры от корнуна. Я приподнял крышку сапетки и посмотрел: девочка выскочила из горницы и с воплем побежала к соседям. Я вылез и бросился в хату — там все разворочено. Один здоровенный беляк копается в сундуке, как медведь в дупле с медом, а другой, с ружьем, караулит запертых в угол женщин. У меня был хороший костыль... Не знаю, как случилось, но я забыл страх и ударил костылем грабителя.

— Что ваша, черт, нужна тут?

Он пошел на меня, белообрый, здоровенный мужчина. Сначала он схватился за винтовку, потом ударом кулака отбросил меня в угол и сдернул веревку, на которой наши женщины развешивали белье, — тонкую, крученную.

— Я тебе покажу, сволочь гололобая, что нам надо! — говорит он, хватая меня и тащит из горницы.

Я думаю: «Ну, бедняга Халяхо, кончишь ты свою жизнь в конюшне на веревке».

Стал его упрасивать, упираться:

— Постой, не надо! Пожалуйста, постой!

Но как мне устоять против такого силача?

Эти разбойники заперли женщин в хате, а меня повели в конюшню. Один начал уж веревку к перекладине прилаживать, а другой встал в дверях.

Я начал предсмертную молитву читать, но тут вдруг

влетел — да продлит его жизнь аллах — Мхамет и увесистым дрючком ударил того, который стоял в дверях, отнял у него винтовку и уставил штык на беляков. Тогда уж они задрожали. А Мхамет, правда, страшен был. Я тогда тоже схватил палку, и кинулся на того, который меня повесить собрался. «На тебе, сучий сын, — приговариваю, — на тебе!».

Он взмолился: «Постой, постой, знаком!».

А я ему: «А сучий сын, ваша постой, когда наша постой!..».

Разноголосый взрыв хохота прервал рассказ старика. Не смеялся только сам Халяхо. Он был доволен и сидел, растроганно сияя слезящимися глазами.

В этот момент на площадь выехал верховой. Красивый, стройный конь гордо нес седока, блестя серебряным набором уздечки и седла. Всадник горел позолотой пояса и кинжала.

— Кто это едет? — спросил Халяхо, всматриваясь из-под ладони прищуренными глазами.

— Измаил... Разве не узнаешь? — ответили ему.

— Завидный конь! Другого такого в ауле нет.

— Черт знает, откуда он берет... Не работает, а одет всегда лучше всех, и конь у него завидный.

— Да-а... А мы работаем до того, что пыль сыплется из носу, и не имеем ничего.

— Измаил богатство на дороге найдет...

— Он «найдет»... — бросил один из сидящих, многозначительно посмотрев на соседа.

— Не бойся: если теперь принялись за конокрадов, ему будет нелегко «найти».

Когда Измаил проехал мимо и скрылся, глаза всех обратились на Биболета и Мхамета, вышедших из-за угла и направившихся к исполкому.

— Кого это ведет Мхамет? — спросил тот же Халяхо.

— Не знаю кого, но нарядился он так, будто князя сопровождает.

— Мхамет молодец, не теряет человеческого облика.

— Это правда. Нарняга всегда чисто одет.

— Да-а, раз ты человек, так не роняй голову! — авторитетно изрек старик, все время строгавший деляшку.

— Неважно, что нарядно одет, важно, что опрятно, — сказал Халяхо.

Проходя мимо сидящих, Биболэт приветствовал их быстрым взмахом руки.

— Алейкум-селям! — недружным хором ответили старики и приподнялись, глядя на проходивших с открытым любопытством.

— Кто это? — полусшепотом спросил Халяхо.

— Гость Бехуковых. Учится в Москве. Образованный... — ответил кто-то.

— Молодец... А еще лучше то, что он похож на настоящего адыгейца. Но зачем он идет в исполком?

— Пусть идет, лишь бы тревоги какой-нибудь от него не было, — отозвался один из стариков. — Не к добру это, когда приезжий направляется прямо в правление.

— А что в исполкоме сегодня? — не успокаивался Халяхо и, опираясь на костыль, поднялся. — Надо зайти, посмотреть...

Он постоял некоторое время, дырявя костылем землю, и неуверенно тронулся вперед. Но отойдя, он вдруг решил и засеменял своей шустрой походкой, отмеривая костылем сажени.

Люди, сидевшие на бревнах, начали понемногу расходиться. Некоторые из стариков последовали за Халяхо.

Глава восьмая

Старики мохнатым рядом важно восседали на длинной скамье, поставленной у стены. Серебряные бороды перемежались с сивыми или с черными, как оперение грача. Среди простых барашковых напих резко выделялись несколько каракулевых и одна чалма.

Главным уборам соответствовали лица и осанки. Каракуль и чалма украшали не тронутое нуждой гордое благообразие стариков, занимавших почетные места поближе к столу. А из-под вихрастых барашковых напих глядели другие лица, — обожженные солнцем, исеченные рубцами морщин, обросшие колючей щетиной. Это были менее зажиточные люди, и они сидели поближе к двери. Привыкшие ворочать вилами, бедняки крепко сжимали набалдашники своих палок и, уставо опустив головы, неловко, скорее по обязанности, нежели по долгу, присутствовали здесь.

У самых дверей почтительно стояли молодые.

Когда Биболэт, сопровождаемый своим другом, во-

шел в помещение исполкома, молодые расступились, а старики торжественно поднялись навстречу. Баболэт то-ропливо проговорил:

— Не вставайте, не вставайте...

— Садись! — сказал ему старик в каракулевой шапке.

По богатой шерстяной рясе и золотой цепочке часов, по той независимой важности, с какой держался старик, Биболэт понял, что это — эфенди.

— Садись! — повторили другие старики, усаживаясь.

— Ничего, если и постою... Садитесь! — скромно сказал Биболэт.

— Садись! — снова пригласил его старик в каракулевой шапке. — Ты хоть и молод, а гость!

Биболэт знал, что будет лучше, если он не воспользуется положением гостя и постоит перед стариками. Но было у него на этот счет свое убеждение. Стоять, когда есть свободные места, он считал лишним. В этом случае обычай вежливости переходил уже в преклонение перед адатом.

Он воспользовался приглашением и сел. Неодобрение едва уловимой тенью пробежало по лицам стариков.

В этот момент вошел Халяхо.

— Салям-алейкум!

— Алейкум-салям, Халяхо! — приподнялись и сели старики.

— Этот, кажется, гость? — спросил Халяхо, решительно подходя к Биболэту и протягивая ему руку. — Добро пожаловать, гость!

Обменявшись с Биболэтом рукопожатием, Халяхо пристроился с краю скамы.

— Кто этот молодой гость, Мхамет?.. — спросил один из стариков.

— Это сын Мозоковых. Он в Москве учится. — пояснил Мхамет, стоявший среди молодых.

— Хорошо, если учится! — одобрительно протянул один из стариков.

— Я слышал, что молодой гость глубоко вчитался в книги, — сказал Халяхо.

— Пусть не отстает от других, если родился мужчиной, и пусть не роняет достоинства своего народа, — небрежно и правоучительно произнес старик в каракулевой шапке — Аликов.

— И пусть не присоединится к тем, которые отрицают бога, — в тон ему отозвался старик в чалме.

— Что поделаешь, надо петь песню того, на чьей арбе сидишь! — снисходительно бросил Аликов

— Да... — вступил в разговор эфенди, — пусть учителя, раз учат. Сказано же: «Если даже за дерьмо уцепишься, все равно держись крепко».

— Валлахи, эфенди, тот, кто сказал это, крепко скажет, — усмехнулся Аликов.

Ехидно-злорадный смешок колыхнул старческие головы. Биболэт вспыхнул. Ему хотелось грубо оборвать эфенди. Но он быстро сообразил, что спор и угрозы приведут только к скандалу и потере авторитета перед присутствующими, то есть к победе эфенди. Биболэт промолчал, храня равнодушный и спокойный вид.

— Может быть, я нечаянно кольнул сердце гостя? — спросил эфенди с усмешкой.

— Нет, ты правду сказал, — ответил Биболэт. — Мы хорошо знаем, что теперешний мир, в котором учат бесплатно детей адыгейских крестьян, некоторым кажется дерьмом. Но ведь и червяку, обитающему в навозной яме, наш светлый мир тоже кажется дерьмом...

Старики притихли в ожидании неминуемого скандала. Халяхо попытался разрядить молчание смехом:

— Этот молодой, как я вижу, не дает себя в обиду!

— По заслугам получил я! — предпочел не оскорбиться эфенди.

— Недаром говорили предки: «Не связывайся с молодым», — с хрипом уронил сидевший в стороне от других чахоточного вида старик.

В тоне старика Биболэт уловил заискивающие по отношению к эфенди, но остро враждебные к нему, Биболэту, нотки. Вспомнив, что здесь должен быть старик, по делу которого собрались остальные, он подумал: «Не этот ли?» — и внимательно всмотрелся в иссохшее, землисто-желтое лицо, с открытым гнилозубым ртом, похожим на дыру в плетне. Редкая рыжеватая растительность прямыми сухими клочьями торчала на старческих острых скулах. Болезненно блестящие глаза были неприятно остры — казалось, весь остаток жизни старика сосредоточился в этих двух горящих угольках. Что-то отвратительное чувствовалось в его озлобившейся на весь мир дряхлости.

Он смотрел на Биболэта немигающим взглядом,

полным ненависти. По его подозрительности и по тому, что старик сидел в стороне, у Биболэта, появилась уверенность, что это тот самый старик, чье дело будут сегодня разбирать. Более отталкивающего старика он никогда еще не видел. «Как могла молодая женщина прожить с ним хоть один день!» — гневно подумал он и посмотрел на Мхамета. Тот взглядом подтвердил его предположение.

Вошел парень и что-то тихо сказал эфенди.

— Хорошо!.. Пусть молодые выйдут.— обратился эфенди к стоящим у двери.

Молодежь неохотно повалила из комнаты. Остались лишь самые старшие из юношей, в том числе Мхамет и Биболэт. Старики переглянулись, ожидая, должно быть, что гость догадается выйти. Но тот упорно не замечал их взглядов и сидел с самым независимым видом, точно предложение к нему вовсе не относилось.

— Ну что ж, позовем женщину!.. Думаю, что гость нам не помешает, если Харун не будет против? — эфенди повернулся к чахоточному старику.

— В этом деле ничего секретного нет, но я хотел бы, чтобы мое стариковское дело слушали только старики! — сказал Харун.

План Биболэта безнадежно срывался. Теперь нужно было или скромно отступить перед стариками, или открыто мотивировать свое желание присутствовать на разбирательстве дела. Но это могло насторожить стариков, побудить их отложить «суд». Тогда Биболэт не только потерял бы возможность помочь женщине, но и ухудшил бы ее положение.

Старики молча ждали ответа.

— Я пришел по просьбе женщины, о деле которой вы будете говорить сегодня, — сказал Биболэт. — Она доводится мне дальней родственницей. Я не думаю, чтобы находящиеся здесь почетные старики и хаджи¹ могли проявить несправедливость и чтобы понадобилось мое заступничество.

Обезоруженные старики помолчали, обдумывая положение.

— Хорошо. Еще лучше, если будет родственник, — решил эфенди. — Позови женщину! — добавил он, обращаясь к Мхамету.

¹ Хаджи — человек, посетивший Мекку.

Неслышной тенью вошла укутанная в пестрый пла-ток женщина и, скромно опустив глаза, встала у двери. К Биболэту она стояла боком, ему видны были тонкие линии бледного смуглого лица.

Сидевшие встали навстречу ей.

— Садись! — предложил эфенди.

Она не ответила на это приглашение, зная, что оно является лишь лицемерной формальностью.

Биболэт пододвинул к ней свою скамью.

— Нет, спасибо! — холодно бросила она ему, но взгляд ее дрогнул.

Старики умолкли, устремив глаза перед собой, — они искали приличествующего начала к готовому решению.

Только эфенди оставался спокойно-величавым, и на лице у него сияла самоуверенность человека, который знает и видит, что начертано в священной книге аллаха, недоступной простым смертным. Всем своим видом он как бы говорил: «Справедливейший и милостивейший, всезнающий и вездесущий, не имеющий ни начала, ни конца, бесподобный, единый аллах предначертал рождение, жизнь и смерть. Книга аллаха необъятна. Не было и не будет на земле человека, кроме последнего из пророков Мухаммеда, который постиг бы всю глубину корана. Всех морей, превращенных в чернила, не хватило бы человеку, чтобы изложить смысл его, и будет врагом аллаха тот, кто вздумает его истины перевести на простой адыгейский язык. Одни эфенди, служители аллаха, изучившие его священные письмены, могут разъяснять законы корана...».

— Что скажешь, эфенди? — робко спросил старик в чалме.

— Скажи ты, хаджи! Ты знаешь, что мы скажем... — благосклонно уступил первенство эфенди и прибавил как бы вскользь: — Что скажешь, кроме того, что велит шарнат!

— Может быть, Харун имеет что сказать?

Тощий, сдавленный в груди, встал Харун, опираясь на костыль. Он обежал сидящих опасливым скоком колючих глаз и начал скрипучим, как арба, голосом, с трудом выдавливая слова:

— Сверх того, что вы уже знаете, мне добавить нечего. Свое семейное дело я вручил вам, и ваше слово для меня — закон. Прошу благосклонного участия ко

мне собравшихся здесь стариков и хаджи. Прошу помочь мне избежать позора и беспризорного одиночества на старости лет... — Он махнул рукой и закашлялся. Кашлял он так, что казалось, все нутро его, как старое тряпье, рвалось в клочья. Старик выплюнул на пол кроваво-желтый сгусток и сел, тяжело дыша.

— Ну, а ты, Амдехан, что скажешь? Чем провинился твой муж? Был он несправедлив к тебе?... — обратился старик в чалме к женщине, сощурив блестящие насмешкой глаза.

— Нет, особенной несправедливости не проявил: муж как муж. Но я не могу и не хочу больше жить с ним. Я вышла за него не по своей воле: меня продали ему, — тихо, но отчетливо сказала Амдехан, не поднимая глаз.

— Но если до сих пор жила, почему не можешь жить дальше?

— Жила не по своей воле, не могла уйти потому, что он не давал развода. Терпела. Я ему нужна только как унаутка¹. У него своя жизнь, своя семья. Сыновья его от старой жены уже семейные, значит, одиноким он не останется.

— А теперь он согласен на развод? — продолжал старик в чалме.

— По теперешним законам — этот молодой человек знает (она указала на Биболэта), — если он не захочет дать развода, я могу взять сама.

Слова ее прозвучали смело и твердо. Старик в чалме осекся, опустил блеснувшие гневом глаза и, чуть помолчав, заговорил притворно-умиротворяющим тоном:

— Е-е-е, красавица моя, не говори так! Здесь нет никого, кто желал бы тебе зла... Вот и твой родственник сидит. Он хоть и молод — дай аллах ему успеха, — а ума у него больше, чем у старого. Он не чужой, он наш, адыг. Мы, адыги, до сих пор жили заодно, имея свои законы и обычаи и свою совесть друг перед другом. Жили неплохо, не бросали своих обычаев, до сих пор и не бросим их, если будет воля аллаха, и в дальнейшем. И тебе мы, собравшиеся здесь старики, советуем соблюдать их. Не всем дается то, чего они хотят. Ты адыгейка и мусульманка и должна знать стыд — должна мириться с тем, что предназначено тебе алла-

¹ Унаутка — рабыня.

сем. Надо помнить о загробной жизни: нет человека, который мог бы избежать ее. Сиди на своем месте и не пуживай проклятья от людей и аллаха. Вот что находим мы, старики, справедливым сказать тебе! — неожиданно резко закончил он.

После него эфенди прочел проповедь о странном суде, о шарнате, о соблазнах мира, от которых гибнет человек. Он приводил для убедительности странно ломкие, путающие таинственностью, непонятные слова корана и переводил их на адыгейский язык как ему вздумается.

Амдехан стояла с низко опущенной головой, упрямо сдвинув брови. Лишь трепетавшая грудь выдавала ее волнение.

— О, эфенди, одного я не понимаю, — воспользовался общим молчанием Биболэт. — Ни вы, ни шарият, ни наши обычаи не говорят почему-то, чтобы молодая женщина имела право устроить свою жизнь так, как ей хочется!

— Побойтесь и вы аллаха! — неожиданно вскрикнула Амдехан. — Разве я хочу уйти от него из-за соблазна! Посмотрите на него и на меня!.. Как я могу жить с ним?

Амдехан сбросила с плеч платок и выпрямилась, отчаявшаяся, уже не стыдящаяся, с безумной гримасой готового вырваться рыдания. Стройная, сохранившая девственные очертания красивая фигура олицетворяла неутоленную жажду жизни.

— Где же ваша справедливость?! — крикнула она и, закрыв лицо руками, вышла из комнаты.

Старики онемели.

— Очень правильно!.. Отчего Харун не знает стыда и не сидит на своем стариковском месте! — произнес ономнившийся Халяхо.

Темнело, когда Биболэт и Мхамет вышли из исполкома. Они молчали. Каждый по-своему делал выводы из только что слышанного и виденного.

— Валлахи, Биболэт, — уже на улице сказал Мхамет, — ты посадил в лужу эфенди. Но боюсь, что старики будут осуждать тебя.

— Будут, но не все.

— Хорошо, что не было Хаджи Бехукова, вот бы скандал вышел. Ты гостинь у них, но он кренко сцепился бы с тобой.

— Председателя аулсовета не было там? Что-то я не заметил его!

— Нет, не было!.. Да он с ними заодно. Ты, Биболэт, хорошо держал себя. Только не надо было садиться при стариках.

— Стоять, когда есть свободное место, это просто глупо! — живо возразил Биболэт. — Здесь дело не в вежливости вовсе. Вспомни-ка, почему молодому князю или дворянину можно было сидеть при старших?

— Пожалуй, это правда, но все-таки странно как-то, не по обычаю... — задумчиво протянул Мхамет.

Глава девятая

После того как по улицам с многоголосым ревом прошли возвратившиеся с пастбищ стада, аул притих в сгустившихся сумерках. Южная ночь пришла стремительно, в окнах то там, то здесь зажглись огни, и сакли в кущах верб и зарослях кукурузы засветились, как лесные избушки. Время ночной жизни наступило в ауле.

В кунацкую Бехуковых понемногу начали стекаться к гостю люди. Самые молодые из них, чуть слышно проговорив: «Фасапши¹, гость», пожимали Биболэту руку и скромно отступали к двери. Те, что были постарше и лучше знали Биболэта, прибавляли к обычному приветствию какую-нибудь любезность или же шутку. Некоторые из них брали Биболэта за плечи, и смеясь, пробовали его силу, шутливо спрашивали:

— Ну как, не раскис ты еще в городе? Нет, город на тебя, видно, не действует.

Постепенно кунацкая наполнилась людьми. Старшие рассаживались, где хотели. Молодые почтительно стояли у дверей.

Величавый и осторожный Хаджирет поместился за столом напротив гостя. Неподалеку от них сидел добродушный великан Шумаф, про которого ходила шутка, будто он, когда его стали настигать на бегах, легко опередил всех, перешагнув через голову своей лошади. Тут же сидел Шуганб, незаметный пожилой человек, неизменный посетитель всех кунацких сборищ и великий молчальник. Его печальная фигура, как призрак, по вечерам бродила от кунацкой к кунацкой; он задерживал-

¹ Ф а с а п ш и — с добрым прибытием.

там, где веселее и приветливее относились к нему. И мог просидеть целый вечер, не проронив ни слова. Лишьходя, обычно с грустным вздохом, изрекал несколько слов, выражающих его отношение к тому, о чем говорилось в этот вечер. Были тут и еще пять-шесть молодых людей. Мхамет тоже успел уже сходить домой и, справившись с делами по хозяйству, возвратился к своему другу.

Разговор вначале не клеился. Люди сидели чинно, курили, угощаясь папиросами гостя, обмениваясь короткими замечаниями. Так было до тех пор, пока в кунацкую не вошел высокий парень с обветренным, загорелым лицом, на котором выделялись умные и строгие глаза, спокойно сияющие из-под темных густых бровей.

— Это вот наш коммунист Доготлуко! — с чуть приметной усмешкой представил парня Хаджирет. — Один из тех, которые ни бога, ни старших не признают.

Не обратив внимания на издевку Хаджирета, Доготлуко подошел к гостю и без малейшего смущения поговорил с ним. Биболэт с интересом поглядел на парня, на его бронзовое лицо, на маленькую курчавую шапочку, на выцветшую военную гимнастерку и галифе. «Доготлуко был военным», — подумал Биболэт, вспомнив, что рассказывал ему об этом человеке Юсуф.

...Доготлуко родился и вырос в ауле Шеджерий. Еще в раннем детстве он осиротел, и уделом его стала жалкая жизнь аульского пастуха, обязанного работать на других за кусок хлеба, за старые чувяки, за изношенное тряпье. Имя его в ауле неизменно произносилось с добавлением слова «бедный» или «паршивый». И все же это тяжелое, но бездумное время детства было, пожалуй, самой счастливой порой его сиротской жизни. Он тогда безотчетно радовался звукам своего пастушеского камыля¹, радовался песням у стада и одиноким танцам, когда, наигрывая себе на камыле, он изливал в пляске вокруг сухих бодыльев в степи восторг молодого растущего тела.

Затем пошло беспросветное батрачество. Но Доготлуко не унижался перед людьми и храбро отстаивал свое достоинство. Немало палок и кольев изломал он в драках с кичливыми сыновьями уорков и аульных богачей и, как ни трудно было его детство и отрочество,

¹ Камыль — род духового музыкального инструмента — тростниковая или железная тонкая трубка с тремя отверстиями.

умудрился вырасти на задворках аула, не дав сломить себя бесчисленным невзгодам жизни.

Началась гражданская война. Доготлуко ушел с проходными через аул красными частями и отсутствовал до конца войны. Когда в ауле уже забыли о нем, он вернулся совершенно иным человеком — возмужавшим, суровым, спокойным. Теперь во всех действиях Доготлуко проявлялась строгая устремленность. С первого же дня он начал объединять вокруг себя батраков и бедноту, чем и заслужил смертельную ненависть богатеев...

— Коммунист? — сказал Биболэт, пожимая руку Доготлуко. — Значит, самый смелый и самый честный человек в вашем ауле.

— Если так, то хорошо, что имеем такое сокровище, — процедил сквозь зубы Хаджирет.

Ненависть сквозила в каждом слове и движении Хаджирета, злобной прощней кривились его небрежно вздернутые брови. За внешней вежливостью его чувствовалась невытравимая враждебность ко всему новому. Надменно величавый, осторожный в словах, сидел он, чужой всем находящимся сейчас в купае.

Биболэт понял, с кем имеет дело, и воздержался от ответа. Доготлуко тоже не отозвался на слова Хаджирета, хотя по насмешливой улыбке, игравшей на его губах, было видно, что острый ответ готов был сорваться с языка.

— Ну, сказывай хабары¹, Биболэт! — сказал Мхамет, прерывая напряженную неловкость.

— В самом деле, мы тут развесили уши, чтобы слушать, а гость молчит, — поддержал его Шумаф.

— Что же сказать вам? Спрашивайте, что вам интересно.

— Ты сам должен знать, что нам интересно, — заметил Хаджирет, стараясь взять миролюбивый тон. — Расскажи нам, что творится сейчас на свете.

— Хаджирет, все равно новости Биболэта тебя не утешат! — с насмешливым вызовом сказал Доготлуко.

— Откуда ты знаешь? — брови Хаджирета угрожающе вскинулись, точно крылья готовящегося к нападению коршуна.

— Тебе не такие новости нужны...

— Скажи, если ты лучше знаешь, какие новости мне нужны.

¹ Хабары — новости.

— Хаялю всех заткнет за пояс своими новостями! — заметил кто-то, желая, видимо, предотвратить стычку.

Валляха-билляха, я не могу постичь, откуда только берутся у Хаялю его новости! — вмешался в разговор Юсуф, подходя к столу за папиросами.

— Я тоже хотел спросить гостя об одной новости, которую нам сообщил Хаялю. Он сказал, что был вчера в урнице и слышал, будто большевики и коммунисты чуть не подрались, и что, возможно, скоро подерутся, и тогда опять будет война. Это правда, Биболэт? — спросил Шумаф.

— Старик загнул вам интересную штуку... — зашептал Биболэт и начал объяснять, что большевики и коммунисты — это одно и то же.

Разъяснения его вылились в обширный доклад. Слушали его внимательно и серьезно.

— А что, Биболэт, Советская власть и веру собираются уничтожить? — спросил Хаджирет, воспользовавшись паузой.

Биболэт ответил уклончиво.

— Успокой человека, Биболэт, — насмешливо посоветовал Доготлуко, — скажи прямо, что религия скоро сама исчезнет...

— Виу-виу! Этот Доготлуко скоро гяуром¹ станет... — прогнул парень и, присев на корточки возле Доготлуко, шутливым изумлением заглянул ему в лицо.

— А он уже стал гяуром! — небрежно бросил Хаджирет и, поднявшись, добавил: — Доброй ночи, гость, не скучай!

Хаджирет вышел с надменным видом, но в походке его была такая опасливая настороженность, точно он отступал перед врагом и старался только сохранить внешнее достоинство.

Вслед за Хаджиретом поднялся и Шугаиб.

— Доготлуко рогами бодает небо... — бросил он на прощание. — Доброй ночи, гость!

После их ухода в купацкой стало как-то свободнее. Парни расселись вольнее. Сели и те, которые до сих пор стояли у двери.

— Хотел бы я знать, — сказал один из парней, — какое удовольствие Шугаибу, пожилому человеку, сидеть в молодой компании. Сидел бы дома, с детьми...

— А чем же он мешает тебе?.. Пусть сидит! — всту-

¹ Гяур — неправоверный, неверующий.

пился Мхамет, отлично понимающий, какая тоскливая скука бедного существования заставляет Шугаиба бродить по кунацким.

— Ты, Биболэт, своими новостями огорчил Хаджирета! — добродушно засмеялся Шумаф. — Он возвращения «своих» ждет, а ты рассказываешь ему, как укрепляется Советская власть.

— Доготлуко, что вы с Хаджиретом вечно бодаетесь? — спросил Мхамет.

— Сердце не выносит его лицемерия... Бровями подпирает небо, а за душой — одна подлость... — неохотно ответил Доготлуко и гневно посмотрел через отворенную дверь в темноту, куда скрылся Хаджирет. — Как будто мы не знаем, какой он благочестивый мусульманин! Озабочен гибелью веры! А сам вместе с Измаилом оставляет хуторских мужиков без рабочих лошадей! Да что там, он и единоверцу голову свернет... Сколько лет он аульную бедноту обдирал, скупал землю за бесценок! Сколько соков высосал из аула через свою лавку...

— А все же, Доготлуко, признайся, ты уже не веруешь в аллаха? — спросил Шумаф.

— Да, да, скажи, Доготлуко! — поддержал его Мхамет. — Ответь, как подсказывает сердце. Здесь нет чужих, таиться тебе нечего.

— Я знаю, Мхамет, что ты веруешь, и веруешь сердцем! — медленно и как-то особенно веско произнес Доготлуко. — Я не хочу задевать твою веру, как задеваю притворную заботу о вере Хаджирета, и охотно скажу тебе, что у меня на сердце. Прежде всего сомнение насчет аллаха появилось у меня вот по каким соображениям: подружившись с русскими в Красной Армии, я узнал, что они нас, как и мы их, считают неправоверными и пророчат нам на том свете вечные мучения в джаханаме¹. Тут я задумался. Как же так: аллах всех создал и всем предначертал судьбу, а надоумил их верить по-разному. За что же аллах будет карать людей на том свете? За то, что он их создал такими, за то, что положил на их сердце такую веру? Где же справедливость всесправедливейшего, как утверждают, аллаха? Я искал справедливости и во всех других делах аллаха, но нигде не нашел... Так я пришел к думе, что аллаха нет...

— Валлахи, Доготлуко, пусть не прогневаешься на

¹ Д ж а х а н а м — ад.

меня аллах, ты говоришь правдоподобно и хитро, но...

Так завязался один из тех многочисленных споров, какие ведутся в кунацких до поздней ночи.

— Ну, довольно докучать гостю спором — надо его повеселить, к девушкам повести! — предложил вдруг Шумаф в самом разгаре спора.

Все охотно поддержали это предложение.

— Да, это верно! Мы забыли о девушках, занявшись делами аллаха.

— К гармонистке пойдём!

— Надо к такой девушке его свести, которая могла бы испытать, умеет ли гость так же ловко ухаживать, как и спорить с нами.

— Я пойду только при условии, если пообещаете не тягивать меня в ухаживание, — заявил Биболэт.

— Это будет видно там! — хитро улыбнулся Мхамет.

— Мы поведем тебя к такой девушке, от которой ты сам не захочешь уйти.

— С Биболэтом будет то же, что с медведем, у которого оторвали ухо, когда потащили его к меду, а когда принялись оттаскивать прочь, то оторвали хвост.

— К кому же пойдём?

— Биболэту понравилась дочь Установковых, надо туда пойти, — предложил Юсуф, подмигнув Биболэту.

— Что же, это подойдет. Дочерей Установкова — хоть кому показывай! — поддержал Мхамет. — Только предупреждаю, Биболэт, Куляц очень коварна...

Шли темными ущельями переулков. Пробирались гуськом вдоль плетней, цепляясь за колючки, которыми были укреплены плетни в защиту от недоброго люда и буйволов. Еле уловимые шорохи ночи, тяжелые вздохи скота, доносившиеся с базов, приглушенный темнотой шепот убираемого на ночь медного таза да изредка тревожно-ломкие голоса — все это, казалось, было приглушено ночной стихией. Ночные птицы шарахались, налетая в темноте на людей.

— Биболэт, мне надо сказать тебе два слова, — проговорил Доготлуко, догоняя его.

Биболэт приотстал от других.

Я хотел спросить, как нам оформить ячейку комсомола. Тут у нас организовалась группа ребят. Теперь дело только за тем, чтобы оформить, — доверчивым шепотком сказал Доготлуко, заходя с левой стороны и уступая правую гостью.

Глава десятая

Юсуф свой человек во всех домах аула, где есть красивые девушки. Его-то и выслали вперед предупредить Устаноковых, когда приблизились к их двору. Остальные замедлили шаг и остановились у ворот.

Двор, окруженный высоким плетнем, зиял в прогалине ворот пустотой мрака. Строения с низко наклоненными крышами слились в одну темную стену, и в одном месте этой сплошной стены светилось крошечное окошко большой сакли. Недалеко от нее, в щель закрытых ставней, пробивались узкие полосы света.

Здесь жила Нафисет...

Биболэт подумал об этом с неожиданным волнением, и девушка встала в его памяти такой, какой он увидел ее ночью на дороге — с трогательной настороженностью, с прямым, правдивым и умным взглядом.

— Если девушки окажутся на чапце, мы будем наказаны по заслугам: надо было их предупредить с вечера, — тихо сказал Мхамет, воровато заглядывая во двор.

Тут неподалеку от них раздался кашель — звонкий, нарочитый, такой, каким дают знать о своем присутствии. Подошли двое. Один — высокий, стройный, в черкеске. По угловатым, расширенным кверху линиям шапки было видно, что она хорошо сшита. Другой — пониже ростом и одет не в черкеску, а в простую рубашку.

— Кто это? — больше вглядываясь, чем спрашивая, произнес высокий, подходя.

— Видно, Измаил, и ты взял на прицел красивую девушку! — подшутил Мхамет.

— А-а, Мхамет! Это ты? Кто же добровольно откажется от красивой девушки! — ответил высокий, смеясь. Голос у него был грудной, внушительный, с преобладанием каких-то снисходительно-шутливых, наигранно воркующих ноток.

— Холостым простительно ходить к девицам, но ведь ты, Мхамет, семейный? — прохрипел, словно на несмазанной арбе проехал, спутник Измаила.

— Не-ет, я так просто не уступлю вам, неженатым, весь мир — ответил Мхамет с легким оттенком грусти в голосе.

— Мхамет тут ни при чем! — вступился за него Шумаф. — Сегодня он о нашем госте старается.

— С вами гость?

— Да, мы хотим показать гостю наших красавиц.

— Тогда... счастливый путь. Не будем мешать...

-- У нас нет такого дела, которому можно было бы помешать. Будем рады, если и вы присоединитесь, — сказал Биболэт.

— Конечно, раз встретились, то и пойдем вместе, — поддержал его Мхамет. — Чем больше людей, тем веселее.

Он первым вошел в ворота.

— Куда идешь, Мхамет, кунацкая здесь! — крикнул ему Шумаф.

— Зачем мы будем из кунацкой дальним прицелом бить — нагрянем прямо в девичью горницу и захватим их в самом гнезде, — отмахнулся Мхамет, уверенно направляясь туда, откуда сквозь щели пробивался свет.

— Пожалуйста! — распахнул перед ними дверь Юсуф.

Биболэт заметил фигурку, перебежавшую комнату. Это была Нафисет. Она метнула взгляд в сторону открывшейся двери и юркнула за спину Юсуфа. Но когда гости вошли, она уже чинно стояла у изголовья деревянной крашеной кровати.

Старшая — Куляц, принаряженная, стояла у освещенного лампой стола. Окутанная розово-красной дымкой газового шарфа, она поплыла навстречу гостям и со скромно опущенными глазами мягко коснулась своей рукой руки гостя.

— Ишь, какой смиренной прикидывается!.. — не удержался от восклицания Мхамет.

Биболэт подошел к Нафисет.

— Как видишь, я твой верный союзник и не теряю тебя из виду.

Нафисет смущенно улыбнулась и, не подымая глаз, протянула руку.

После того как все по очереди и по старшинству поздоровались с девушками, Измаил шагнул к Биболэту и чинно произнес:

— Фасапши, гость! В темноте не отдали тебе салам!

Биболэт узнал в нем того блистательного всадника, который пересек им дорогу сегодня, когда он с Мхаметом подходил к аулисполкому.

Биболэт с интересом присмотрелся к Измаилу. Это был стройный и, видимо, очень сильный человек с му-

жественным, красивым лицом, на котором выделялись густо подкрученные усы и крупные темные глаза. Трудно было на первый взгляд заподозрить в нем порочно-го человека — конокрада, и только внимательно при-смотревшись, можно было подметить его вороватые повадки. Серпообразный изгиб белесого, как недопеченное тесто, рубца придавал ему шельмоватый вид.

Мужчины уселись. Куляц стояла между столом и кроватью, ярко освещенная лампой, от которой она стыдливо закрывалась шарфом. Оранжевый отсвет от шарфа, падая на лицо, подчеркивал ее смуглый румянец.

Нафисет никто не предложил сесть: ей, как младшей сестре, не полагалось садиться в присутствии старших. Она стояла, словно изваяние, безучастная, строгая, глядя куда-то в сторону.

Биболэт увидел на столе стопочку книг и тетрадок. Он пачал их перелистывать, но тут же заметил забавную пантомиму. Нафисет строго хмурила брови и глазами молила Юсуфа взять у него тетрадки. Юсуф лишь отмахивался и смеялся: «Пусть смотрит».

Нафисет не выдержала: стремительно перемахнула освещенное пространство комнаты и, подойдя к столу, принялась отнимать тетради у Биболэта.

— Это нельзя смотреть...

— Почему же? Здесь, надеюсь, ничего секретного нет.

— Отдай!..

Биболэту была приятна эта шутливая борьба. Щеки девушки ярко горели, она смущенно отводила глаза, избегая его взгляда. Лишь на одно мгновение ее темные зрачки задержались на нем.

— Опять недоверие! Дай посмотреть, а то поспорим, — смеясь, говорил он.

— Отдай!.. — молила Нафисет.

Он уступил. В его руках осталась только одна тетрадь.

Девушка возвратилась на свое место у изголовья кровати. Смущенная, раскрасневшаяся, она бросала беспокойные взгляды в сторону Биболэта, который перелистывал ее тетрадь.

Несколько страниц в тетради было заполнено столбиками русских слов, выведенных неуверенным почерком.

Мхамет кашлянул и вынул табакерку.

— Ну, Куляц! — хитро улыбаясь, сказал он. — Наш гость добрался до книжек и больше ни в ком не нуждается. Выбирай уж между нами: мы одни верны тебе!

— Что же делать! — с притворным смирением ответила Куляц. — Неприлично нам заниматься при госте своими личными делами. Будем поступать так, как захочет гость.

Биболэт не собирался быть участником того словесного состязания с девушкой, которое у адыгейцев является формой шуточного ухаживания за ней. Но теперь он должен был ответить на вызов.

— Мхамет, я не знал, что ты так хитер, — сказал он. — Я совершил проступок, что уткнулся в книгу, позабыв о присутствующих. Но и ты, Мхамет, совершаешь не менее тяжкий проступок, изменяя товарищескому слову. Это ответ тебе, Мхамет. Я очень доволен, что Куляц готова исполнить мои желания, но боюсь, что она пожалеет о своих словах, если я выскажу желания, лежащие у меня на сердце.

— Валлахи, друг, ты хоть и остер на язык, а все-таки попался, — негромко, будто для самого себя, проговорил Мхамет.

— Валлахи, Мхамет, ты тоже, кажется, наскочил на твердый камень! — засмеялся Шумаф и протянул руку к табакерке Мхамета.

— Гость, наверное, судит по поступкам городских людей, если думает, что мы не сможем сделать приятное гостю? Слова свои я сказала, зная, что они значат, и от них не отступлюсь, — сказала Куляц и кинула взгляд в сторону Юсуфа. Тот одобряюще кивнул ей.

Биболэт понемногу вошел в шутивную роль жениха, добивающегося руки Куляц, но тут в игру вмешались Измаил и Шумаф. Они выступили защитниками неопытной девушки своего аула, клоня дело к тому, чтобы Куляц выбрала не Биболэта, а Измаила. Тогда Мхамет, занимавший вначале неопределенную позицию, присоединился к Биболэту. А Куляц, видя, что Биболэт смелее повел наступление, стала обороняться, опираясь на доводы своих защитников. В конце концов словесная борьба свелась к согласию Куляц «пойти за Биболэтом хоть на край света», а Биболэта — «разделить с ней жизнь и смерть»...

— Эх, Куляц, если бы я знал, что ты так скоро согласишься, не подпевал бы так усердно Биболэту! —

и притворным вздохом сказал Мхамет. — Теперь мы остались единственной гармонистки аула. Но дело уже сделано: поиграй нам напоследок на гармонике, а потом мы с тобой в последний раз потанцуем. А там пусть Аллах сделает вашу совместную жизнь счастливой.

Куляц достала гармонику и, томно склонив голову, тронула клавиши. Из-под ее тонких рук полились звуки плясовой музыки. Мхамет поднялся, делая руками иступительные движения к танцу, как грузный ягнятник перед взлетом, и закружился в вихре бешеных звуков.

За ним Биболэт протанцевал в паре с Нафисет.

Нафисет исполнила танец, как формальную обязанность, а потом отошла на свое место такая же строгая, безучастная, какой она была весь вечер.

Биболэт заметил, что к ее холодной строгости применялась озабоченность. К нему она теперь относилась не с тем доверчивым и нескрываемым преклонением перед его «ученостью», которое он заметил во время первой встречи. Судя по тому, как она отводила от него глаза, он так понял ее мысли: «Ты уже вышел на широкую дорогу, а мне еще надо выбиться, вот моя забота...»

Сердце Биболэта наполнилось жалостью и готовностью сделать все, чтобы помочь Нафисет порвать опутывающие ее цепи.

Кроме того, в этот вечер Биболэт заметил, как Измаил несколько раз украдкой смотрел на Нафисет мужским, оценивающим взглядом. Это встревожило Биболэта. Слова Юсуфа о том, что и Нафисет не миновать обычной участи черкешенки, имели, оказывается, больше оснований, чем он думал.

Принесли чай. После чая компания поднялась.

Прощаясь с Нафисет, Биболэт сказал:

— Ты все еще проявляешь ко мне недоверие, но я серьезно хочу быть твоим верным союзником. Как только научишься писать, будем переписываться. Не слушай никого — учись.

— Хорошо... — застенчиво пролепетала Нафисет.

— Валлахи, гость, мы не сможем принести тебе столько жертв: тебе придется удовлетвориться одной из сестер... — сказал Измаил и засмеялся вызывающим смехом.

То, что под этой шуткой Измаила была скрыта загадочная мысль, Биболэт узнал несколько лет спустя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Он лежит в сумеречной кунацкой. Сквозь щели приоткрытых ставней в комнату пребиваются розоватые полоски солнечных лучей. Тонкими светлыми лезвиями они разрезают темноту, и в них тихо плавают мириады серебряных пылинок... Где-то в углу нудно жужжит муха, попавшая в сети паука... Нет, это не жужжание мухи, а знойное гудение шмеля, и он, мальчик, не в кунацкой лежит, а в высокой траве. Он даже ощущает, как примятая трава щекочет ему шею. Над ним висит желто-опаловый шмель. От крылышек, вибрирующих незримо и быстро, исходит это непрерывное гудение. Шмель, кажется, недвижим, точно подвешен на незримой ниточке. Но вдруг он будто порывает ниточку и ввинчивается в неподвижный воздух, исчезает на миг, а потом вновь появляется в той же кажущейся неподвижности. Биболэт пытается проследить за полетом шмеля, и тут же его охватывает гнетущая забота: «Надо ехать на уборку хлеба. У кого бы выпросить лошадь под пару к Гнедко?.. Отец, наверное, уже хлопочет...»

И вот они в поле. Отец, сгорбившись, идет впереди в медленном ритме; он тяжело раскачивается, размахивая косой. Ноги он передвигает как-то немощно, словно несет непосильный груз. Отец стар. Биболэту бесконечно жаль его. Но косить сам он еще не может. Он вяжет снопы. Вот отец оборачивается и устало укоряет его: «Разве можно оставлять колосья в поле...». По лицу отца катятся капли пота, теряясь во всклокоченной бороде. Но нет, это не отец, и седая борода вовсе не всклокочена, а аккуратно подстрижена. И он не горбатится, а стоит прямо и даже величаво. И говорит Биболэту безучастно холодно: «Вот что, молодой человек! Вам придется еще позаботиться и прийти на зачет в следующий раз». Это — профессор, а он, Биболэт, провалился на зачете! Жгучий

тот обжигает его лицо, сердце сжимается тоскливо, до боли. Он глубоко вздыхает и... просыпается.

Как хорошо, что это только сон! Нет, с зачетами у него все благополучно.

Он открывает глаза — вокруг него спят на койках его товарищи по студенческому общежитию.

Биболэт вскакивает и подбегает к окну, открывает форточку. Вместе с холодной струей воздуха в комнату вошел обычный гул Москвы.

Биболэт потихоньку, чтобы не разбудить спящих, оделся и вышел на улицу.

Стоят первые заморозки. Небо и улицы, дома и деревья укутаны в серый цвет пасмурного дня. Просеиваясь, как сквозь сито, тонкая пороша снега.

По тротуарам холодный ветер взвихривает снежную пыль.

Миновав Лубянскую площадь, Биболэт вышел к памятнику первопечатнику. Перед ним открылась площадь Свердлова с переплетающимися линиями трамвайных рельсов. Из множества спящих по площади людей Биболэт вдруг выделил фигурку человека в желто-серой шубенке, который шустрой, торопливой походкой пересекал проезд. Растерявшись среди непривычного шума и движения, человек шел так, словно переходил реку по льдинам. Испуганно шарахался от автомобилей, пересекавших его путь, тут же застывал на месте, как обреченный, а потом начинал пробиваться дальше.

«Халяхо! — блеснуло у Биболэта. — Но нет, откуда же... А все-таки это Халяхо!» Он бросился вдогонку и, повернув за угол к Мосторгу, снова увидел человека в шубенке. Биболэт подошел и осторожно оглядел старика.

Да, это был Халяхо.

Срывающимся от радости голосом Биболэт воскликнул:

— Фасанши, Халяхо! Каким ветром занесло тебя сюда?

Старик испуганно и быстро повернулся, недоверчиво посмотрел на Биболэта и вдруг, раскрыв объятия, воскликнул:

— О-уй-уйу! Живой адыгеец! — обрадованный старик бросился к Биболэту, схватил его руку в свои шершавые ладони и долго тряс, приговаривая: — Как хорошо, что ты здесь! Что тут делается! Аллах-аллах! Какая

крутом суматоха! А ты как сюда попал, Биболэт?

— Да я здесь учусь!

— Как хорошо, как хорошо! За три дня, как здесь нахожусь, я, старик, и то многому научился, а пожить здесь год — это большое ученье. Как хорошо, что хоть один адыгеец учится здесь!

— Здесь не один адыгеец, здесь много нас учится. Мы очень часто встречаемся.

— Валлахи, хорошо! Нужно бы мне их повидать. Я рассказала бы о вас дома.

— Я могу тебя свести к нашим.

— Вот хорошо будет, сынок! А то, как попал сюда, так и до сих пор не могу опомниться. Словно щепка в водвороте!.. О-уй-уйу, и во сне не снилось мне, что есть на свете такое место, где столько людей, столько всего...

— Неудивительно, Халяхо, что мы здесь живем и учимся, но как вот ты попал сюда? Ведь наши старики неохотно бросают насиженные гнезда...

— И не говори, сын мой! Не узнаешь, что человека ожидает на этом свете! Я словно тот герой из наших адыгейских сказок, который на ковре-самолете полетел в неведомый, чудесный, иной мир...

Халяхо помолчал минутку. Глянув в сторону Большого театра и как бы вспомнив самое главное, он вдруг присапнулся в своей шубенке и с достоинством возвестил:

— Мы на съезд Советов приехали. — По адыгейской манере Халяхо говорил о себе во множественном числе.

...На следующий день, рано утром, Биболэт — как было условлено с Халяхо — явился к столовой, под вторым Домом Советов. Халяхо уже ждал его у подъезда.

Щуплый, морщинистый, с аккуратно остриженной бородкой, он стоял, хмурия мохнатые брови. Глаза его слезились от холода, и мутные слезинки медленно стекали по желобкам морщин. Он зябко поджимал под себя то одну, то другую ногу в сафьяновых ноговицах и юфтевых башмаках, удобных для намаза¹. Подол латаной нагольной шубенки, перетянутой поясом, торчал растопыренным кринолином. Весь он являлся олицетворением былой задавленности и нищеты адыгейских тружеников, одной из основ жизни которых была выносливость.

¹ Намаз — молитва у мусульман.

Когда Биболэт подошел, Халяхо не показал виду, что obviously ждал его и продрог, а сказал покровительственно, соблюдая стариковскую солидность:

— Хорошо, что пришел так ранешко и выполнил свое слово, как подобает мужчине. Должно быть, ты здесь уже привык жить по часам. А мы, старики, привыкли все глядеть на солнце да на звезды. Но тут не разберешь: кругом светло, а небо серое, поди узнай, что сюда! — Он вытер ладонью слезы и прибавил: — Пойдем поедим немного.

— Я уже ел, Халяхо. Пойди ты поешь, а я подожду, — сказал Биболэт.

— Нет, такого кушанья, каким угощают нас здесь, ты, наверное, никогда не ел. Идем! — настаивал Халяхо. — Мы, адыги, непривычны к таким отборным кушаньям. Нам бы — нашу мамалыгу да шашлыка из кошеного мяса. А тут такие кушанья, что просто не знаешь, как их и есть. Идем, ты лучше нас, стариков, одолеешь все это.

Биболэт заметил перемену, происшедшую в Халяхо с того времени, как он видел его два года назад в ауле. Во всей осанке припущенного горькой жизнью старика появилось чувство собственного достоинства, не было уже в нем прежней заискивающей перед немилостивой судьбой робости и суетливости. В поступках, движениях и словах видна была независимая солидность. Это сказывалось даже в том, как Халяхо уверенно и спокойно держал свои беспокойные руки. Биболэт удивлялся и радовался этому.

Когда они вышли из столовой, Халяхо заявил: — Ты, Биболэт, наверное, здесь не без дела живешь, но ты должен быть с нами, пока мы здесь. Покажешь нам все, что следует видеть, и разъяснишь все это толком. А то нас прислала сюда целая область, и позор падет на нашу голову, если мы не сумеем привезти в аул обстоятельные новости.

— У меня занятия... — пытался отговориться Биболэт.

— Какой же ты мужчина, если не сможешь подопнать то, что пропустишь за несколько дней! — возмутился Халяхо. — А насчет разрешения ты не беспокойся. Напишем через наше представительство бумажку, и тебя освободят от занятий.

Так и вышло. По просьбе Халяхо Адыгейское представительство написало отношение в институт. Там охот-

но удовлетворили его просьбу, и Биболэту пришлось не без удовольствия подчиняться воле Халяхо.

В Москве Халяхо жил в постоянном стремлении все видеть, все познать. Его общественная активность, его непоседливая любознательность и страсть к погоне за новостями обрела здесь широчайшее поле для своего применения. Его кровать в общежитии делегатов съезда, аккуратно прибранная, оставалась нетронутой до поздней ночи. Старая выцветшая бурка, скрученная так, что ее в любой момент можно было привязать к седлу, без употребления лежала в изголовье постели. Под кроватью, в пестро окрашенном фанерном чемоданчике, замкнутом огромным замком, покоились два каменнотвердых круга сухого адыгейского сыра — неизменного спутника всех адыгских путешественников. Сам Халяхо в перерывах между заседаниями съезда без усталости носился по городу в сопровождении Биболэта.

Необъятная сложная жизнь Москвы занимала Халяхо и вызывала в нем множество пытливых дум. Не желая терять времени, он иной раз отваживался выходить и без Биболэта. На перекрестках шумных улиц он останавливался и, пораженный бешеным темпом движения, долго стоял, присматриваясь к удивительной жизни большого города.

Халяхо правилась деловитая спешка людей, наполняющих улицы Москвы по утрам и после обеда, людей в рабочих куртках и людей в галстуках, с портфелями под мышкой. Их ожидание трамваев он воспринимал по ассоциации со своей жизнью в ауле. Ему казалось, что они ждут трамваев, как он у себя ждал какую-нибудь попутную подводку, чтобы добраться до своего поля. Ему в ауле часто приходилось пропускать «непопутные» — подводки богачей: одни — из-за ненависти к их владельцам, другие — из-за боязни, что они подвезут его не на его поле, а к своему участку и заставят работать за долги...

«Эх, не узнать им, этим городским людям, всех лишений, перенесенных бедным Халяхо-безлошадником! — думал старик, следя за сутолокой у трамвая. — Им подвода обеспечена: пропустят одну подводку, через минуту подъедет другая. А вот когда в ответ на твою просьбу хозяин окатит тебя презрительным взглядом и, хлестнув сытых лошадей, пронесется мимо... Тогда останешься стоять на месте с пламенем гнева, стыда и ненависти в душе...»

Однажды Халяхо вышел рано, с намерением побродить до начала заседания съезда. Кружась по глухим переулкам Москвы, он заблудился. Уличка, по которой, как ему казалось, он повернул назад, вывела его на какую-то незнакомую площадь. Халяхо стоял на углу и растерянно оглядывал площадь с магазинами, со сквериком и огибающими этот скверик трамваями. Он остановил проходившую мимо девушку и спросил, в какую сторону надо направиться, чтобы выйти к Большому театру. Девушка, по-видимому, спешившая куда-то, все-таки остановилась, внимательно осмотрела старика и без лишних расспросов сказала:

— Вы, наверное, делегат съезда?

Получив от Халяхо утвердительный ответ, она приветливо улыбнулась и предложила:

— Пойдемте, я провожу вас.

Халяхо попытался объяснить на русско-адыгейском наречии свое затруднение:

— Ми приехали съезд, трудна пути дорога на город.

Девушка кивнула ему и опять улыбнулась, будто уверяя то, что он заблудился.

Старик едва поспевал за ней, почти бежал вприпрыжку, словно танцуя.

Девушка довела его до угла и сказала:

— Пойдете прямо, там и будет Большой театр... Вон он виднеется.

Халяхо в замешательстве перевел глаза с театра на девушку.

— Ну, найдете теперь?

Она стояла перед ним, приветливо улыбаясь. Глаза у нее были цвета голубого неба, а белокурые волосы, отливающие золотом, были прикрыты маленькой плоской шапочкой, зеленой, как лопух.

Халяхо отступил на шаг, молитвенно поднял руки к небу и осыпал ее многословной старческой благодарностью:

— Спасибо, товарищ! Хороша товарищ! Ваша похожа на адыге. Наша адыге обычай нада так: гость провожай...

Неизвестно, поняла ли девушка ту большую похвалу, которую выразил ей Халяхо, сравнив ее с адыгейкой, но она опять улыбнулась старику и сказала:

— Вот теперь вы сами пойдете Большой театр. До свидания! — и быстро зашагала по улице в противополо-

ложную сторону. Пройдя немного, девушка оглянулась и еще раз улыбнулась.

Халяхо долго стоял на месте, провожая ее взглядом.

Удивительное противоречие совмещалось издавна в адыгейских взглядах на жизнь, противоречие, свидетельствующее о том, что многие из этих взглядов чужды народу и навязаны ему извне. Адыгеец восхищался действующими в народных сказках и преданиях черкешенками-амазонками, а его обычай заковывали женщину в цепи рабства. Он преклонялся перед обликом русской интеллигентной женщины, ему нравилась ее свободная уверенная поступь, и в то же время адат, лишая черкешенку всякого проявления самостоятельности, всякого участия в общественной жизни, замуровывал ее, как рабыню, в стенах женской половины дома.

Халяхо понравилась деловито-торопливая поступь этой девушки, удалявшейся от него. Он смотрел ей вслед и в душе завидовал родителям, дети которых растут такими счастливыми.

Этот случай дал Халяхо возможность ощутить самую суть людей, пчелиным роем обвешивавших по утрам и после обеда уходящие трамваи и заполнявших улицы говорливыми потоками. До сих пор Халяхо наблюдал городских людей со стороны, не имея случая ближе соприкоснуться с ними. Вместе с восхищением их деловой занятостью он питал к ним некоторое завистливое недружелюбие. Но эта девушка, с птичьей легкостью летящая на работу, вся приспособленная к непонятной, но манящей Халяхо городской жизни, — эта девушка заставила его почувствовать к городским людям особую сердечную теплоту. По взглядам этих людей, по той предупредительности, с какой они уступали ему дорогу в уличной сутолоке, Халяхо чувствовал, что они питают к нему такие же теплые чувства.

Но были и другие люди, к которым Халяхо относился с инстинктивной неприязнью. Эти люди появлялись на улицах по вечерам. Точно клоны, выползали они из закоулков Москвы на широкие улицы. Они отличались томно-вялой, скучающей поступью. В их враждебных, подернутых деланным безразличием взглядах чувствовалось, как не мнил им этот свет...

Иногда случалось, что Халяхо, засмотревшись на что-нибудь, вполтную сталкивался с ними. Тогда его

окапывали холодным взглядом, и этот взгляд говорил: «Что за грязная дичь попала сюда!»

Халяхо в этих случаях останавливался, небрежно сложив руки за спину, и тем же убийственно-враждебным взглядом, каким встречали они его, провожал их.

На заседаниях съезда Халяхо вел себя беспокойно. Он то и дело завязывал беседу с сидящими рядом делегатами и часто бросал отдельные слова или гортанные восклицания по поводу той или иной понравившейся ему мысли в выступлениях ораторов, содержание которых он угадывал каким-то особым инстинктом...

— Энта правильна, валлахи, правильна!

Или:

— Энта хто такой? О-о, молодец говорит!

Делегаты съезда, с которыми быстро перезнакомился Халяхо, замечая его захватывающее увлечение всем видимым, с удовольствием завязывали с ним серьезные беседы. В общении к нему установилось такое же приветливое, добродушно-шутливое отношение, как и в ауле.

Все съездовские материалы Халяхо старательно складывал на дно своего чемоданчика, пригрузив их двумя кругами сыра.

Из членов правительства, которых он видел в президиуме съезда, ему особенно понравился Михаил Иванович Калинин. Халяхо не сводил с него восхищенных глаз, чувствуя в живой, неутомимой натуре всесоюзного старосты что-то общее со своей собственной непосредственностью.

— Валлахи, этот Калинин молодец! Он, должно быть, когда-то крестьянином-хозяином был: живой старик! — восхищенным шепотком высказывал он свои соображения Биболэту.

Халяхо был чрезвычайно озабочен каким-то земельным делом своего аула. К концу съезда он решительно заявил, что ему надо повидаться с Калининным.

— Я должен говорить с ним о деле, порученном мне аулом, — важно говорил он. — Да и уехать, не отдав салям самому старшему из нас, крестьян, нехорошо. Чтобы только повидаться с ним, люди приезжают с самых далеких окраин страны. А дело, которое я имею к нему, не маленькое: соседский хутор хочет оттягать у нас кусок нашей земли. Каждую весну из-за этой

земли затевается драка, большой халбалык¹ получается. Надо этому положить конец.

Через Адыгейское представительство созвонились с приемной Калинина и договорились о дне и часе посещения. В назначенный вечер Биболэт не мог пойти с Халяхо — у него был зачет. Халяхо дали в провозчатые другого студента.

На следующее утро, встретившись со стариком, Биболэт удивился какой-то особой значительности в выражении его лица. Халяхо, казалось, вырос на целую голову. По всему было видно, что своему свиданию с Калининным Халяхо придавал величайшее значение. Он рассказывал об этом свидании задумчиво и очень подробно:

— Михаил Иванович правильно говорит. Когда я изложил дело о нашей земельной тяжбе, он сказал так: «Если у вашего аула недостаток земли, можно прирезать вам земли от соседей, имеющих излишки. Если же у вашего аула есть излишек земли, в которой ощущает нужду соседний хутор, то не зазорно будет вам помочь хутору. Но скоро начнутся землеустроительные работы, тогда разрешатся все ваши споры. А так никто не имеет права насильно отнимать вашу землю. Объясни все это своим аульчанам и пусть поладят с хутором, не поддаваясь кулацким провокациям. Мы напишем вашему облисполкому, чтобы он разрешил этот вопрос». Вот что сказал мне Калинин о нашем земельном деле.

Весь этот день Халяхо находился под впечатлением своего разговора с Калининным. Был необычно задумчив и время от времени вдруг вспоминал новые подробности разговора с Михаилом Ивановичем.

Вечером Биболэт и Халяхо, усталые после продолжительного хождения по городу, сели отдохнуть в скверике на площади Свердлова. Халяхо помолчал некоторое время, погладил рукой бороду и произнес как-то особенно серьезно:

— Валлахи, умный старик! Говорит: «Не поддавайтесь кулацкой провокации...» Он знает все, что творится в каждом уголке страны. А мы, бедные глупцы, деремся с хуторянами из-за пустующих земель, на которых выгуливаются табуны Бехуковых и Аликовых.

¹ Халбалык — ссора, скандал, шум.

Бехуковы и Аликовы и натравливают нас на хуторян.

Халяхо привычно поглядел на небо, но не увидел нищ: над крышами домов висело красноватое туманное зарево. Площадь, с несущимися огнями автомобильных фар, со светлыми нимбами вокруг фонарей, показалась ему, наверное, сказочным царством, и он оторопело умолк. В молчании прошло несколько минут. Халяхо справился со своим волнением и заговорил опять:

— Е-е, Биболэт, если бы ты знал, что вытворяет компания Бехуковых в нашем ауле! Сколько у них подлости, сколько коварства!.. Они много лет пили из нас кровь, а теперь, когда мы начали освобождаться от них, совсем обезумели... Но кто хорошо расправился с Хаджи Бехуковым, так это Иван. Ты, наверное, помнишь их батрака Ивана? Человека более выносливого я и не видывал. Можно сказать, что имущество Хаджи накоплено Иваном. Но его, бедного, ни разу досыта не накормил Хаджи. Доготлуко и комсомолы взяли Ивана под защиту и надоумили его подать в суд. Суд присудил Ивану тысячу рублей. Ох, как взбесился Хаджи, как он выл!.. А тут еще суд по делу Амдехан! Шайка проиграла его... А когда меня выбрали на съезд, Хаджи Бехуков и его компания позеленели от ярости. Они хотели своего выбрать. Но аул уже не тот теперь, и Бехуков провалился. Тут сильно постарался Доготлуко, он прямой и справедливый человек, — дай ему, аллах, долгой жизни! — вступился за меня.

Биболэт воспользовался паузой в многоречивом рассказе старика и решил задать вопрос:

— Халяхо, у вас в ауле была одна девочка, которая очень хотела учиться. Ее зовут Нафисет, она дочь Устанокочных, кажется. Что скажешь о ней? Иль, может быть, ты ее не знаешь?

— Как же не знать Нафисет! — живо ответил старик. — Она внучка старого моего друга — Устанокоч Карбеча. Она, можно сказать, на моих руках выросла. Хорошая девушка. Если бы ей дали поучиться, аллахом клянусь, она не уступила бы здешним образованным женщинам. Но беда в том, что родители не пускают ее учиться.

Халяхо шумно вздохнул и прибавил:

— Е-е, Биболэт, трудно нас, темных людей, своротить с привычной борозды!

— Однако, Халяхо, ты довольно быстро свернул со старой борозды... — засмеялся Биболэт.

— А что во мне одном толку? — проговорил Халяхо. — Своротить надо всех, вот в чем дело!

Глава вторая

Получилось так, что взрослые в семье Устаноковых, как бы по уговору, распределили меж собою детей. Сам Багадир Установ, отец семьи, всю доступную ему нежность отдал единственному сынку, младшему из детей — Ахмеду, на которого возлагал надежды, как на подмогу в старости и продолжении рода. Будущность дочерей заботила его мало, и он говорил, что «дочь — это чужая скотина в базу».

Мать, Хымсад, из-за такой холодности отца к дочерям утешала их сиротам и стойко защищала. С особенной нежностью относилась она к старшей дочери — Куляц. Кто может указать сокровенные источники материнской любви? Куляц была хрупка, изящна, и можно было подумать, что сама судьба предназначила ее для нежной любви и той холеной жизни, которая всегда оставалась недостижимой для Хымсад. Лелея тайную мечту приготовить Куляц именно к такой жизни, мать сосредоточила на старшей дочери всю свою нежность. Оберегала, насколько могла, от черной домашней работы, больше заботилась о ее нарядах и тайным, полным любви взглядом провожала дочь, когда она, тонкая, гибкая, с двумя темными косами, закинутыми за спину, по-кошачьи мягко ступала по большой сакле.

Нафисет была обойдена любовью родителей. Босоногой девчонкой на побегушках росла она в тени, как сиротка. Все мелкие домашние поручения, от которых избавлялись брат и Куляц, ложились на нее. По причине такой сиротской отдаленности от родителей, дедушка Карбеч взял Нафисет под свое покровительство и окружил спокойной старческой лаской, смешанной с жалостью.

Почти сотню лет Карбеч ковырял первобытным способом землю на этом свете — его седая голова стала похожа на одуванчик. Он был очевидцем жестокого разорения адыгейцев царскими властями и с тех пор хранил в сердце ненависть ко всему, что исходило от рус-

ских. Не различая ни белых, ни красных, он всех объединял одним званием — «гяуры».

Старик не мог сжиться даже с русской печью, и сын выстроил ему отдельную саклю со сквозным широким отверстием старинного дыма. Ни домашние, ни мирские дела уже не интересовали Карбеча. Казалось, дневной свет этого мира был не мил ему — так строго он процеживал его сквозь переднюю, буйную поросль всегда нахмуренных бровей.

Карбеч питал неизбывную душевную привязанность только к воспоминаниям о прошлом житье-бытье адыгейцев и к старинным былям и сказкам. Если он не сидел у своего очага и не совершал молитвы, он без устали делал миниатюрные модели старинных адыгейских орудий труда, утвари и жилья (когда-то Карбеч был хорошим плотником). Он их любовно расставлял по глинобитным полочкам вокруг очага или дарил детям. Но не каждый ребенок мог бы поправиться Карбечу. Любил он детей крупноголовых, толстощеких, с лицом, разрисованным дорожной пылью, в грязной, задубелой на груди рубашонке. По понятиям деда, они так вот и должны расти, — как трава в поле. Где бы он ни увидел такого ребенка, он бережно приводил его домой, приговаривая: «Мое дорогое, мое славное дитя! Пока рождаются такие, как ты, счастье и изобилие еще не совсем покинут этот пропащий мир. Пойдем, мой славный, на твоём лице начертано само изобилие...»

Карбеч угощал ребенка прибереженными под подушкой, нахнувшими тряпьем и затхлостью яствами, одаривал его игрушками и отводил обратно с таким же почетом.

Была у Карбеча и другая сердечная привязанность — это его адыгейская старинная скрипка — шичепши. Он собственноручно выточил ее из сердцевины просушенного грушевого дерева. По его неотступному требованию волосы для струн ему надергали из хвоста семилетнего неезженного карего жеребца, он выварил из них весь жир в целюке и тщательно, по всем правилам старинного искусства, настроил скрипку. Никому не был известен час, когда Карбеч заиграет на своей скрипке, никто не мог и не смел просить его снять скрипку с деревянного колышка. Он сам доставал ее в тот час, когда сердце просило о ее плачущих звуках.

И тогда, — днем ли это, поздней ли ночью, при людях или без них, — преданно нагнувшись над скрипкой, долго извлекал смычком жалобные, древней простоты звуки. Сидя в одиночестве, он иной раз подпевал скрипке слабым, похожим скорее на вздох, старческим голосом, шепча невнятные слова, которые не мог бы разобрать и рядом сидящий слушатель.

Сказки и старые были, рассказываемые дедушкой Карбечем в долгие осенние и зимние вечера, сладость жалобных звуков его скрипки стали для Нафисет душевной потребностью с детства. Это и послужило, по-видимому, основой для ее привязанности к дедушке.

Свои рассказы Карбеч черпал из туманной древности, окутывая их нежной, скрадывающей реальные очертания, дымкой собственной фантазии. В сказки о золоченой колеснице царя белых джинов¹, спускающегося с двуглавой вершины Счастливой горы² в сопровождении блестящего войска на войну с черными джинами, и в старинные были дедушка Карбеч, страстно влюбленный в прошлое, вкладывал немало золотых красок воображения...

В раннем детстве все рассказы дедушки Нафисет воспринимала, как чистую правду. Затаив дыхание, она зачарованно слушала деда и потом долго носила в сердце образы и смутные представления, возбуждаемые этими фантастическими рассказами. Но, подрастая, она стала обнаруживать в рассказах дедушки много явных несообразностей и неправдоподобия. Однако, не решаясь сердить дедушку, она умалчивала о своих догадках. Больше, чем сами рассказы, она полюбила теперь состояние мечтательной задумчивости и неясных грез, которые вызывали в ней дедушкины рассказы. Впрочем, при всей их смутности и неправдоподобности, в них все же можно было разглядеть не только черты прошлого, но и прообразы современности. И Нафисет бессознательно начала переносить на окружающую ее жизнь образы и мысли из дедушкиных сказок.

Необходимость беречь свои детские радости и забавы от вторжения нечутких к ней родителей и избалованных брата и сестры сделала ее скрытной. При первой же возможности она убегала из дома, покидая даже

¹ Джинны — духи. Белые джины считались добрыми, а черные — злыми.

² Счастливая гора — Эльбрус, виднеющийся на юго-востоке адыгейской земли.

гон детские забавы, в которые вкладывала необыкновенную увлеченность и изобретательность, и усаживалась, молчаливо-серьезная, где-нибудь в уголке двора. Нечего и говорить, что сакля дедушки была ее любимым местом, прочно защищенным от посягательств домашних.

По вечерам, наносив дедушке на ночь дров, налив в кумган воды, Нафисет усаживалась, молчаливая и тихая, у высокого, узорчатого изголовья старинной дубовой кровати. Если дедушка, ничем не занятый, сидел у очага, она подсаживалась к нему и, как прирученный ягненок, клала ему голову на колени. Дедушка сначала спрашивал о том, что делается в доме (свято храня обычай, он до сих пор не виделся со своей невесткой, ставшей уже старухой), а потом начинал рыться в таинственном кисете памяти, где хранились чудесные рассказы. Или просто они просиживали молча, думая каждый о своем, пока из дома не кликнут Нафисет.

Скрипка Карбеча и старинные были привлекали к нему немало гостей. Но по причине старческой строгости Карбеча, не выносившего шумных разговоров и вольностей, молодежь не засиживалась у него. Его чаще всего посещали старики аула, сходные с ним по характеру. Но наиболее постоянным и желанным гостем Карбеча был Халяхо.

В иной день, забросив свою вечную погоню за злободневными новостями, Халяхо оставлял бушующую поверхность сего мира и, словно нырнув в воду, тихо оседал у Карбеча. Подперев набалдашником своего костыля подбородок, он терпеливо и покорно посвящал себя рассказам о старине. Образы и идеи, заключенные в этих рассказах, Халяхо так же, как и Нафисет, связывал с повседневными событиями в ауле, больше всего занимавшими его. Выслушав Карбеча, он искусно прицеплялся к нити рассказа и выкладывал самые последние новости. Незаметно Халяхо заставлял Карбеча опуститься на грешную землю, делился с ним своей любовью или неприязнью к отдельным людям в ауле, посвящал его в свои неудачи, радости.

Так Халяхо и Карбеч вели крепкую стариковскую дружбу, деля любовь и неприязнь, одобрение и осуждение, печаль и радость. Оба они недолюбливали Хаджи Бехукова...

Глава третья

В сумерках Нафисет, зябко кутаясь в шаль, пересекла заснеженный двор. Молодой, влажный снег подавливо уминался под ногами. Сквозь тонкую сыромятную подошву чувак она ощущала его ледяной холодок.

Четкий след ее ног проложил первую метку зимней тропки от большой сакли к домику бабушки.

Когда Нафисет зашла к бабушке, Карбеч с увлечением играл на скрипке. Шуба за плечами, высокая абадзехская баранья папаха низко нахлобучена, борода и брови — словно в снегу. Устремив глаза на горящие угли, он склонился над скрипкой и медленно водил смычком, прислушиваясь к заунывно-простым и отрывистым, как старческий вздох, звукам.

Он ни слова не сказал вошедшей Нафисет и даже не взглянул на нее.

Нафисет знала, что в такие минуты бабушку нельзя беспокоить. Она прошла, молча присела у изголовья кровати и привычно погрузилась в нестройный поток мыслей и мечтаний.

Но, повзрослев, Нафисет все меньше любила скрипку деда Карбеча. Ее заунывные звуки невольно навевали на девушку такую же глубокую безнадежность, как и нескончаемые жалобы матери и аульских женщин.

Между тем девичья печаль и неясные думы самой Нафисет бессознательно кружились вокруг одной главной оси, вокруг тревожной, непрерывно растущей в ее душе заботы о том, как бы ей избежать обычной, страшившей ее женской участи...

Всего год тому назад вышла замуж ее подруга Мелечхан, дочь соседей. На днях Мелечхан приехала проведать родителей после положенного года разлуки.

Нафисет помнила подружку смешливой, беспечно-жизнерадостной. Теперь Мелечхан странно и непонятно изменилась. Бледная, словно из нее выпили всю кровь, она жалко и заискивающе улыбнулась Нафисет. На лице ее уже обозначились морщины — предвестники преждевременной старости. В глазах, беспокойно убегающих от прямого взгляда, таился страх: «Не узнали бы люди, не дать бы им пищу для злорадства над моей бедой...» Нафисет попыталась вызвать ее на душевный разговор, но Мелечхан, словно потерявшая рассудок, встретила ее, как чужую, и только повторяла: «Я

очень счастлива в семье». Но что припрятывала она за этими словами? Какое же это большое несчастье ожидает девушку в чужой семье?

В воображении Нафисет встает другой образ женщины — старой Дарихан, ширококостной высокой старухи, с твердой походкой и приветливым лицом, на котором светятся добрые, грустные глаза. Старуха Дарихан и ее муж жили по соседству с Установковыми. После смерти единственного сына они остались одинокими. Старик был вспыльчив. Его бешеный нрав, казалось, раньше времени состарил его самого и высушил Дарихан.

На плечи Дарихан легло бремя бедности и невыносимого характера мужа. В ауле ходила молва о стойкости Дарихан. Ее часто встречали в степи и на улицах неторопливо и широко шагающей, с неизменным, иногда тяжелым грузом — лошадой у них никогда не было.

Одним из самых мрачных воспоминаний детства у Нафисет было воспоминание о долгой, тяжелой болезни Дарихан. Три года пролежала Дарихан у очага, осыпаясь золой, три года ее стоны заставляли содрогаться прохожих. Нестерпимо страдая, Дарихан ползала вокруг очага и царапала ногтями землю. Беспомощно смотрели на ее мучения старик и родственники: не под силу им были большие расходы, связанные с поездкой в больницу, в далекий город. Наконец не выдержал, сжалился старик, продал последнюю корову и отвез больную. Крепкая натура Дарихан преодолела болезнь...

Нафисет часто забегала к старухе. Дарихан всегда была рада ее посещению и осыпала ее неистраченной материнской лаской. Одинокая, она часто делала ее своей собеседницей, словно взрослую, и подолгу рассказывала о многострадальной своей жизни.

— О, мое золотое дитя, прошу великого аллаха сделать твою судьбу не похожей на мою!.. — часто повторяла она.

Чаще же всего Дарихан сидела у очага, охватив руками колени, уставясь глазами на горящие угли. Тихо раскачиваясь, тянула она гнусавым речитативом свои жалобы.

Нафисет находила сходство между причитаниями Дарихан и плачущими звуками дедушкиной скрипки. Казалось, и скрипка Карбеча надрывно стонала о та-

ких же искалеченных старым миром людям, выплакивала острую боль их души...

Первое робкое пробуждение сознания у Нафисет стало ее, как и некоторых героев дедушкиных сказок, на развилке жизненного пути. Ей предстояло сделать трудный выбор между старым, исхоженным дедушкой и Дарихан, путем, по которому велят ей идти, и новым, неизведанным, представленным в ее воображении пока лишь двумя фигурами — Биболэта и Доготлуко. Этот путь и манил ее, и пугал своей неизвестностью. Настороженно, внимательно присматривалась Нафисет к окружающей ее жизни и к людям. Поступки и слова старших, которые по алату стояли над ней и чей авторитет она обязана была признавать беспрекословно, она часто находила смешными и наивными.

Вот вчера группа молодых людей из состоятельных семей приходила поухаживать за Куляц. Считая себя завидными женихами, они завели обычный длинный, притворный разговор о сватовстве и до полуночи сидели пустословя. Один из них то и дело ввертывал в разговор иностранные слова, сам не понимая их смысла. Достав коробку папирос, он сказал с интригующей усмешкой:

— Вы знаете, что это такое? Это «Антик» называется!

Довольный произведенным эффектом, он похлопал ладонью по коробке.

— «Антик» так «Антик»! Поддай-ка сюда! — пошутил один из парней, протягивая руку за папиросой. Остальные тоже потянулись к коробке.

— Не-ет! — возразил хозяин коробки. — Эти папиросы не для вас сделаны: я их выписал из Америки — Парижа.

Нафисет покраснела от стыда за него. Она знала из адыгейской газеты, которую иногда давал ей Доготлуко, где Париж и где Америка. Однако не посмела поправить ошибку, ей, младшей сестре, не полагалось вступать в разговор. Стоя у изголовья кровати — на месте, положенном ей алатом, — она молчаливо осуждала невежество молодых людей.

Разговора о коробке папирос хватило на целый час.

Когда гости собрались уходить, один из молодых людей взял Куляц за руку и, продолжая комедию шуточного сватовства, сказал:

— Итак, Куляц, если ты верна своему слову и со-

спасна выйти за меня замуж, пойдём сейчас же!

— Я буду верна своему слову. Готова и сейчас идти за тобою хоть на край света, — ответила Куляц тоже в шутку.

Но когда дошли до ворот, Куляц вырвалась и убежала домой. Парни проводили ее тремя револьверными выстрелами, направленными вверх.

Нафисет про себя, не смея высказаться вслух, усматривала во всем этом наивную браваду. И на свадебных игрищах, вынужденно сохраняя положенную по адату скромную почтительность, она в душе смеялась над манерой самых серьезных мужчин бравировать умением пускать выстрелы вверх.

Доготлуко не похож на других. Он не любит ни праздного пустословия, ни притворного ухаживания. Чаще всего он заходит один, озабоченный и даже немного мрачный, перебросится с Куляц двумя-тремя ироническими фразами и уйдет, не засиживаясь. Он никогда не поддерживает единственную и нескончаемую нить разговоров с Куляц о любви, женитьбе и замужестве — разве только выскажет несколько сдких замечаний насчет молодых людей, к которым Куляц питает благосклонность. Сам он не раскрывает ни перед кем то самое важное, что затаил в себе, тем более он не удостоивает вниманием Куляц. Это злит избалованную девушку, она недовольно падувает губки и умолкает...

Нафисет уважает Доготлуко больше всех молодых людей в ауле и, еще не понимая иносказательного смысла нападок старшей сестры и не смея вмешиваться в споры, она сердцем всегда на стороне Доготлуко. И он, будто зная это, отвечает словно от имени двоих. Но Доготлуко никогда не выказывает намерений к ухаживанию за ней, не проронит, даже в намеках, обычных двусмысленностей, нет у него и того бесстыдного, раздевающего взгляда, за который она ненавидит этих парней. И никогда Доготлуко не высмеивает стремлений Нафисет — наоборот, он серьезно интересуется ее успехами в чтении, помогает, как может, разобраться в непонятных книгах, не скрывая того, что он и сам пока еще мало знает, привозит из станицы или из города тетради, книги, адыгейские газеты.

— Учись, Нафисет! — часто говорит он ей. — Не смотри на Куляц, она думает только о любви и замужестве.

Доготлуко и Биболэт во многом сходны между собою...

Едва мысль дошла до Биболэта, Нафисет вздрогнула: вся кровь мгновенно вскипела в ней и хлынула к щекам. В безотчетном страхе она по-птичьему быстро огляделась — не подсматривает ли кто тайну ее сердца.

Мысли о Биболэте постоянно бросали ее в дрожь. Она страшилась того непонятного волнения и чувства безнадежного одиночества, которые поднимались в ее сердце при воспоминании о нем.

Словно ница помощи, испытующе оглядела она саклю: засевающий в углах мрак и широкая тень дымара под потолком прыгали в странной немой пляске теней. Запах холодной сырости стоял в сакле. От этой юродивой пляски теней и ощущения стылой сырости сердце Нафисет сжалось, и она почувствовала себя совсем беспомощной и одинокой на всем свете.

И дедушка показался совсем чужим...

Она встала, собираясь уйти, но услышала шаги со стороны ворот и остановилась в ожидании. Человек, притопывая, подошел к сакле, и в дверь с трудом пролезла фигура в бурке и туго перевязанном сером башлыке. Когда пришелец, энергично отряхнувшись у порога, повернулся и подошел ближе к коптилке, Нафисет узнала Халяхо.

Глава четвертая

— Салям-алейкум! — сказал Халяхо, войдя в саклю.

Карбеч не ответил и даже головы не поднял, продолжая играть.

— Салям-алейкум! — повторил Халяхо, повышая голос.

Карбеч ниже склонился над скрипкой и неожиданно перевел игру с заунывных старинных мелодий на плясовую. Смычок бешено запрыгал по струнам.

Халяхо смотрел-смотрел и вдруг, распахнув бурку, закинул ее широкую полу за спину, сунул Нафисет сверток, который был у него в руках, и начал неуверенно притопывать ногой в такт песни, словно спрашивая друга: не этого ли хочет он от него?

Карбеч убыстрил темп адыгейской плясовой.

Халяхо с медвежьей грузностью пустился вырисовывать своими юфтевыми башмаками замысловатые узоры танца.

Карбеч все ускорял игру, и Халяхо притопывал все быстрее, роняя налипшие на бурку хлопья снега.

Совершенно неожиданно Карбеч оборвал игру. Халяхо тоже остановился. Он тяжело дышал, победоносно поглядывая на друга.

— Как хорошо ты танцуешь! — восхищенно проговорила Нафисет и подошла, чтобы снять со старика бурку.

Карбеч отбросил скрипку и с распростертыми объятиями направился к другу. Глаза его растроганно сияли.

— Аферим!¹ Мой старый Халяхо, аферим! Так принимают шутку только настоящие мужчины. — В немощном старческом объятии Карбеч прислонился к груди Халяхо. Их усы, рыжие, колючие — Халяхо и белые — Карбеча, сплелись в поцелуе.

Карбеч повел Халяхо к очагу и, только когда он уселся, приступил к расспросам.

— Из каких сторон, из каких краев?

— Издалека...

— Где был?

— Там, где даже птицы ваши не летают!

— Сауга!²

— Не осуждай за малость... — Халяхо достал из кармана массивные янтарно-желтые четки и подал Карбечу.

— Мало ли, много ли, — спасибо за память, — торжественно сказал Карбеч и, приняв подарок, тут же начал перебирать бусинки. — Какие новости в тех краях?

— Все спокойно.

— Что интересного увидел, услышал?

— Интересного немало на свете! — ответил Халяхо с той неторопливой уклончивостью, которая в подобных случаях предписывается адыгейским этикетом.

Карбеч не торопил, давая Халяхо возможность выдержать тон, приличествующий началу беседы.

— Самое интересное из всего, что я увидел, — на-

¹ Аферим — выражение высшей похвалы и одобрения поступка.

² Сауга — подарок. Выражение, с которым обращаются к возвратившемуся издалека путнику.

чал наконец Халяхо, — это то, что урусы уже не прежние урусы...

Густые брови Карбеча поднялись, открывая старческие глаза, в которых стояли недоумение и вопрос.

— Прежних урусов, которые относились к нам несправедливо, я уже не видел! — внушительно сказал Халяхо. — Аллах исполнил нашу давнюю мольбу, и они получили по заслугам.

— Но как же может урус перестать быть урусом? — недоверчиво проговорил Карбеч и, махнув рукой, добавил: — Нет, гяуры гяурами и останутся...

— Нет, — твердо возразил Халяхо, — урусы, которых я видел в Москве, совсем другие урусы. У них и человечность настоящая, и сознание великое, и мастерство искусное. Ты не веришь, потому что помнишь тот страх, который нагонял на нас пристав или станичный атаман. Еще бы не помнить! Я и сам помню, как встретил нас станичный атаман, когда мы с тобой, выбранные аулом, пришли к нему с жалобой на бесчинства казаков. Но теперь нас встречают не так... Ну, вот посмотри на меня! Я, бедный старик в заплатанной шубенке, сидел в гостях и пил чай с главой Советской власти, с Калининым!

— Должно быть, этот мир напоследок повернулся к лучшему, — нерешительно сказал Карбеч и тут же обратился к Нафисет:

— Доченька, отнеси эти четки и спрячь получше. А нам принеси чаю.

— Калинин — достойный старик, — повторил Халяхо. — Он беседовал с нами вот так же просто, как мы с тобой беседуем. Нас было несколько человек — делегатов съезда. Калинин не только несет высокую должность, но знает все, что творится на земле и даже в нашем ауле.

Когда Нафисет вернулась с анэ¹, Халяхо все еще рассказывал свои новости.

— Наша страна велика — ее и за сто лет не объедешь. На съезде я виделся и говорил со многими людьми. Есть такие края, где пахари делят не землю, а воду в реке, где по бокам улиц текут чистые ручьи и все посева поливаются такими ручьями. Я видел людей, приехавших от того народа, про который поется в наших старинных песнях: «их дом — шалаш, их напи-

¹ Анэ — переносный круглый столик на трех ножках.

ток — кымыз». Один из них был со мною в гостях у Калинина. И все они, как и я, чувствовали себя в Москве свободно, как в своем ауле. На съезде много говорили о том, как лучше помочь потерпевшим от царя пародам, как скорее поставить их на ноги.

— А Москва большой город? — спросил Карбеч, который, по-видимому, был озабочен желанием найти свое объяснение такой решительной перемене в мире.

— Полдня я шел и так и не дошел до конца Москвы, — важно сказал Халяхо. — Там есть такие дома, что даже в одном из них могут поместиться все люди нашего аула. А улицы похожи на быстрые реки: беспрерывно несутся по ним чудесные подводы-самокатки, из-за них невозможно улицу перейти...

— Сказано: «Чем много прожить, лучше много повидать!» Выпьем чаю! — предложил Карбеч и, чуть помедлив, прибавил: — Конечно, среди урусов есть добрые и злые люди, как среди джинов были белые и черные... Я бы хотел, чтобы урусы принесли адыгейцам знания, мастерство и счастье, как некогда белые джины передали нашим предкам знания ремесел, которыми славились адыгейские кузнецы, плотники и золотых дел мастера...

— А как же это было? Я не слышал об этом, — быстро спросил Халяхо.

Карбеч не ответил. Халяхо помолчал некоторое время и опять вернулся к рассказам о Москве.

— Я встретил там славного молодого адыгейца, того самого, который, помните, позапрошлой осенью гостил у Бехуковых. Он, кажется, брат младшей нысэ Бехуковых. Учится в самой большой школе.

— Адыгеец учится в Москве?! — брови Карбеча удивленно вскинулись.

— Там много наших учится, — поставив пустой стакан на стол, сказал Халяхо. — А этот парень, про которого я говорю, водил меня по городу, показывал и разъяснял. Моя красавица, — обратился он к Нафисет, — в том свертке, что я передал тебе, — книги. От адыгейцев, учащихся в Москве, от адыгейского землячества, как они называют. Они очень рады, что ты тоже учишься...

— Спасибо им! Они, должно быть, достойные ребята! — сказал Карбеч тихо и как-то особенно торжественно.

Нафисет, наливая чай в стакан Хаяхо, наклонила голову, чтобы скрыть краску зардевшихся щек. Подан Хаяхо стакан, она схватила лежавший на кровати сверток.

— Книги... как хорошо! — воскликнула она в искреннем восторге и отошла, прижимая к груди сверток. Она чутко ловила каждое слово, надеясь услышать о «нем» еще что-нибудь. Но Хаяхо приумолк, и разговором овладел Карбеч.

— Был в одном ауле медресе¹, — тем особенным, медленно-торжественным тоном, которым он рассказывал старые легенды, начал Карбеч. — Медресе принадлежала старшему мулле, славившемуся своей высокой мудростью. Много к нему прибывало сохт из далеких местностей. Но с некоторых пор повелось так, что сохт, оставшихся в медресе на ночь, стали находить наутро мертвыми. Много сохт погибло таким образом, и люди стали избегать медресе, и не находилось уже сохт, которые хотели бы перенять у мурлы его высокую ученость.

Так прошло много времени.

В одну из пятниц появился на общеаульской молитве не известный никому юноша и объявил, что он желает учиться у знаменитого мурлы и для этого хочет поселиться в заброшенной медресе. Сам мурла и старики аула, которым этот юноша понравился, уговаривали его не губить свою прекрасную молодость, но юноша не внял их уговорам и в ту же ночь поселился в старой медресе.

И вот сидит юноша в медресе, сидит один и усердно читает священную книгу. Когда время перевалило за полночь, вошла в медресе девушка в шуршащих шелках, вся усыпанная драгоценными камнями и золотом. Юноша учтиво приподнялся навстречу, пригласил ее сесть и опять уткнулся в свою книгу.

Девушка поблагодарила, но осталась стоять. Юноша не смотрел на нее, хотя она была самой прекрасной из всех существ, имеющих глаза и брови. Лишь по шуршанию шелка и блеску камней, который усиливался при малейшем движении девушки, юноша догадывался, что она еще здесь.

Так подошло время рассвета.

¹ Медресе — частная духовная школа.

Когда заря заглянула в медресе, девушка открыла уста.

«Может быть, я помешаю твоему чтению, — сказала она. — Но я никогда не видела такого странного и гордого человека, как ты».

«Гордости у меня никакой нет! — ответил юноша. — Я исполнил все то, что требуется приличием. Я пригласил тебя сесть... А если у тебя имеется какое-нибудь дело, относящееся ко мне, то я жду твоего слова».

«Хорошо! Я скажу! — проговорила девушка. — Я решила связать свою жизнь с одним из вашего человеческого рода. С этим намерением я уже несколько лет посещаю эту медресе. Но люди, которых я встречала здесь, не похожи на тебя. Видя мою женскую незащищенность, они пытались обобрать меня или же лишить меня чести. Но у меня есть защита, и эти глупые люди погибли из-за своей подлости. К счастью, ты не таков, и я готова разделить с тобою жизнь и смерть. Скажи свое слово: согласен или не согласен?»

Юноша задумался.

«Что тебя заставляет сомневаться? — спросила она. — Твое согласие или несогласие не повлечет за собою беды».

«Заставляет меня колебаться не мое несогласие, а то, что у меня, кроме того, что ты видишь на мне, ничего больше нет».

«Это не причина! — сказала девушка. — Знай, что я принесу тебе не пужду, а благо. Если согласен, дай свою руку и поклянись, что будешь верным спутником в жизни».

Юноша подал руку, и они поклялись в верности друг другу.

«Теперь рассветает, — сказала девушка. — Мне больше оставаться здесь. Завтра ночью, после вечерней молитвы, оставь с собою муллу и двух свидетелей, чтобы написать наш наких¹. До этого ты не должен ничего говорить людям обо мне».

Сказав это, девушка исчезла.

Наутро весь аул был удивлен и обрадовался тому, что юноша остался жив. Но на расспросы он отвечал молчанием.

Вечером, как было условлено, мулла по его просьбе составил наких.

¹ Наких — брачный акт по шарнату.

Повообрачные счастливо стали жить в этом ауле. Молодая женщина удивляла всех своей красотой и щедростью, с которой одаривала золотом и серебром всех, проходящих смотреть на нее.

Так молодые прожили два года, и у них появился славный мальчик. Не было ни в чем у них несогласия. Не знали они и нужды: все, что хотелось иметь мужу, жена доставала неизвестно откуда.

Однажды муж вернулся усталый и лег отдохнуть. Жена, варившая пшеничную кашу, посадила ребенка около мужа. Ребенок, играя, вскарабкался на грудь отца. Отец ни с того, ни с сего ударил ребенка по голой ляжке. Ребенок заплакал. Жена ничего не сказала. Только когда все поели, она спросила, почему он ударил невинного ребенка.

«Ничего особенного у меня на сердце нет...» — попытался отговориться муж. Но когда она стала неотступно требовать полного объяснения, он признался:

«Меня давно мучит мысль о том, кто ты такая и человеческого ли ты рода? Может быть, в один из дней ты удушишь меня сонного и скроешься».

«Коль так, то это поправимо», — сказала жена.

Было послеобеденное время. Жена взяла ребенка на руки и ушла куда-то. Вернулась после захода солнца и сказала мужу:

«Знаешь ты курган, который возвышается у въезда в аул? Пойди завтра до восхода солнца и сядь на этот курган. Сиди до захода солнца, а потом расскажешь мне, что увидишь».

Муж так и сделал. Пошел и сел на курган и сидел до захода солнца. На вечерней заре увидел он огромное войско, проходящее с востока на запад в блеске невиданной красоты и формы доспехов. В самом хвосте войска двигалась серебряная колесница, сбруя и шерсть на лошадях блестели золотом, а на колеснице восседал седобородый внушительный старик, весь в золоте. Пятьдесят всадников сопровождали этого старика.

«Ну, видел?» — спросила жена, когда муж вернулся домой.

«Видел, но более чудесного ни один из людей не видел!» — ответил муж и рассказал все, что ему открылось с высоты кургана.

«Знай, что старик на серебряной колеснице — падишах белых джинов и мой отец. Сегодня он вел свое вой-

ско на войну с черными джинами. То, что я выбрала в мужа человека из адыгейского рода, зависит не от моего безродства, а от желания моего сердца. Теперь ты знаешь, кто я такая».

«Как бы хорошо было увидеть твой народ и узнать его образ жизни!» — сказал восхищенный муж.

«Это возможно!» — сказала женщина и стала собираться в дорогу. Взяв своего ребенка, они пошли. Как только они немного отошли от аула, муж спросил:

«Далеко еще?»

«Оглянись назад!» — ответила жена.

Муж оглянулся и увидел только крыши домов своего аула.

«Теперь посмотри вперед».

Крик удивления вырвался у мужа: перед ним, на дне красивой долины, которой раньше не было в этой местности, рассыпался огромный аул.

«Этого не было здесь!» — сказал муж.

«Было или не было, но это мой родной аул, — отозвалась жена. — Нас встретят здесь торжественно и радушно. Когда мы пойдем обратно, родители предложат тебе в подарок всякие блага. Но ты ничего из ценностей у них не бери. Богатства без знания и мастерства бесполезны. Поэтому ты скажи им так: «Больше всего мне понравились ваши постройки и искусство ваших мастеров. Если хотите непременно одарить меня чем-нибудь, то подарите одного плотника, одного кузнеца и еще золотых дел мастера, чтобы они научили наших людей своему мастерству».

Все произошло так, как сказала жена.

У белых джинов не было адыгейского обычая, в согласии с которым муж должен стыдиться родителей жены и не показываться им. Здесь они все вместе тепло и радостно проводили время в пиршествах и развлечениях. Когда собрались уходить и родители жены стали настойчиво просить принять подарки, он им ответил, как его научила жена. Падишах джинов задумался.

«Ты выразил как раз ту единственную просьбу, которую я не в силах удовлетворить, — сказал он. — Но я посоветуюсь со стариками, они, может быть, придумают способ, который даст возможность удовлетворить твоё желание».

Падишах джинов созвал совет старейшин. Долго

думали, и наконец старший из старейшин доложил падишаху и его зятю свое мнение:

«Непристойно будет царю джинов не удовлетворить первую просьбу мужа единственной дочери. А удовлетворить ее можно так: пусть зять падишаха приготовит тайное подземное убежище. Пусть выберет из своего народа трех надежных людей и, взяв с них клятву, что они никому не откроют тайну, посадит их в это убежище. Тогда придут наши мастера, научат этих троих и вернутся к нам обратно».

— Так и сделали. С этого и повелось адыгейское искусство и мастерство! — убежденно закончил Карбеч.

— Валлахи, умная у него была жена! — задумчиво произнес Халяхо. — Но меня встретили и угощали в Москве не белые джины, а настоящие люди!

Глава пятая

Весна в этом году наступила рано. В маленьком садике Карбеча, расположенном под окнами его сакли, зацвело абрикосовое дерево — «дерево Нафисет». Оно называлось так потому, что Карбеч посадил это дерево, когда еще Нафисет была девочкой.

— Вот твое дерево, доченька! Пусть расцветет оно, как твое счастье! — сказал он после посадки дерева.

С той поры весна приобрела в глазах Нафисет особое значение, и она каждую весну с радостным волнением ожидала то время, когда «ее» дерево покрывалось оранжево-лиловым пламенем цветения...

Теперь как раз настало радостное время цветения, и Нафисет проводила в дедушкином саду целые дни. Все зазеленело в саду, все пошло в рост, и даже нелюбимое, старое алычовое дерево, под которым Карбеч любил коротать жаркие летние дни, — даже оно украсилось бледноватыми, нежно пахнущими цветами.

Весна набирала силу с каждым днем, с каждым часом. Воробьи воинственно скакали на навозных кучах. У старой Хымсад прибавилось немало забот. Чего стоили, например, одни индюшата со своим бесконечно жадным писком!

Однажды утром Хымсад выглянула из-за двери большой сакли, обозрела двор и, убедившись, что Карбеча (с которым ей нельзя было встречаться) поблизости нет, вышла к своим птенцам. Индюшата наслись у ко-

пошши, старая индюшка стояла в сторонке и, скосив глаза, тревожно поглядывала в небо.

Хымсад, приставив ладонь козырьком, тоже глянула на небо. В лазурной вышине тихо плыло белоснежное облако и под ним, распластав крылья, плавно парил коршун.

— У, старый гяур! — пробурчала Хымсад и торопливо пошла к индюшатам, которые с радостным писком устремились ей навстречу. Индюшка последовала за ними, но, дойдя до промежутка между домиком Карбеча и конюшней, остановилась и, трусливо, боком отступая, зачастила: кырт, кырт, кырт!

В этот момент послышался треск сухих хворостин и какое-то пыхтенье. Хымсад из-за угла осторожно взглянула туда и замерла: у плетня на воткнутом в землю костыле Карбеча чернела его папаха, а сам Карбеч, ухватившись за верхушки кольев плетня, беспомощно подпрыгивал на месте. Жиденький одуванчик седых волос развеялся над его медно лоснящейся лысиной. Похоже было на то, что старик хотел перелезть через плетень, но высохшие руки и ноги отказывались ему служить.

— Бедный, бедный старик! — прошептала Хымсад и, забыв про своих птенцов, зашагала к большой сакле. Став за полунприкрытую дверь, она проводила грустными глазами сутулую фигуру Карбеча, который решил, видно, отказаться от безнадежных попыток и, взяв костыль и папаху, направился к своему домику.

Уже дойдя до порога, он обернулся и крикнул надтреснутым фальцетом:

— Доченька!

— Что, тат? — послышался из глубины сада хриловатый, как у сойки, грудной голос Нафисет.

— Налей-ка мне, доченька, воды в кумган.

— Сейчас, тат!

Карбеч потоптался на месте и, опираясь на костыль, вошел в саклю. Через минуту он выставил за порог медный кумган с горделиво надутым брюшком. Нафисет вышла из сада и взяла кумган.

Войдя в большую саклю, она изумилась той особенной торжественности, с которой мать, молитвенно сложив руки у пояса, тихо ходила по сакле. Такой она становилась, когда в доме бывал тяжелобольной.

— Ты не можешь доглядеть и за кумганом стари-

ка! — озабоченным шепотом укорила она дочь.

— Что случилось, мама... — недоумевающе начала Нафисет, но мать раздраженно и резко оборвала ее.

— Что случилось! Стар стал старик, совсем одинок, а мы плохо доглядываем за ним. Ты не можешь даже вовремя налить воды в кумган!

Нафисет промолчала, взяла ведро и вышла. Мать заметила, как вспыхнула обида в затуманившихся глазах дочери, и пожалела, что так резка была с ней. Она чувствовала, что этой постоянной резкостью отталкивает от себя дочь, но не могла переступить через суровые веления адата, не могла решиться на откровенное и сердечное объяснение с Нафисет.

Понятнее и ближе для нее была старшая дочь. По одному взгляду, по одному движению Куляц Хымсад без малейшего труда догадывалась о самых затаенных порывах ее девичьего сердца, и ей, старой матери, вполне был ясен жизненный путь, предназначенный Куляц в будущем, исхоженный и обычный путь адыгейки.

Но мир младшей дочери был недоступен пониманию Хымсад. Все страшило ее в Нафисет: и дружба дочери с Доготлуко, и близкое знакомство ее с русской учительницей аульской школы, и даже книжки, с которыми не расставалась Нафисет. Тревога за дочь крепко свила себе гнездо в ее сердце. Она видела, как изменилась Нафисет. Реже раздавался в доме ее хриловатый смех, реже она вступала в словесный бой с Куляц и братом Ахмедкой, все чаще уходила в непонятное раздумье, от которого бледнело ее лицо.

Мать смутно догадывалась о причине этой перемены. Она заметила тогда, во время дорожной встречи с Биболэтом, смятение дочери, и от ее глаз не укрылся тот яркий румянец, который вспыхнул на щеках дочери, когда та в вечер прихода Биболэта попросила ее лучше принять гостя.

Она знала также, что молодые люди стали обращать серьезное внимание на Нафисет, знала и о затаенных намерениях Измаила.

Мать предпочитала Измаила Биболэту. Биболэт пугал ее неизведанной повизной пути, на который он встал, и в душе она радовалась, что этот соблазн далек и недостижим для ее дочери.

Теперь жалость к старческой немощности Карбеча перемешалась в душе Хымсад с заботой о дочери, и

она подошла к двери и посмотрела вслед Нафисет. Сейчас ей особенно бросилась в глаза странная непохожесть Нафисет на других девушек. Волосы, собранные в подушечку, облегали затылок дочери не по-русски — калачиком, и не по-адыгейски — змеино-витыми жгутами, а каким-то овечьим курдюком. Таковую прическу Хымсад видела только у этой учительницы. И походка Нафисет не правилась матери. Нафисет шагала широко, почти не сопровождая шаг движениями рук. В ней не заметно было томной медлительности и женственно-стыдливых манер, которые так ценила мать в своей старшей дочери.

Вот Нафисет подошла к ведру и принялась наливать в кумган воду. Наклонившись над кумганом, она сохранила гордую прямогу стана — не согнулась, а как бы переломилась в талии.

«И в кого это она уродилась?» — вздохнула Хымсад и отошла от двери.

Карбеч, приготовившийся к омовению, принял кумган у порога и спросил:

— Вынеси мне скамейку, доченька!

Нафисет вернулась со скамейкой и полотенцем. Старик шевельнул бровями и спросил:

— Что ты делаешь в саду, доченька?

— Ландыши сажаю.

— Как ты сказала? — Карбеч приставил к уху ладонь.

— Ландыши...

— Какие это ландыши?

— Цветы такие, с беленькими колокольчиками. Мне их учительница показала в лесу, — пояснила Нафисет.

Карбеч посмотрел на нее как-то особенно внимательно, подошел, погладил ее по голове и торжественно произнес:

— Аллах да сделает, доченька, твою жизнь долгой и счастливой...

Нафисет заметила в глазах деда глубокую грусть. Но она не могла понять причину этой грусти и особой торжественности его слов, произнесенных им так, точно он благословлял ее в дальний и опасный путь.

Старик сел, безжизненно свесив руки в густом переплетении мутно-синих вен. Поставив кумган у ног, он поглядел на его кичливо откинувшееся горлышко и сказал тихо, словно обращаясь к кумгану:

— А мы жизнь прожили и не замечали цветов и, как скотина, топтали их ногами... Живи, доченька, украшай свою жизнь цветами и человечностью...

В этот момент скрипнули плетневые ворота, и во двор вошел Доготлуко. Прямой, подтянутый, сохранивший военную выправку, он нес под мышкой сверток кумача. Тень его фигуры, тонко перетянутой в талии, широкой в плечах, гигантским муравьем бежала сбоку.

— Добрый день, Карбеч! — с застенчивой учтивостью сказал он и обменялся с Нафисет улыбкой.

— Аллах да продлит твою жизнь, сын мой! — ответил Карбеч и прибавил, глядя на сверток: — Горящую, как огонь, материю купил ты!

— Это для первомайского праздника, — объяснил Доготлуко. — Я хочу попросить Нафисет написать на этой материи несколько слов по-адыгейски.

— Написать? Да разве я смогу!.. — с неподдельным ужасом воскликнула Нафисет.

Карбеч шевельнул бровями:

— Что за первомайский праздник?

— Это праздник трудящихся всего света, — объяснил Доготлуко. — В этот день они дают знать буржуям, что все трудящиеся — братья и что они сообща будут бороться против буржуев.

— Нашего бедного адыгейского крестьянина они, наверное, не примут в содружество... — грустно, как бы про себя, промолвил Карбеч.

— Для трудящихся нет разницы между адыгейцем, русским, французом и другими народами!

— Если так, то это хорошо! — вздохнул старик и, чуть помедлив, прибавил: — Когда крестьяне боролись сообща, они побеждали. Во время Пши-уорк-зао¹ бжедугские крестьяне прогнали своих кичливых князей.

— Но как я буду писать? — вмешалась в разговор встревоженная не на шутку Нафисет.

— Красками! — Доготлуко обернулся к старику: — Карбеч, у тебя, наверное, найдется белая краска?

— Где-то у меня было немного белой краски. Я пишу.

— Но как же я буду писать? — не унималась Нафисет. — Я никогда не писала на материи...

— Сделаешь, сделаешь, доченька! — успокоил ее старик. — Это только сначала кажется трудным. Как

¹ Война с князьями и дворянами.

собирается: «В непочатом деле змей сидит». Когда же будет праздник?

— Послезавтра! — ответил Доготлуко.

— Ой, один день только остался! — все более отчаянно вскрикнула Нафисет.

— Да, осталось немного. Ну, ничего, постарайся — сделаешь! — сказал Карбеч. — И, увидев мелькнувшую в дверях фигуру Хымсад, к которой Карбеч всегда питал некоторую неприязнь из-за ее жестокости к Нафисет, прибавил: — Ты здесь, в моей комнате пишешь, а то там тебе не дадут...

Поздно вечером, когда в большой сакле погас свет, в домике Карбеча началась работа. Над разостланной на полу кроваво-красной полоской материи согнулись две фигуры. Карбеч, как ночной сыч, отбрасывая мохнатую тень, сидел на скамеечке. Нафисет же, на коленях, низко согнувшись над красным полотнищем, немело выводила податливо-мягкой кисточкой неровные витки адыгейских букв.

— Не так, не так, доченька! — закричал старик, приглядевшись к ее работе.

— Ты не сердись, дедушка, я ведь в первый раз пишу, — робко взмолилась Нафисет и, приподнявшись, растерянно посмотрела на кривую линию букв.

— Я не сержусь... Но нельзя же так неровно делать! — сбавив тон, но все еще ворчливо проговорил Карбеч.

— Как же сделать, чтобы строчки ровные получались?

— Подожди, доченька! Здесь надо применить наше плотницкое искусство! — Карбеч с усилием поднялся, достал из ящичка, стоящего под кроватью, огрызок карандаша и плотницкую линейку и подал их Нафисет.

— Надо сначала по линейке обвести буквы, а потом красками. Вот как делают!..

В это время в большой сакле Хымсад таинственным шепотком поведала мужу о том странном занятии, за которым она сегодня застала Карбеча.

— Е-е-е, — сказал на это Багадир, — я его за этим занятием каждую весну вижу. Он у нас бедовый старик — не хочет старости сдаваться, вот и пытается силу. В прошлом году он довольно ловко подтянулся на кольях, а теперь, стало быть, оплошал. Ну ничего, он еще, может быть, поправится.

Глава шестая

В закатных сумерках Карбеч одиноко сидел у порога своего домика.

День угасал. Разбросанные клочья туч, словно подожженные куски кизяка, неподвижно догорали в небе.

Это был обычный час не то старческой грусти, не то просто задумчивости Карбеча. Но печальное его уединение было нарушено неожиданным вторжением человека, который вошел во двор.

В надежде, что аллах прислал приятного собеседника, Карбеч напряг зрение, но сквозь тусклую пелену, застилавшую его старческий взор, различил лишь смутный силуэт. Только по знакомой семяющей походке да еще по особой манере вскидывать костыль он узнал Халяхо.

— Салям-алейкум! — сказал Халяхо, подходя.

— Алейкум-салям! Пожалуй, пожалуй, мой старый Халяхо! — поднимаясь навстречу, отозвался Карбеч.

— Что это ты так одиноко и грустно сидишь? — спросил Халяхо, подойдя ближе.

— Что же поделаешь, старость всегда одинока... — Карбеч вздохнул и пододвинул к Халяхо скамеечку, на которой до этого сидел сам. Затем обернулся к большой сакле и крикнул:

— Доченька!

— Не беспокойся, Карбеч, садись на свое место, я не сяду. Я к тебе по делу, ненадолго зашел, — заявил Халяхо.

— Что же такое случилось, что даже нельзя присесть? Садись! — с дружеским укором настаивал Карбеч. — Сказано ведь: «Если уж пожаловал — присядь и мимо готовой соли-каши не проходи, не отведав ее».

— Нет, некогда сейчас садиться. Садись ты на свое место, — решительно повторил Халяхо и подпер себя костылем, заняв положение, которое указывало на его непреклонность.

Из большой сакли на зов бабушки показалась Нафисет. Голова ее была повязана красной косынкой. Это был кусок кумача, оставшегося от матери, на которой она написала лозунг для завтрашнего первомайского праздника. Доготлуко, забрав готовый лозунг, подарил ей этот остаток и полушутя сказал:

Ты в этой косынке приходи завтра на первомайский джегу...

Нафисет с восторгом приняла этот подарок. Матери и старшей сестре не понравилась косынка, но сама Нафисет, глядясь в зеркало, нашла себя в красной косынке до неузнаваемости похорошевшей. Как ни странно, но и дедушка Карбеч сказал ей об этом. Он долго и внимательно разглядывал ее, шевеля мохнатыми бровями. Нафисет со страхом ожидала его оценки. С мнением матери и сестры она научилась не соглашаться, но решение своенравного старика было для нее законом, и его оценка могла лишить ее удовольствия носить красную косынку. Наконец, Карбеч изрек свое суждение:

— Хорошо, доченька! — И добавил, намекая на Кудвиц, которую не любил: — Ты в этом платке не похожа на несчастных пестро разряженных кривляк.

Халяхо тоже загляделся на Нафисет и с искренним одобрением высказал неосознанное, но еще в Москве запавшее в душу представление о новой красоте:

— Моя красавица, тебе идет эта красная *косынка!

— Красный цвет — это счастливый цвет... — задумчиво сказал Карбеч. — В свое время князья и уорки пытались лишить крестьян права носить красные чуваки. Эти грабители, как хищные звери, боялись красного цвета. — И, обратившись к Нафисет, ласково добавил:

— Доченька, вынеси из дома скамейку для Халяхо. И зажги лампу.

— Нет, нет, не надо, Нафисет! Я сейчас уйду. Я только на минутку забежал! — Халяхо сделал движение, словно собираясь и на самом деле сейчас же уйти. Затем выставил вперед костыль и серьезно, почти официально добавил:

— Карбеч, ты должен прийти завтра на первомайский аульский сход.

— Халяхо, посиди у нас хоть немного, ты так давно не посещал нас! — с упреком и лаской попросила Нафисет Халяхо.

— Потом, потом, моя красавица! Потом приду, посижу и расскажу много интересного. А сейчас некогда.

— Что же мне делать на сходе? Уж сколько лет я не хожу на собрания... — начал было Карбеч, но тут же умолк и прислушался к топоту коня, вялой рысцой проскакавшего мимо.

Конский топот заглух у перекрестка. Затем послышалось хриплое откашливание и дикий пронзительный крик глашатая.

— У-у-уй, благословенный аллахом аул! Завтра, в праздник Первого мая, у аулсовета соберется всеаульское собрание. У-у-уй! На собрание приглашаются стар и мал, мужчины и женщины. У-у-уй, собрание начнется в пору большого кушлука¹. У-у-уй! После собрания будут джегу² и скачки.

Глашатай еще раз хрипло откашлялся и умолк. Спустя мгновение его конь дальше понес глуховатый топот копыт.

Глашатай аула жил неподалеку от Устанокowych и свой объезд начинал именно с этого перекрестка. Он давно исполнял обязанности глашатая, и люди аула привыкли к нему, равно как и к топоту его старой клячи и к его хриплому кашлю. Но все же вступительное его завывание всегда пугало людей своей зловещей пронзительностью.

На этот раз глашатай не сообщил ничего нового. Весь аул давно уже знал о предстоящем большом празднестве. Знали также и то, что в этот день будет джегу, дочки и маманши давно строили планы и догадки о том, кто из первых красавиц аула удостоится чести стать пленницей джегуако³. Матери из родовитых семей, домогаясь этой чести для своих дочерей, не полагались только на их достоинства. Они усердно угощали джегуако и обильными подарками старались приумножить шансы своих дочерей.

Более двух недель готовились к этому празднеству и те, которые собирались показать своих лошадей на скачках. Предметом горячих обсуждений и раздоров в кунацких аула был спор между Мхаметом и Измаилом.

Этот спор возник у крыльца кооперативной лавки, и начался он довольно спокойным обменом мнений о том, чей конь победит на скачках. Большинство склонялось к тому, что против нового коня Измаила, хотя его никто еще не видел на бегах, ни один из аульских коней не устоит.

Мхамет неожиданно для всех заявил:

¹ Большой кушлук — время дня, когда начинает пригревать солнце.

² Д ж е г у — веселье, общие танцы.

³ Д ж е г у а к о — распорядитель джегу, конферансье и импровизатор.

— Удивляюсь я вам: разговариваете точно дети, не видевшие никогда хороших коней! Если конь хорошо откормлен, высоко задирает голову и резво гарцует — это недостаточные признаки хорошего коня. Не так смотрит человек, сколько-нибудь разбирающийся в лошадях.

Измаил, вышедший в этот момент из лавки, услышал слова Мхамета и сказал вызывающе:

— Что же это вы причиняете боль сердцу Мхамета! Успокойте его, сказав: «Нет на свете коня лучше его чалого!»

Мхамет резко обернулся и, потемнев от обиды, громко заявил:

— Я ничего не понимаю в лошадях, если мой чалый не оставит позади твоего холеного коня!

— Давай побьемся об заклад! — злорадно наступал Измаил. — Не пойдешь на попятный? Испытаем своих коней на скачках?

— Нет, нисколько не отступаю! — твердо сказал Мхамет. — Испытаем.

С этого дня аул разделился на два лагеря. Друзья Мхамета уговорили его поставить чалого на отдых и сами, на своих лошадях, вспахали ему яровой клин. В противоположном лагере объединились сторонники Хаджи Бехукова.

Но одно обстоятельство, связанное с подготовкой к скачкам, осталось неизвестным аулу. Дело в том, что на другой день после заключения пари к Мхамету пришел Исхак, старичок из фокотлей, известный всему аулу своей рассудительностью и красноречием. Так же, как и Халяхо, он был одним из тех стариков, которые оспаривали у компании Хаджи Бехукова авторитет в общественных делах. Исхак пользовался большим уважением у аульчан. Его мнение, прямолинейное и неподкупное, имело у них большую силу.

Больше всего Исхак славился как знаток лошадей. О его способности распознавать с первого взгляда достоинства и недостатки лошади рассказывались легенды. Не было еще случая, чтобы лошадь, подготовленная Исхаком, не выигрывала в бегах. Сам Исхак в строжайшей тайне хранил свое искусство и не для всякого брался готовить коня к скачкам, потому что был очень разборчив по отношению к людям.

Увидев вошедшего во двор Исхака, Мхамет удивил-

ся, кинулся навстречу гостю и пригласил его войти в дом.

— Нет, спасибо! — сказал Исхак. — Я зашел посмотреть коня, которого ты собираешься пустить на скачках. Конь дома?

— Да, в конюшне... — ответил Мхамет, все еще не веря необыкновенной удаче, какой был для него приход старика.

— Покажи мне коня, — по-стариковски повелительно произнес Исхак и тут же направился к конюшне.

По дороге он не упустил случая побранить Мхамета.

— Ты, парень, когда говоришь слово, должен твердо знать, можешь ли ты сдержать обещание! — назидательно сказал он Мхамету. — Узнать хорошего в бегах коня не так-то легко, тут требуется особый подход. Я всегда был о тебе хорошего мнения и, услышав о вашем споре, подумал: «Не такой он, чтобы слова на ветер бросать». Но я не видел у тебя такого коня, за которого можно было бы держать спор.

Войдя в конюшню, Исхак замолчал и внимательно осмотрел чалого.

— Конь как будто годится для дальнего бега, — пробормотал он как бы про себя. — Подведи-ка его к свету, сын мой.

— Может быть, вывести во двор? — предложил Мхамет.

— Нет, во двор не надо...

Исхак долго возился с чалым. Бормоча что-то про себя, он осмотрел его зубы, ощупывал грудь, шею, мямлил бока, заглядывал под пах, зажимал ноздри коня и проверял, сколько времени он спокойно простоят без дыхания. Отходил, пристально всматривался издали, еще раз подходил и неуловимо быстрым движением растопыренных пальцев делал какие-то измерения шеи, головы, спины.

Все это время Мхамет стоял молча и любовался тем вдохновением, с которым старик осматривал коня. Исхак весь преобразился. Величавая стариковская невозмутимость слетела с него, он оживился, и глаза его засветились молодым огнем. С ловкостью и силой, которым мог бы позавидовать молодой человек, он ворочал коня, как хотел, — поднимал ноги, брал за хвост и, проверяя устойчивость коня, легко сдвигал огромную

тану с места. Мхамет был свидетелем подлинного вдохновения в любимом труде, вечно юном и всегда обаятельным. И он не решился нарушить ни одним замечанием торжественности этих минут.

Наконец Исхак окончил осмотр. Глубоко вздохнув, он выпрямился и вновь обрел свое величавое спокойствие.

— Да, чалый обладает силой бега, — важно объявил он. — Я полагал, что ты сгоряча вступил в спор, но, оказывается, ты разбираешься в конях. Чалого стоит пустить на бега, но показать свои достоинства он сможет только на дальнем заезде. Ноги и грудь хороши, но конь сильно измотан работой. До скачек остался небольшой срок и подготовить его по-настоящему нельзя. С твоим конем можно выиграть только в забеге на большое расстояние.

Исхак еще раз обернулся к чалому и, соображая что-то, добавил:

— Вот что. Коня своего ты будешь готовить так, как я укажу. Условие такое: ты ни одним словом не обмолвишься и никому не скажешь о моих приемах.

Исхак ушел, так и не согласившись зайти в дом. Перед уходом он внушительно предупредил Мхамета:

— Будь бдителен, сын мой! Стереги коня и днем и ночью, не допускай в конюшню врагов под видом любопытных. Ты и не знаешь, на какую подлость способны люди с нечистой совестью. Особенно остерегайся Бехукова... А конь Измаила... — Старик задумался. — Ну, мы это увидим!.. — загадочно добавил он и удалился.

Мхамет настолько был изумлен неожиданным участием Исхака, что даже позабыл поблагодарить старика. Проводив его, он долго в растерянной задумчивости стоял у ворот.

Кроме этого обстоятельства, то есть тайного участия Исхака в споре между Мхаметом и Измаилом, — все, о чем оповещал глашатай, было уже известно аулу.

Но неслыханно новое в том, что сказал глашатай, заключалось в приглашении на аульский сход женщин. Впервые аул услышал из уст глашатая упоминание о женщинах. Слова эти, как камни, брошенные в устоявшуюся гладь пруда, упали в аул и первый круг недоумения и возмущения подняли в душе Карбеча.

— Зачем же это женщин зовут на аульский сход?! —

сказал он и изобличающе посмотрел на Халяхо, словно считал его виновником этой неслыханной затеи.

— Это, наверное, о девушках идет речь, о девушках, которых приглашают завтра на джегу, — попытался вывернуться Халяхо, а сам с неудовольствием подумал: «Это Доготлуко виноват, что глашатай крикнул именно такие слова. Я же говорил ему, что нельзя так, сразу...»

Глава седьмая

Когда весеннее солнце поднялось на высоту двух верб, аул был уже в сборе. Опоздавшие, торопливо охорашиваясь на ходу, спешили к аулсовету. Двор аулсовета гудел, как встревоженный улей. Шум трещоток, гул аплодисментов, замысловатая трель гармошки доносились оттуда. Молодежь, не дожидаясь торжественного собрания, открыла уже джегу, и парни кружились на носках, встопорщивая подолы черкесок.

В углу, между боковой стеной аулсовета и изгородью, как пугливое стадо туров, сгрудилась небольшая группа женщин. Присутствие их стоило Доготлуко и комсомольцам немалых трудов.

Скрестив руки, будто в знак вечной своей покорности судьбе, они робко поглядывали на счастливую, беспечную, танцующую молодежь и с грустным укором прислушивались к песням: сколько девичьих грез, навеянных музыкой этих песен, оказались призрачными, сколько тайных порывов сердца, взлелеянных под эти звуки, похоронено, сколько чаяний и надежд оказались обманутыми...

В группе женщин стояла Дарихан — прямая, угловато-высокая, суровая, как старый опытный вожак стада. Но настоящим вожаком была, конечно, Амдехан.

После памятного суда стариков она в отчаянии обратилась за помощью в советский суд. Заявлению, составленному Биболэтом, был дан ход. Суд не только признал ее право на развод, но и присудил ей долю имущества. Старикам было вынесено общественное порицание. Но они все же не уgomонились: кое-кто даже грозил ей, что «в ауле не потерпят такую бессовестную женщину и придушат ее, как собаку!» Амдехан пригрозила им судом. Но в каждом шорохе темной ночи ей стала мерещиться злодейская месть. В смертельном

страхе она вечером покидала углый домик старой матери и ночевала в чужих домах.

Поддержку нашла она в комсомольской ячейке и постепенно сдружилась с комсомольцами. Под влиянием Доготлуко она стала первой активисткой аула. Ей хотелось поскорее перевернуть этот проклятый старый мир, в котором так тяжело жилось женщине. И она начала борьбу с тем злом, от которого столько страдала сама. Изведанной дорожкой она носила в советский суд жалобы, но ставшие ей близкими жалобы. Все чаще наседали она на толстокожего председателя, все чаще прибегала за содействием к Доготлуко. Амдехан стала грозой мужей и защитой женщин. Сейчас она стояла в толпе женщин, принаряженная, в красной косынке, и метала сердитые взгляды в сторону стариков, которые сидели разбросанными кучками на площади перед аулсоветом.

По левую сторону аулсовета вдоль ограды тянулся разномастный ряд оседланных лошадей. Около конюшни толпились мужчины. В центре их возвышалась гигантская фигура Шумафа, который держал под уздцы своего кургузенького Муштaka.

— Этот Муштак, — басил Шумаф, — замечательный конь! Не смотрите, что он такой невзрачный. Он у меня — как Куйжий: если не доблестью, то хитростью возьмет. Ставлю свою шапку против кого угодно за своего Муштaka!

— На что твоя шапка годна! Разве только на гнездо для выводка цыплят!.. — съязвил подошедший Исмаил.

Взрыв дружного хохота заставил лошадей у конюшни вскинуть головы. Муштак сердито пригнул уши и попятился задом, драчливо помахивая хвостом.

— Ну его с твоим Муштаком, убьет!.. — отскочил парень, стоявший возле лошади.

Круг опасливо раздвинулся.

— Достоинство шапки измеряется достоинством головы, которая носит шапку! — ответил Шумаф Исмаилу, не глядя на него.

— Муштак твой всем хорош, только ни сзади, ни спереди: к нему не подходит!.. — с сочувственной грус-

¹ Куйжий — популярный герой адыгейского фольклора. Невзрачный на вид Куйжий умом и хитростью побеждает великанов и князей.

тью пошутил Мхамет, отходя от группы. Он хорошо знал по своей жизни, какую безысходную нужду прикрывали добродушные шутки Шумафа над своей лошадкой.

— Мхамет! — окликнул его Измаил.

Мхамет остановился.

— Что ж, наш уговор остается в силе? Пускаешь свою лошадь?

В тоне Измаила Мхамет уловил нотки издевательства и, стоя влоботорота к нему, с нескрываемой неприязнью ответил:

— Мои слова — не слова сороки, сидящей на макушке вербы! Уговор крепко держу...

...Собрание открылось необычно. Раньше было так, что старики из кулацких семей собирались вокруг Хаджи Бехукова и Аликова, к ним примыкали их подпевалы, аульская же беднота беспорядочно толпилась на заднем плане. Молодежь не присутствовала на собрании, а женщины не смели показываться. Все дела решались Бехуковым и Аликовым.

Теперь на открытой галерее аулсовета стоял стол, обьятый пламенем кумачового покрывала. Позади темнели ряды стульев. Все взрослое население аула толпилось перед этой открытой галереей. Амдехан привела сюда женщин. С непривычки они держали себя так несмело, что Амдехан приходилось то и дело потихоньку ободрять их. Амдехан больше всего сердило то, что замужние женщины старались спрятаться за спинами девушек.

Нафисет стояла в тесной кучке празднично разодетых девиц, украдкой поглядывала на перемахнувшее через верх крыльца кумачовое полотнище, на котором белели слова написанного ею лозунга. Ей не верилось, что такая красивая надпись, выставленная на виду всего аула, написана ею. Она покраснела, когда одна из стоявших рядом девушек завистливым шепотком сказала:

— Это ты написала? Какая ты счастливая, если такие знания имеешь!

Хаджи Бехуков, Аликов и их приспешивки старались не замечать женщин. Еще так недавно эти люди были признанными и авторитетными вожаками аула, но здесь, на этом собрании, им никто не уступал места, и они с фальшивым смирением теснились у забора.

Исхак, проходя мимо, заметил Бехукова и сказал:

— Почему ты тут стоишь, Хаджи? Пройди вперед!

— Ничего, мы и здесь постоим, — холодно ответил Хаджи. — Пусть впереди будут те, которые рвутся вперед...

Нескак много лет враждовал с Бехуковым. Но, увидев своего противника в таком унижении, он смутился.

— Разве можно тебе тут стоять!.. — растерянно проговорил он и прошел вперед.

Группа батраков стояла обособленно, позади всех. Это были преимущественно сезонники, и на собрание они пришли скорее как зрители, но не как участники. Среди них находился и бывший батрак Бехуковых — Иван.

Перед самым началом собрания, когда Доготлуко уже подошел к столу президиума, появился Карбеч, давно не посещавший аульских сходок. Он отдал общий салям и направился к старикам. Там он скромно стал позади, но заботливые руки сразу же подхватили его, и люди, расступаясь перед ним, препроводили его вперед.

Бережно выведенный на передний план, Карбеч, с трудом ворочая непомерно великую папаху старинного абадзехского покроя, окинул взглядом собрание и, подпершись костылем, застыл в торжественном молчании.

Доготлуко взял стул из-за стола президиума, спустил его вниз и почтительно сказал:

— Садись, Карбеч, ты старше всех.

Карбеч, не разобрав, к кому относились эти слова, остался неподвижным. Стоявший подле старик подтолкнул его:

— Карбеч, садись! Стул для тебя поставлен.

— Для меня? Как же я сяду, когда весь аул стоит! — негодуяще взглянул на соседа Карбеч.

Мхамет, стоявший среди молодых, быстро подошел к старику, мягко взял за локоть и громко, будто призывая всех присутствующих присоединиться к своим словам, сказал:

— Садись, Карбеч, садись! Довольно ты настоялся за свою долгую жизнь.

Услышав одобрительный гул толпы, Карбеч сел и вновь застыл, как седое изваяние.

Доготлуко, все время зорко следивший за Хаджи Бехуковым, увидел, как тот, точно рассерженный баран копытом, бешено пристукнул костылем. Доготлуко понял, что первый удар, приготовленный им на этот

день, попал в цель, и, скрытно торжествуя, перешел к выполнению второго пункта программы: открыв собрание краткой речью, он предложил избрать президиум.

— Аулсовет и комсомольская ячейка, — сказал Доготлуко, — наметили несколько достойных людей в президиум сегодняшнего собрания. Если разрешите, я зачитаю список, а потом вы дополните или исключите, кого найдете нужным.

— Говори, говори! — раздались голоса.

Доготлуко начал читать.

— Первый, кого мы считаем достойным быть в нашем президиуме, — это старейший человек нашего аула, проживший свою жизнь честным трудом, — Устанок Карбеч.

— Этого нельзя делать! Есть люди более достойные... — пробормотал Карбеч, привставая и растерянно оглядывая собравшихся. Но его слова утонули в шуме дружных рукоплесканий. Карбеч тяжело опустился на стул, все так же растерянно приговаривая:

— Разве можно? Разве можно?

— Следующая, — продолжал Доготлуко, — первая активистка, женщина нашего аула—Амдехан. Третий — выросший в нашем ауле и проведший жизнь в тяжелом труде Иван Суслов, бывший батрак Бехуковых.

Здесь Доготлуко выжидающе приостановился. Собрание изумленно замерло на несколько секунд, затем сразу вскипел жаркий говор, утонувший в громе рукоплесканий...

Собрание впервые видело такие торжественные выборы президиума, но эта новинка поправилась людям, и они наперебой стали выкрикивать дополнительные кандидатуры. Таким образом к списку добавили имена еще нескольких стариков и старухи Дарихан.

С усаживанием президиума Доготлуко пришлось немало повозиться, потому что избранные скромно уступали друг другу первенство и никто не соглашался быть первым.

Смешное и упрямое сопротивление оказал Иван. Его подталкивали, но он упирался.

В конце концов батраки рассердились на него, и один из них даже прикрикнул на Ивана:

— Ты што, сказывся? Иди, сидай, сичас же! На то и Советская власть, штобы рабочему народу почет был. Иди, дурень!

Иван вдруг решился, посерьезнел и, поправив на голове свою шапку, с неожиданной солидностью, высокий, удивительный, зашагал к столу президиума.

Этот случай особенно оживил собрание: каждый чувствовал, что восхождение Ивана, ранее самого униженного и самого бесправного человека в ауле, на почетное место в президиуме — не простая формальность. Ивана провожали в президиум аплодисментами и сочувственными восклицаниями:

— Иди, иди, Иван, довольно ты ходил в ярме Бехуковых!..

Последней заняла свое место в президиуме Амдехан. Большая абадзехская папаха Карбеча и красная косынка Амдехан оказались рядом. Это послужило предметом теплых шуток собравшихся, и Амдехан, поняв причину общего оживления, впервые после своего суда полюбила свою обиду на мужское племя аула, улыбнулась. Но Карбеч в своей торжественной окаменелости был неумолимо строг и молчаливо серьезен.

У Доготлуко было заранее условлено с Амдехан, что вести собрание будет она. Теперь, когда дошло до выполнения председательских обязанностей, она усталилась. Неуверенно, словно ей приходилось поднимать огромную тяжесть, она встала, замялась на несколько секунд, стыдливо склонилась над столом, разгладила кумачовую скатерть перед собою и вдруг, словно бросаая в воду, подняла голову и оглядела собрание. Она увидела перед собою женщин, смотревших, как ей показалось, с укором за ее малодушие, мужчин в напряженном ожидании, и среди них немало таких, которые за этим удивленным напряжением припрятали злорадный смешок, готовый прорваться по первому поводу. Заметила она и Хаджи Бехукова, застывшего в немом изумлении, с раскрытым, как у ворона в знойный полдень, ртом... Амдехан строго сдвинула густые брови, расправила плечи и, гордо выпрямившись, громко и четко выговорила слова, впервые произносимые адыгейкой за всю историю аула:

— Аульское собрание, посвященное великому дню трудящихся всего мира—Первому мая, открываем. Доклад сделает Доготлуко, даем ему слово.

Доготлуко вышел из-за стола и начал свой доклад. Собрание замерло.

Мхамет, затаив дыхание, с тревогой уставился на

Доготлуко. Сердце его леденил страх за друга: «Сможет ли он сказать слово перед всем аулом? А вдруг он скажет слишком острые слова и даст компании Бехукова повод учинить большой халбалык...» Он позабыл обо всем на свете и не заметил даже неприличия того, что выдвинулся из рядов и один стал впереди всех.

Не только Мхамет испытывал тревогу. В ауле еще никогда не видели, чтобы один человек, как теперь Доготлуко, стал перед всеми обособленно, да еще на возвышении, и взял бы на себя смелость сказать все слова, которые должны были сказать мудрейшие старики аула. Аульчане привыкли к шумным сходкам, где говорящий чувствует рядом подпирающие его плечи единомышленников. К тому же они все понимали, что слово, которое должен сказать Доготлуко, какое-то большое и особенное слово и что обычное стариковское красноречие с его витиеватостью, с частыми молитвенными упоминаниями аллаха не подходит для данного дела, что надо найти какие-то новые, приличествующие по визне и величию сегодняшнего торжества, особые слова. Но какие должны быть эти новые слова? Сможет ли Доготлуко найти нужные слова? Он ведь всего только их аульный парняга, которого они с малых лет знают, — откуда же он возьмет новые, неведомые им слова?

Так думали о Доготлуко только друзья.

Сторонники Бехукова с не меньшим напряжением следили за Доготлуко. Их сердца замирали от подленького злорадного ожидания: «Сейчас он пойдет ко дну, оскандалится перед всем аулом. Так ему и надо — пусть не отгоняет почтенных стариков и хаджи аула от общественных дел! Пусть не думает, что он умнее всех в ауле! Пусть посмотрит теперь, как трудно проводить аульское собрание без помощи опытных, уважаемых и красноречивых стариков аула...»

Но никто не ожидал, что Доготлуко так умеет свободно отдаваться быстрому потоку слов. Он сперва начал неуверенно, но скоро выправился и обрел спокойную четкость. Он как бы забирал весь мир в охапку, и перед его словами расступался мрак неизвестности, таинственности чужеземных стран.

Мхамет облегченно вздохнул, посветлел лицом, с гордостью оглядел собрание и, победоносно выставив правую ногу, вновь уставился влюбленными глазами на друга.

Большой первомайский праздник был в самом разгаре. Мужчины и женщины оцепили свободное пространство, на котором шли танцы. Скворечья трель гармоники и аплодисменты, приглушенный говор и выкрики — все это сливалось, как шум бури и ливня с градом.

По случаю особого торжества на джегу присутствовали старики, но они стояли обособленно. Пред группой стариков все с той же неподвижной важностью сидел на стуле Карбеч, сурово процеживая дневной свет сквозь густые заросли бровей.

При смене танцующих пар Исхак позвал к себе джегуако и что-то сказал ему. Джегуако резвыми скачками вернулся внутрь круга, остановив гармониста и, театрально подняв руку, произнес:

— О благословенный аул! Белолиственные старики, собравшиеся на сегодняшнем торжественном джегу, сочли уместным сказать мне:

«Передовой наш старик, великой чести удостоенный от аула быть избранником на съезд Советов, уважаемый старик Халяхо, наш ровесник, надеемся, не откажется наше желание исполнить! Его на танце увидеть и сердцем вместе с ним молодость вспомнить желаем мы, старики!» Одобряет ли это аул?

Дружные крики раздались со всех сторон:

— Одобряем, одобряем!

Исхак вывел из группы стариков слегка упирающегося Халяхо. Джегуако подошел, взял Халяхо за руку и почтительно отвел на середину круга.

В этот момент Доготлуко позвал джегуако. Тот подлетел к Доготлуко, выслушал его, театрально нагнув голову, стремительно вернулся в круг и, завладев рукой Халяхо, предложил свою импровизацию.

Молодежь, собравшаяся здесь, говорит так:

«В день торжественный, когда джегу начинается с уджи¹, когда радостью и весельем мы полны, — в такой день мы хотим, чтобы стар и млад стали рядом в танцах общих и чтобы славные в жизни и борьбе были первыми и в веселье. Из девушек аула одну, первой раскрывшую душу свою сиянную жизни, написавшую

¹ У д ж и — общий круговой танец.

вот эти письмена (джегуако указал на лозунг), дочь Устаноковых Нафисет достойной мы считаем тащевать с почетным стариком». Одобряет ли это аул?

Опять раздалась возгласы одобрения.

Мхамет, хорошо знавший все планы Доготлуко на этот день, с тревогой осматривался вокруг. «Вот сейчас начнется кутерьма!» — думал он в ожидании, что вражеский стан непременно использует это неслыханное нарушение обычая — выдвижение младшей сестры на почетный танец в присутствии старшей.

Но никакой кутерьмы не поднялось. Мхамет лишь заметил, что некоторые из сторонников Бехуковых многозначительно переглянулись.

Нафисет вышла в круг с лицом, пылающим столь же ярко, как и ее кумачовая косынка.

Только теперь она поняла скрытый смысл намеков Доготлуко, когда он говорил с ней вчера о первомайском празднике. Да и Халяхо, оказывается, не случайно с такой настойчивостью уговаривал ее прийти на джегу в красной косынке. Если бы она знала об их замысле, она, конечно, ни за что не пришла бы на джегу. Но теперь она оказалась неожиданно брошенной в водоворот джегу и должна быстро решить, к какому берегу плыть. Малодушно прибиться к старому, — позвать джегуако и с покорным смирением заявить, что, ввиду присутствия на джегу старшей сестры, она должна уклониться от чести, которой ее удостоили. Но нет, она этого сделать не может, потому что выбор уже давно сделан ею.

Борьба в душе Нафисет продолжалась лишь короткое мгновение. По тем взглядам, которые бросал в ее сторону Доготлуко, она понимала, какое огорчение принесет она ему и всем его товарищам, если позорно отступит, и какое злорадное ликование вызовет в стане врагов. А потом — что скажет Биболэт?

Она последовала голосу сердца. Спящие силы ума, зревшего до сих пор под покровом робкой покорности, помогли ей овладеть собой и решительно броситься в борьбу. Она выпрямилась и встала перед толпой, как знаменосец новой жизни.

Гармонист прошелся по ладам гармошки и наполнил площадь зажигающими звуками старинного танца «Каракамыль». Халяхо, с отвисшими голенищами сафьяновых стариковских ноговиц, вяло семена ногами,

тановил гармониста, стремглав подбежал к танцующим и, взяв их за руки, вывел на середину круга.

Зрители, наконец, опомнились. Напор разрядился. Всюду слышался смех и возгласы:

— Вот тебе и старик!

— Хоть и старик, а не пытайся состязаться с ним в танце!

— Да и девушка хитро станцевала, сумела все-таки раззадорить старика!

— На самом деле, какая чудесная девушка — эта младшая дочь Устаноковых!

Джегуако, не выпуская рук старика и девушки, обратился к присутствующим:

— Уй-уй-уй, благословенный аул! Два ваших избранника на этом джегу стали пленниками джегуако.

Кому дороги пленники наши, пусть не прячутся по закоулкам, руку правую пусть щедро протянут, не скупясь, дадут выкуп за пленников дорогих. Содержимое кармана дорого лишь для такого дня, как этот, — сегодня наш общий великий день, солнце свободы ярко нам светит, цена счастья, обретенного нами, сравниться может лишь с ценою жизни. В тех странах, где баи еще тиранят народ, томятся в тюрьмах темных заступники народа. Добро, что полой водой потечет сегодня из щедрых рук аула в выкуп за наших пленников, мы намерены протянуть рукой братской тем узникам славным. Стариков, молодых девиц и старух призываем в этом деле праведном всем сердцем участие принять!

Над джегу установилась торжественная тишина. Адыги привыкли к бедствиям и из тяжелой истории своего прошлого вынесли крепкий инстинкт взаимопомощи в беде. Слова джегуако как нельзя лучше увязали борьбу мирового пролетариата с их понятиями о тяжести борьбы с угнетателями. Они теперь не только понимали, но и ярко представляли себе, как там нуждаются в их помощи.

И вдруг враждебный голос нарушил торжественное безмолвие джегу.

— Что вы над аулом вздумали насмеяться? Ну, старик — ладно, но неужто, кроме этой девчонки, старшая сестра которой присутствует здесь, не найти в ауле достойных девиц? — прогорланил Хаджирет Шумыль.

Из небольшой компании, группировавшейся возле Хаджирета, послышались выкрики:

— Комсомольцы и джегуако сговорились и джегу превращают в балаган!

Комсомольцы начали отвечать на эти выкрики. Над джегу поднялся такой шум, что трудно уже было разобрать отдельные слова.

Мхамет стоял, стискивая рукоять кинжала, готовый ринуться туда, где его друзьям будет угрожать опасность.

Неподалеку от него спорили двое:

— Прошли те времена, когда вы могли покусать для своих девиц первенство на джегу!

— Нет, аул не допустит надругательства!

— Кто это аул? Не вы ли? Сколько вас?

— Ну вы скоро узнаете, чего хочет аул и что мы знаем в ауле!

— Не-ет, довольно, теперь-то вы не пойдете против всего аула.

— Подумаешь, какая радость аулу: выбрали желторотую девчонку с головой, словно стручок красного перца!

— А разве ты не знаешь, что волки боятся красного цвета? Боязнь красного цвета издавна водится у вашей породы.

Спор все более раскалялся. Доготлуко, выйдя вперед, простер руку и, когда шум немного утих, спокойно и строго спросил, обращаясь к Хаджирету:

— Что тебе не нравится здесь?

— Не нравится, что вы джегу превратили в надругательство над аулом. Виданное ли дело, чтобы на джегу, вопреки обычаю, возвеличивали девчонку, на губах которой не обсохло молоко, да еще в присутствии старшей сестры!

— Нет, ты лучше скажи открыто. Мы знаем, о каких обычаях ты тоскуешь. Тебе было хорошо, когда ты, надувшись, как индюк, гордо стоял впереди и аула не видно было за твоей спиной. Ну что же, надевай траурное одеяние и затворяйся в своем доме — твоих обычаев больше не будет. По нашим обычаям честь и первенство принадлежат не тому, кто родом знатен или имуществом богат, а тому, кто трудом и разумом достоин этого.

— Правда не в том, что ты скажешь, а в том, что скажет аул! — выкрикнул кто-то из-за спины Хаджирета.

— А мы сейчас спросим! — сказал Доготлуко и, подняв голову, громко крикнул:

— Аул, находите ли вы неправильным порядок сегодняшнего джегу?

На минуту говор вновь вскипел над толпой. Послышались выкрики: «Правильно!» — «Чего это вы затеяли разговор с этими тыквоголовыми?»

Тут выступил вперед Исхак.

— Старик, которого пленил джегуако, — важно и рассудительно сказал он, — один из тех стариков, которые пользуются наибольшим доверием. И девушка в сегодняшнем большом деле превзошла достоинством других аульских девиц. Эти мудрые письма, которые так красиво вычерчены и сверкают перед взором всего аула, написаны ее рукой. Такое мастерство мы впервые видим среди наших аульских девиц. А то, что старшая сестра присутствует здесь, — это пусть не будет такой помехой. И в старину такое случалось, что известные своим умом и достоинствами девицы отдавали на определенный срок старшинство младшей сестре. Значит, ничего предосудительного здесь не произошло и обычаев мы не нарушили.

Исхак важно обернулся к Нафисет и прибавил:

— За то одно, как искусно ты танцевала, моя славная, ты заслуживаешь похвалы. Будь счастлива!

Хаджирет, окончательно теряя самообладание, взбешенно выкрикнул:

— Исхак, ты подкуплен! Ты бессовестный старик и говоришь неправду! Никто никогда не видел такого беззакония на джегу!

Исхак, уверенный, что все благополучно улажено, уже возвращался на свое место среди стариков. Но, услышав слова Хаджирета, он резко обернулся, гневным ударом вонзил свой костыль в землю и, напрягая голос, крикнул:

— Ты обвиняешь меня в незнании наших обычаев! Но сам-то ты знаешь обычаи? Как же ты посмел сказать такие слова мне, старику?

Два родственника Исхака, приняв обидные слова, брошенные Хаджиретом, как оскорбление их роду, схватились за рукояти кинжалов и рванулись вперед, но десятки рук удержали их.

Хаджирет, ни слова не сказав, повернулся и покинул джегу. За ним ушел и Хаджи Бехуков и некоторые из их сторонников.

Тем временем принесли чеканку и подушку и положили перед Халяхо и Нафисет, которые все это время стояли, застыв в гордом молчании, не принимая участия в пререканиях.

Составили комиссию для подсчета собранных денег. Разозленные выступлением Хаджирета и его компании, аульчане наперебой подзывали джегуако и вручили ему свою долю «выкупа». Джегуако носился по кругу, как на крыльях. Возвращаясь в центр круга, где, как изваяние, стояли два почетных пленника, он движением руки останавливал гармонику и выкрикивал тосты, в которых цветисто восхвалял дарителей. Все это было обычно для аульчан. Но один тост джегуако вызвал всеобщее одобрение и даже аплодисменты.

Куляц, старшая сестра Нафисет, подозвала Мхамета и сказала ему что-то. Мхамет в свою очередь подошел к джегуако и передал ему поручение Куляц, вручив при этом деньги. Джегуако в три скака очутился в центре джегу и произнес:

— Уй-уй-уй! Взглянем в сторону Паджехабля¹, увидим там девушку одну: белое у сороки — цвет ее тела, черное у сороки — цвет ее волос, поступь лани — ее походка, крылья ласточки — брови ее! Прекраснейшая из всех существ, одаренных глазами и бровями, — дочь Устаноковых Куляц подозвала меня и сказала: «О джегуако! В такой торжественный час словами не высказать всей радости моей за честь, которой аул удостоил сестру мою! За дорогих пленников твоих готова я и жизнь в дар принести» — и вручила мне сто светлых рублей. О, ненаглядная, часть души моей! Да будет вся жизнь твоя разумных поступков полна и счастьем обильна, как обильна щебнем долина Лабы, как обильна цветами весна!

Глава девятая

День уже был на исходе, когда объявили о начале скачек.

Джегу мгновенно рассыпался, и все устремились за аул, на выгон.

Если б не слышно было веселого говора, можно было подумать, что какое-то чудовищное бедствие надвинулось на аул и все бросились спасаться, кто как мо-

¹ П а д ж е х а б л ь — название части аула.

жет. Взрослые торопливо семенили, а между ними бежали вперегонки юркие ребяташки. Тачанки, нагруженные мужчинами и женщинами, с прохотом мчались по улицам. Верховые, подымая страшную пыль, старались опередить подводы. Куда делись выдержка и степенная сдержанность адыгов — все спешат, все стремятся вперед, охваченные азартом скачек! Даже величественные старцы — и те потеряли всякое самообладание и суетливо семенят по обочинам дороги. Иной из молодых всадников, встретив одного из таких старцев и вспомнив свой долг перед старостью, точно жертвуя жизнью, слезает с коня и предлагает его старику. Пешие, преисполненные уважения к сознательности молодого, провожают старика завистливыми взглядами. Но не всякий старик согласится воспользоваться своим правом: цветисто поблагодарив юношу, седобородый великодушно говорит:

— Езжай, езжай, сын мой, я как-нибудь доберусь!

В шумном галопирующем потоке резко выделялись лошади без седоков, покрытые покрывалом. Их вели под уздцы в стороне от общего движения. Это были лошади, которых собирались пускать на скачках.

Выгон уже пестрел людьми. Окраинные плетни были унижены детьми.

Вскоре на месте, предназначенном для скачек, собрался народ. То там, то здесь слышались звуки гармоник.

В одном месте два ряда верховых и пеших людей образовали длинный коридор, и всадники джигитовали в этом коридоре. Тут особенно был замечен великан Шумаф на своем Муштаке. Муштак, рассерженный, упрямо грыз удила и пяtilся прямо на людей. Шумаф безжалостно хлестал его плетью. Муштак, вконец разобиженный на своего седока, рванулся и чуть не подмял людей. Послышались крики, свист, улюлюканье.

Но вот, повернутый к выходу из теснины коридора, Муштак помчался рысцей. Как только он достиг конца коридора, Шумаф круто повернул его и вновь направил к ненавистой для Муштака теснине между ревущими людьми. Тут Муштак разгневался — чего, в самом деле, его хозяин хочет от него! — и, не дождавшись удара плети, ринулся вперед. Он распластался по земле, почти касаясь ее брюхом.

Но Муштака и его хозяина всю жизнь преследуют

испуганно доскакав до середины коридора, где на земле белела бумажка, в которую была завернута монета, Шумаф всей своей огромной тушей свесился вниз... Седло вслед за седоком сползло набок, и Шумаф, как огромный дряблый мешок, неуклюже упал наземь головой вниз. Муштак с седлом на боку убежал, брыкаясь. Седок, со смешно раскинутыми руками, остался неподвижен. Крупная бритая голова его блестела, как тыква, с макушки стекали две струйки крови...

Шумафа тотчас же окружили и прежде всего обвели концом кинжала круг по земле. Многие из аульчан впервые увидели большую лысину на голове Шумафа и только теперь догадались, почему он всегда избегал снимать шапку.

Под обычные в таких случаях крики: «Разойдитесь, дайте доступ воздуху!» — Шумаф пришел в себя. Первым делом он схватил шапку, натянул на голову, осоловело посидел некоторое время, затем стремительно вскочил крича:

— Ай, негодный! Куда делся Муштак?

Джигитовка на этом оборвалась. Веселое возбуждение присутствовавших угасло, и люди стали расходиться в какой-то тягостной неловкости. Они все знали, что нет в ауле человека более крепкого в седле, чем Шумаф. Они помнили случаи, когда Шумаф, получив крепкого коня, оказывался непобедимым в борьбе за сафьян. Сегодняшнее падение Шумафа они не сочли за позор, оно лишь расшевелило в их душе острое сочувствие.

Люди двинулись к месту пуска лошадей. Верховые и пешие распорядители стали собирать всех внутрь плужной борозды скакового круга. Поодиночке начали подводить скаковых лошадей.

Исхак подозвал Мхамета, с таинственным видом отвел его подальше от толпы и сказал:

— Тебе нужно держать расчет на последний круг бега. У Измаила лошадь хорошая, но ее не сумели как следует подготовить. При первом рывке она опередит всех. Но когда дело дойдет до выносливости, я не вижу здесь коня, который мог бы соперничать с твоим чалым. Один лишь конек пугает меня, — Исхак указал украдкой глазами на невзрачного небольшого коня золотистой масти.

— Вот эта худосочная коняга?.. — удивился Мхамет. — А я его совсем в расчет не принимал!

— Да, да, этот самый чертенок! Его склад мне нравится, и тот, кто готовил его, должно быть, знает толк в деле, — сказал Исхак, восхищенным взглядом любителя глядя на коня. Затем повернулся к Мхамету и прибавил:

— Так вот, сын мой, сейчас соберется комиссия. На комиссии ты добивайся таких условий: лошади должны дважды пробежать по два круга. На меньшем твой конь не сможет показать себя. Теперь позови мне твоего седока, я поговорю с ним.

Исхак долго наставлял малыша, который был седоком коня Мхамета.

Комиссия, которая должна была установить распорядок скачек, уже собралась. Исхак с Мхаметом направились туда. Кто-то окликнул Мхамета. Оглянувшись, он увидел Измаила и Хаджирета. Мхамет удивился: как это Хаджирет, покинувший сегодня джегу, теперь не постыдился прийти на скачки?

— Ну, Мхамет, напрасно ты, упряма ради, собираешься истязать свою рабочую конягу, — сказал Хаджирет, плохо скрывая ненависть за лицемерным сочувствием.

Мхамет на ходу небрежно бросил в ответ:

— После скачек увидим...

Насчет условий и норм бега лошадей в комиссии произошел долгий и жаркий спор. Наконец приняли предложение Исхака: дважды по два раза обежать круг длиною около двух с половиною километров. Перерыв между двумя запусками установили в пятнадцать минут. Забили два финишных флага и пустили лошадей.

Гнедой конь Измаила привлекал всеобщее внимание. Статный, выхоленный, подвижный, он переливался на солнце зеркальной игрой солнечных бликов. С места он сорвался резво и сразу вынесся вперед. Лишь один золотистый конек, о котором говорил Исхак, не отпускал гнедого от себя и упорно шел следом, точно вцепился в его хвост.

Чалый Мхамета тронулся тяжеловато. Длинный, неуклюжий, он на первых порах шел почти ленивым галопом.

Лошади, за исключением гнедого и золотистого, шли некоторое время вместе, но с половины круга стали

вытравиваться в длинную цепь. Гнедой Измаила и золотистый неслись далеко впереди.

Когда у противоположного от зрителей конца круга кони повернули, на светлом небосклоне четко обрисовались их силуэты: позади всех лошадей, растянувшись длинной цепью, шел все таким же невозмутимым галопом чалый Мхамета.

Среди зрителей поднялся гул взволнованного говора. Одна группа с самого начала держала сторону Измаила. Внимание и симпатии другой группы перенеслись на золотистого конька, непредвиденная доблесть которого восхищала всех. А весь затаенный интерес и трепетное ожидание огромного большинства аула были связаны с чалым Мхамета.

Сторонники Измаила не скупилась на хвастливые заявления. Стараясь скрыть свое злорадство за внешним беспристрастием, они с видом знатоков громко и упрямно упрекали Мхамета за его легкомысленное упрямство.

— Напрасно Мхамет пустил на бега свою рабочую конягу.

— Из-за глупого хвастовства мучает бедное животное...

— Еще не ведомо, что чалый покажет!

— Валлахи, удивительно вы рассуждаете, как будто никогда лошадей не видели и не знаете, на что способен конь! Разве сможет бегать на скачках измученная в работе коняга?

— Ну, пусть убедится Мхамет, коли он воображает, что много понимает в конях...

Лошади сделали первый круг и пронеслись мимо зрителей. Гнедой конь Измаила мчался впереди. Едва удерживаемый седоком, он пронесся стремительными бросками. Но внимательный глаз мог бы заметить на его крупе и боках шерсть, подмоченную потом.

Золотистый конь шел в хвосте гнедого, вытянув свою маленькую сухую голову, как пику на весу.

Чалый Мхамета прошел все тем же подобием галопу, с такой же невозмутимостью и кажущейся тяжелосилою. Ни по шерсти, ни по дыханию его не заметно было, что он пробежал два с половиной километра.

То, что после первого круга чалый пришел с такими нетронутыми силами, возродило у сторонников Мха-

мета некоторые надежды. Но пока еще трудно было судить.

Когда лошади во второй раз пошли по кругу, чалый поднажал: оставив вялую вскидку галопа, он распластался по земле длинным корпусом и понесся стремительными бросками. Вскоре он начал догонять и одну за другой оставлял позади лошадей, бежавших до этого впереди.

— Смотрите, смотрите! Этот чалый что-то замышляет! — возликовали друзья Мхамета.

Но чалый, обогнав наиболее отставших лошадей, прекратил свой напор. Теперь между ним и передней парой, состоявшей из гнедого и золотистого, оставались лишь две лошади. Не уступив нового места, занятого им, чалый пришел к финишу первого тура.

Седоки передали поводья выбежавшим навстречу всадникам-распорядителям, а сами спрыгнули. Лошадей развели по выгону, чтобы дать им постепенно остыть.

Конь Измаила был разгорячен. Его лоснящаяся шерсть пестрела уже не крапинами, а крупными пятнами пота. С более нетронутыми силами после первого тура пришли чалый Мхамета и золотистый. Когда сторонники Мхамета попытались козырнуть этим хорошим признаком, сторонники Измаила возразили:

— Если он так все время будет бегать, то никогда и не вспотеет!

Мхамет держался около Исхака. Старик сохранял невозмутимое спокойствие и за все это время не проронил ни одного слова ни в одобрение, ни в осуждение. Лишь глаза его горели, и он, точно забыв обо всем окружающем, ничего не слышал из того, что говорилось вокруг.

Зато в сердце Мхамета бушевала буря. Внезапные надежды сменялись отчаяньем, и только неизменное спокойствие Исхака поддерживало в нем силы. Во время перерыва он не удержался и осторожно спросил Исхака:

— Исхак, как ты смотришь на ход бегов?

— Этот малыш годится в седоки, — нехотя отозвался Исхак и, отвернувшись, стал внимательно наблюдать выводку лошадей.

...Начался второй тур. Гнедой конь Измаила опять вынесся вперед. И золотистый так же, как и в первом

туре, увязался за ним на коротком расстоянии. Чалый и на этот раз снялся тяжеломерно и пошел в числе отставших.

На протяжении первой половины круга гнедой и золотистый на порядочное расстояние вырвались вперед.

Сомнение и тревога теперь уже всерьез овладели сердцем Мхамета. Спокойная самоуверенность Исхака перестала на него действовать. Ему так хотелось победы!

Исход сегодняшних бегов связывался у него с глубоким и давним чувством недовольства жизнью. В душе Мхамета давно зрел смутный протест против такого распорядка жизни, когда он, при надрывном труде, обречен на голодное существование и лишен возможности иметь хорошего коня, тогда как люди, никогда не утруждавшие себя, жили припеваючи, имели хороших коней, меняли их на еще лучших и всегда были завидно слеты. Честный и справедливый по натуре, Мхамет иногда спрашивал себя: «А не говорит ли это в тебе мелкая зависть?». Но нет, он не хотел уподобиться этим людям, у которых (он имел много случаев убедиться в этом) вместо ума действует подленькая хитрость, а вместо настоящего мужества — хвастовство и величественная осанка. У Мхамета всегда была крепкая уверенность в превосходстве своего ума и сердца над сердцем и умишком этих людей, и сегодняшнее соперничество на бегах было для него соперничеством его правды с неправдой его врагов.

Победа его чалого была победой Мхамета над кичливыми бездельниками, которые искали случая злобно надругаться над ним. Сюда присоединялось еще и чувство ответственности перед многочисленными друзьями, которых он невольно вовлек в борьбу. Словом, Мхамет отдал бы полжизни, чтобы добиться победы в сегодняшнем соперничестве. Но сейчас он уже терял надежду.

Лошади, обогнув круг, повернули обратно. Чалый оставил свою невозмутимую галопную вскидку и начал нажимать. Мхамет воспрянул духом. Необычайное оживление охватило его сторонников. Всех их томило напряженное ожидание, и досадливое сомнение то и дело сменялось надеждой.

Когда лошади опять пришли к исходному месту, впереди всех вынесся конь Измаила. На спине и боках

его были теперь белые комья пены. Чувствовалось, что его силы близки к истощению. Золотистый конек упорно «висел» у него на хвосте. Чалый шел следом.

Лошади, развернувшись, пошли во второй раз. Тут седок чалого нанес по коню несколько ударов плетью. Чалый, словно взбешенный этим оскорблением, сделал резкий рывок, вытянулся, как стрела, всем своим длинным корпусом и начал быстро уменьшать расстояние между собою и двумя другими лошадьми. Заметив это, седок золотистого стал хлестать плетью своего коня и мгновенно оказался рядом с гнедым Измаила. Вскоре и чалый поравнялся с ними. Так шли некоторое время — три коня рядом.

На повороте круга обрисовалась картина, которая привела в неистовство зрителей; два силуэта: длинный — чалого и маленький — золотистого — шли рядом, опередив третьего, гнедого. Остальные лошади бежали далеко позади. Две лошади вовсе сошли с круга.

Лошади неслись прямо на зрителей. Седоки, отбросив всякие хитрые приемы, гнали теперь коней во всю мочь. Их гиканья были слышны, как крики далеких журавлей.

Зрители заволновались, задвигались. Стали готовиться к встрече и верховые-распорядители.

Со всех сторон послышалось:

— Пусть никто не скачет навстречу!

— Аллахом заклинаем, пусть никто не скачет наперез!

— Назад! Отойдите назад!

— Успокойтесь!

Мхамет в невыразимом волнении, не отдавая себе отчета в том, что делает, схватил Исхака за руку. Исхак ласково сжал его руку и, не отрывая глаз от приближающихся скакунов, шепнул:

— Не беспокойся, сын мой, на чалого я надеюсь...

Гиканье седоков приближалось. Уже стало видно, как взлетали и опускались язычки хлопушек на концах их плетей, словно это ласточки резвились над конскими спинами. Силуэты всадников четко обозначились на красном фоне подожденного заходящим солнцем небосклона. С забранными в штаны рубашками, с головами, повязанными разноцветными платками, с оголенными и кривыми, как ломаные палочки, руками, — наездники

ещали походили на огородные чучела, раскачиваемые ветром.

Навстречу полетели истуипленные выкрики: «Чалый впереди!», «Конь Измаила позади!», «От тоби и рабочая коняга!». Никто уже не помнил о соперничестве двух лагерей аула, никто не замечал искаженных злобой лиц — в ликующем возбуждении все было позабыто, и врыв восторга, безумство радости, необыкновенная нежность к чалому захлестнули всех.

Несмотря на строжайшее предупреждение и заклинания аллахом, верховые-распорядители не выдержали и сыпанули все разом навстречу скакунам. Вслед за ними вылетел, как сказочный великан на зайце, Шумаф на своем Муштаке.

Лошади, сопровождаемые дикими гиканьями, напуганные, с выкатившимися глазами, в последнем напряжении сил тянулись к финишу. И вот чалый, с раздувавшимися ноздрями, во всю мочь загребая землю копытами, пересек финишную черту между двумя забитыми флажками. За ним пересек черту финиша золотистый конек. Только после того, как чалый и золотистый оставили позади оба финишных флага, примчался, роняя хлопья пены, запыхавшийся гнедой Измаила.

Мхамет бурно вздохнул.

— Век живи, мой старый чалый! — вскрикнул он и бегом бросился вслед за дорогим своим конем.

Толпа, рассыпавшись по выгону, как ледоход, двинулась на аул. Шум говора и споров возобновился. Кое-где вспорхнули звуки гармоники.

Скакунов водили по выгону. Мхамет стоял среди окруживших его друзей, любовно посматривая на своего чалого. Вдруг он заметил стремительно идущего Измаила. Его ошалелый вид удивил Мхамета. Проходя мимо, тот лишь мельком взглянул в их сторону. Ни самодовольной величавости, ни надменно-шутливой наигранной улыбки не было уж на его лице, а глаза были неподвижны и мутны. Он шел, точно спешил предотвратить какое-то большое несчастье.

Мхамет заметил, как Измаил, подходя к гнедому, вынул из кармана револьвер. У Мхамета мелькнула страшная догадка. Он бросился вслед за Измаилом.

Измаил, схватив под уздцы гнедого, приставил к его уху дуло револьвера. В тот самый момент, когда Мхамет, подбежав, рванул руку Измаила, грянул выстрел.

Гнедой издал чудовищный всхрап, рванулся и, обезумев, понесся по выгону, влача по земле болтающиеся поводья.

— Что ты делаешь! Какой позор! — гневно крикнул Мхамет.

— Я знаю, что я делаю! Разве я не волен поступать со своим конем, как я захочу! — в бешенстве прошипел Измаил и резко выдернул свой локоть из рук Мхамета.

— Ты не волен так поступать с конем! Виновато ли животное в том, что вы не сумели подготовить его к скачкам!

Говоря это, Мхамет с брезгливой настороженностью разглядывал Измаила, — впервые он видел его настолько потерявшим самообладание.

Их окружили подбежавшие люди. На слова осуждения, которые сыпались со всех сторон, Измаил не отвечал. Он стоял молча, не глядя ни на кого и не замечая никого. Револьвер он все еще держал наголо, словно не знал, что с ним делать. Наконец он сунул револьвер в карман и, не произнося ни слова, пошел в аул.

Глава десятая

Среди комсомольцев аула Шеджерий особенно выделялись трое. Это были основатели комсомольской ячейки, наиболее ненавистные Хаджи Бехукову и его компании. Каждое упоминание об этих ребятах вызывало иступленную злобу у кулаков: три комсомольца представлялись им как бы тремя остриями Советской власти, нацеленными на их стан. Все несчастья, которые обрушивались на кулаков, — такие, как привлечение к суду Бехукова его же собственным батраком или уплата налога за скрытые посевные площади, — были вызваны усилиями комсомольцев.

Особенно портили они кровь эфенди. Ребята владели замечательным искусством злой шутки. Они умели подметить пороки эфенди, ловко и вовремя передразнить лицемеров и, искусно выворачивая наизнанку их цветистую речь, повитую молитвенной росписью арабских фраз, били хитроумных мракобесов их же оружием. Они были тем более страшны для эфенди аула, что к ним трудно было придрасться. Свои шутки они пускали в ход с естественной небрежностью, мельком, по случайному поводу, и тем не менее шутки эти распространялись по

ду с быстротою огня и прилипали к эфенди прочным, несмываемым клеймом. Дело дошло до того, что эфенди, встречая на улице кого-нибудь из троих комсомольцев, перебегал с молитвенными проклятиями на другую сторону, бессильно бормоча: «Отродие демона» или «Гог-Магог»...

Эти трое были: Доготлуко — секретарь комсомольской ячейки и первый, пока единственный, коммунист аула, Тыхуцук и Ахмед. Все трое, несмотря на крайнее различие характеров, были связаны дружбой.

Тыхуцук — коренастый, рыжий, краснощекий крепыш — был подвижен и непоседлив настолько, что не мог высидеть и минуты, не занимаясь каким-нибудь делом. Он не знал, что такое усталость и уныние. Своей подвижностью Тыхуцук заражал всех и всюду вносил оживление, споры и шутки. Особенно хорошо он смеялся — от души, всем телом, «до кончиков ногтей», как говорят адыгейцы, при этом сыпал и сыпал своей неукротимой скороговоркой, пересыпая речь иностранными терминами, смысла которых большей частью не понимал, чем нимало не смущался.

Неспособный к серьезной сосредоточенности, Тыху, тем не менее, имел большую склонность к фантазированию и мечтательности. И в минуту, когда он оказывался без дела и не находил оппонентов для обсуждения волнующих «вопросов», он начинал неудержимо фантазировать. Он любил мечтать вслух о том, какой прекрасной станет жизнь через такое-то количество лет, причем промежуток времени видоизменялся в зависимости от его настроения, или о том, что и как сделают комсомольцы аула Шеджерий, превратив эту мечту в действительность.

В выполнение комсомольских поручений Тыху вкладывал весь свой пыл. Вследствие его непоседливой беготни он чаще всех приходил в столкновение с вражеским станом, и именно из-за него в ячейке обсуждались бесконечные «вопросы».

Ахмед по характеру своему был прямой противоположностью Тыху. Большие голубые глаза его, оттененные длинными черными ресницами, всегда подернуты мягкой задумчивостью. Ахмед к тому же был музыкантом, он играл на шичепшине. Глаза его становились особенно прекрасными, когда он играл: устремленный вдаль, поверх всего земного, взгляд застывал, словно

зачарованный какими-то прекрасными видениями. Он редко и очень неохотно играл при людях и любил брать в руки шичепшин только в узком кругу нескольких близких друзей. Такими постоянными соучастниками чудесного таинства музыки были Доготлуко, Мхамет и Тыху, собиравшиеся в свободные вечера в домике Ахмеда на окраине аула. И эти вечера были, пожалуй, единственными в жизни Тыху, когда он спокойно мог высидеть на одном месте несколько часов подряд. Однако музыка и песни так действовали на Тыху, что он в конце концов воспламенялся еще более ослепительным полетом фантазии и поднимал столько «вопросов», что незаметно уносил своих друзей в область неведомого и прекрасного. И лишь в такие часы полного слияния дружеских сердец раскрывалась душа Ахмеда, и оказывалось, что он не меньше, чем Тыху, горит священным огнем чистых мечтаний о прекрасном будущем.

В обычное время Ахмед был немногословен. Девичья мягкость в движениях и даже некоторая застенчивость его могли быть истолкованы как робость. Но блеск стали, загоравшийся в глазах, когда гнев овладевал им, неотступная решимость в столкновениях с врагом — быстро разбивали это обманчивое представление. Ахмед, после Доготлуко, был вторым человеком в ауле, которого страшились враги.

...Вечером под пятницу, когда аульчане возвращались из степи, Доготлуко шеннул нескольким комсомольцам, чтобы они оповестили всю ячейку о секретном собрании. Собраться следовало вечером в доме Доготлуко.

Известие о собрании передавалось из уст в уста, и скоро к дому Доготлуко стали сходитьсь молчаливые, притихшие ребята.

Пришли и Мхамет и одна женщина — Амдехан — как особо доверенные лица. На всех лежала печать суровой тайны — сидели молча, в нетерпеливом ожидании. Даже Тыху был скован общим напряжением. Все его попытки завязать разговор потерпели неудачу, и он, томясь вынужденным молчанием, дулся, пыхтел, вставал и садился или перелистывал книги, лежавшие на столе Доготлуко.

На обсуждение были поставлены три вопроса: уборка силами комсомольской ячейки озимой пшеницы Амдехан, проведение антирелигиозной работы по случаю

пастухающего месяца уразы и борьба с бандитизмом и контрабандой.

Жаркий спор разгорелся вокруг вопроса об антирелигиозной работе. Даже Мхамет, молчавший все время, пока дело не коснулось религии, не выдержал и взял слово.

— Моего ума не хватит для того, чтобы выяснить правду о религии. Великие руководители Советской власти, которые доказывают, что бога нет, не зря, наверное, так говорят. Против этого я не спорю. И если вы, комсомольцы, не будете соблюдать уразу, и если будете утверждать: «Бога нет», — я не стану обвинять вас. Но верующий народ не так посмотрит на это. Если теперь, в месяц уразы, вы начнете слишком прямо выступать против бога и открыто станете есть пищу, этим вы только поможете компании Бехукова. Они натравят на вас народ, и вас палками выгонят из аула. Лично я не решусь принимать пищу во время уразы и не стану говорить: «Нет бога». Не осуждайте меня. Я тоже не буду осуждать вас за ваши убеждения, это — дело совести каждого.

Комсомольцы предлагали открыто пойти в поход «против бога» и против уразы. И Тыху, охваченный страстным порывом к деятельности, на первых порах оказался среди них.

И особенно выступал в защиту этой точки зрения Алий Нагоджуко. Алий происходил из уоркской, но бедняцкой по имущественному положению семьи. Маленький, со вдавленной грудью, он носил непомерно большую каракулеву шапку, низко надвинутую на глаза. Для того чтобы взглянуть прямо, ему приходилось задира́ть нос, и это придавало ему вызывающий вид. Огромный раструб галифе делал его похожим на летучую мышь.

У Доготлуко уже давно зародилось чувство глухого недоверия к Алию. Он считал ошибкой, что приняли его в комсомол. Правда, до вступления в комсомол Алий проявил себя большим активистом, и группа Хаджи Бехукова злобно ополчилась против него. Но после того как он был принят в комсомол, Доготлуко обнаружил, что Бехуковы, лишь на словах продолжая высмеивать Алию, на самом деле не питают к нему особой злобы. Сам Алий, продолжая показывать себя активистом, стал увиливать от работы, старался не смешиваться с рядо-

выми комсомольцами, претендовал на роль какого-то неофициального руководителя, которому не к лицу обычная комсомольская нагрузка. Он пыжился, чтобы показать свое мужество и авторитет, посещал кунакские родовитых семей, ухаживал за именитыми девушками.

Этот щупленький человек, одержимый уоркской манерой величия и тщившийся изобразить из себя великана, был бы только смешон и жалок, если бы Доготлуко в поведении Алиа не замечал чего-то фальшивого.

И сейчас Доготлуко, не слушая, что говорил Алиа, присматривался к нему так внимательно, словно хотел пронизать насквозь и увидеть, что у него лежит на сердце. Алиа говорил с иступленной яростью, на углах сухих губ вздувались пузырьки пены, вся его тощая фигурка и худое лицо, казалось, были иссушены собственной злостью. Но кого он ненавидел?

До сознания Доготлуко доходили лишь отдельные фразы: «Надо, наконец, оставить заячью трусость и начать по-настоящему работать!.. Вести активную революционную борьбу... Уничтожить навсегда религию — этот дурман народа...»

Глубоко сидящие глаза Алиа горели недобрым огнем. У него была привычка широким, «мужественным» жестом часто поправлять наган на поясе, словно он настоящий старый вояка. С наганом он никогда не расставался и носил его с особенным шиком. Всем была известна особая жадность его к патронам. Он вечно выпрашивал их у кого только возможно, покупал, выменивал. И именно у него всегда оказывалось больше, чем у кого-либо, стреляных или случайно утерянных патронов, когда его отправляли куда-нибудь с винтовкой...

Наконец взял слово и Доготлуко. Он говорил спокойно, вкладывая в каждое слово определенный смысл.

— То, что такие, как Мхамет, честные и преданные люди нашего аула до сих пор цепляются за религию, — не их вина, а наша, — сказал он. — Надо уметь бороться с религией. Только в результате большой нашей работы сознание людей настолько поднимется, что они сами перестанут нуждаться в божестве. А тот, кто призывает нас одним махом уничтожить религию, тот или глуп, или провокатор.

— Сам ты не хочешь действовать по-настоящему и обзываешь провокаторами тех, кто хочет бороться! —

выкрикнул Алий. — Но это тебе не пройдет даром!

В конце концов комсомольцы поддержали Доготлуко и вынесли единогласное решение, при особом мнении одного Алия. Собрание решило также помочь одинокой женщине, активистке Амдехан, и завтра же, в пятницу, убраться силами ячейки ее озимый клин.

Глава одиннадцатая

В предзвездной тающей мгле над аулом пролетела песня комсомольцев.

В ауле никогда не пели на улице хором, кроме дней свадеб. Поэтому пение комсомольцев, да еще в такой ранний час, прозвучало со странной силой, словно предвестие необычайных событий.

Песня пронеслась по улице, прорывая тишину, и затихла за аулом, в степи. Женщины, выскочившие в одном нижнем белье, долго прислушивались к удаляющимся звукам.

Эта песня комсомольцев надолго осталась в памяти у всех. Суровая и торжественная мелодия ее подняла в душе многих аульчан отзвук прекрасной правды, вестниками которой являлись комсомольцы. Другие же еще раз пережили животный страх и бессильную злость, какую испытывали они, когда слышали песни красноармейских отрядов в гражданскую войну.

В комсомольской ячейке аула Шеджерий было пятнадцать человек. К озимому клину Амдехан пришли четырнадцать. Алия не было с ними.

В разгар работы явился и Алий.

— Из-за одной десятины пятнадцать душ выходит в поле на рассвете! — неуклюже пошутил он, пытаясь оправдать свое опоздание.

Никто не ответил ему.

Алий сделал вид, что не замечает этого недружелюбия. Он подошел к Тыху и с такой же напускной развязностью потребовал:

— Дай сюда косу, я буду косить. Не хочу я вязать снопы.

— Какие у тебя особые заслуги, чтобы я передал тебе косу? Можешь совсем не работать, и без тебя справимся! — обрезал его Тыху.

— Если он станет вязать снопы, то на него больше не взглянут дочери Аликова. А это — куда серьезней,

чем комсомольская работа... — небрежно бросил Ахмед.

Алий не обиделся и лениво сказал:

— Пожалуйста, если не нуждаетесь, могу и не работать! — и, закурив папиросу, развалился на куче уже связанных снопов.

Перестоявшая на корню пшеница легко ссыпалась. В полдень ребята сделали длительный перерыв и лишь к вечеру возобновили уборку.

Косили трое. Мхамет шел впереди. Свободно расправив могучие плечи, он крупно шагал, и его коса скользила с острым, мягким хрустом, охватывая полосу в сажень ширины.

Тыху не поспевал за ним и, вспотевший, красный, отчаянно метался, рассыпая колосья на своей полосе. А тут еще подгонял его Ахмед, шедший за ним третьим косарем. Желание поговорить уже давно томил Тыху. Но как только он останавливался и, опершись на косу, начинал речь, Ахмед безжалостно прикрикивал:

— Подрежу пятки! Мхамета упускаем, живее, живее!

Когда косари начали последнюю полосу, Тыху, измученный, с прилипшей к телу рубахой, крикнул Доготлуко:

— Аллахом, его пророком Магометом и всеми присными святыми заклинаю тебя, Доготлуко: дай мне возможность высказаться, пока мы еще не кончили последнюю полосу.

— Подкошу ноги! Если не можешь косить, становись сзади меня! — крикнул Ахмед, наступая на Тыху.

— В самом деле, что это вы, словно два волка, травите бедненького теленка и гоните его без передышки! — сказал смеющийся Доготлуко. — Он может лопнуть, если не от работы, то от невозможности поговорить. Дадим ему высказаться напоследок. Мхамет, остановись-ка!

— Никогда в жизни я больше не стану косить в ряду с Мхаметом и Ахмедом! Это моя нерушимая клятва! — торопливо заговорил Тыху. — В более тяжелое положение, чем сегодня, я никогда не попадал. Но и большего удовольствия, чем сегодня, я никогда не получал. Одна хорошая думка сейчас у меня в голове — хочу высказать ее.

— Говори уж, посмотрим, что это за думка не дает тебе покоя! — сказал Ахмед, притворясь сердитым и с трудом сдерживая смех.

— Знаете что? Давайте соберемся мы, вот все наши ребята, комсомольцы, в коммуну... — начал Тыху и замялся, боясь, что вот сейчас скажут: «Выдумываешь!» и засмеются над ним. Он замолчал.

Доготлуко вскинул голову и долго удивленно рассматривал Тыху, словно впервые его увидел. Каждый день Тыху был перед ним, этот рыжеватый шумливый паренек, но Доготлуко не знал даже, какие у него глаза. Теперь только заметил, что у Тыху красивые карие улыбочивые глаза, в которых сейчас мечется беспокойный огонек раздумья.

Ребята, озадаченные предложением Тыху, стояли молча и ждали, что скажет Доготлуко.

Доготлуко закурил и задумчиво протянул:

— Это — думка неплохая...

Тыху не дал ему договорить.—едва услышав намек на одобрение, он вспыхнул и понесся в неудержимой скороговорке:

— Подумайте только, какой в этом интерес! О нас будут писать: «Комсомольцы аула Шеджерий организовались в коммуну. Ведут свое хозяйство образцово, являются хорошим примером для трудящихся аула и так далее». Вот такая заметка попадет в «Правду», со всех концов страны приезжают к нам экскурсии: машины нашей коммуны и лошади — лучшие в ауле! Постепенно все бедные приходят к нам. Это прямо кульминация!

— Постой, постой! Слова уж понесли тебя, как лошадь неопытного седока, — перебил его Доготлуко и неторопливо прибавил: — Да, думка твоя неплохая, эту думку я тоже ношу в сердце. Но не так-то легко и быстро можно ее осуществить, как ты думаешь, Тыху. Долгий труд и долгая борьба ждут нас на этом пути. Что скажут родители комсомольцев? Много ли среди нас найдется таких, которые решатся наперекор своим родителям войти в коммуну? А откуда появятся кони, машины? Их же надо заработать! А потом мы еще слишком мало сделали для того, чтобы середняки и даже беднота шли за нами, не слушая Бехуковых...

Так помечтали и поговорили они — маленькая кучка комсомольцев, озаренных мечтой о будущем, — пока остальные парни не кончили вязать скошенную пшеницу и не крикнули товарищам, чтобы косили скорее.

При закате солнца комсомольцы сложили последний

крестец и, выслушав горячую благодарность Амдехан, с песнями двинулись в аул.

Они уже подходили к аулу, когда Тыху, случайно оглянувшись, окаменел на месте: над полем Амдехан вылось к небу множество столбиков дыма и кое-где уже прорвались длинные языки огня.

— Смотрите, что это? — вскрикнул Тыху.

Все разом обернулись. Дым появлялся все в новых и новых местах, и над полем уже образовалась туча, чернеющая на светлом фоне закатного неба.

— Аллах покарал меня! — пронзительно крикнула Амдехан.

Она сразу поняла, в чем дело, и побежала назад, пытаясь в подоле платья. Остальные молча ринулись за ней. Мхамет, делая саженные прыжки, неся далеко впереди.

Когда добежали, половина только что поставленных крестцов уже догорала. Огнем была охвачена часть делянки, обращенная к молодому леску. Комсомольцы оцепили нетронутую огнем половину крестцов и стояли гневные и молчаливые, глядя на немую пляску пылающего перед ними огня.

Доготлуко вышел из цепи и скомандовал:

— Десять человек за мною, остальным оставаться на месте!

Группа отправилась к леску и окружила его, насколько это оказалось возможным. Доготлуко встал возле полевой дорожки.

Так простояли они долго. Наконец в сгустившихся сумерках Доготлуко услышал топот скачущего коня в той стороне, где дорожка уходила в полосу высокой кукурузы. Доготлуко бросился вслед, он окликал и несколько раз выстрелил. Но всадник не свернул с дорожки, и вскоре конский топот заглох вдали по дороге к аулу.

На следующее утро провокационная новость, точно бешеная собака, обежала и взбудоражила весь аул: «Комсомольцы сожгли пшеницу Амдехан». Прихвостни Бехукова старательно раздували эту брошенную кем-то искру лжи. «Разве сброду шалопаев можно доверять уборку хлеба? Бедную, одинокую женщину оставили без куска». — «Пока эти отродья дьявола находятся в ауле, не жди ничего хорошего!» — «Десятина хлеба еще

небольшая беда, а вот у них, говорят, есть тайное решение поджечь главную мечеть аула!»

Хаджи Бехуков, стоя среди стариков, собравшихся возле мечети на полуденную молитву, бросил как бы между прочим:

— Не удивляйтесь, что они сожгли хлеб. Надо удивляться тому, что аул, в котором находятся эти три белых зайца, еще не провалился совсем сквозь землю. Бедную женщину оставили без куска! Надо нам, старикам, оказать ей помощь — все же она несчастна...

Возвращаясь домой после молитвы, Бехуков встретил на улице Амдехан и остановил ее.

— Меня очень огорчило несчастье, постигшее тебя, Амдехан, — сказал он с необычной для него мягкостью. — Что бы там ни было, ты — женщина и одинока. Не надо было доверять уборку своего хлеба этим озорникам. Приходи, захватив с собой мешок, я дам тебе пшеницы. И другие старики, с которыми я говорил у мечети, тоже обещали помочь тебе.

Амдехан стояла, глядя в сторону, настороженно-подобранная. Широкие черные брови ее гневно вздрагивали. Когда Хаджи кончил, она вскинула голову.

— То, что скрывается за вашей добротой и за медом ваших слов, я уже испытала на себе, Хаджи. В твоём хлебе и в твоём сострадании яд! — резко отчеканила она и пошла прочь.

Ошарашенный Хаджи долго глядел ей вслед. Затем, опомнившись, сорвался с места и быстро засеменял, не видя от злости дороги. Время от времени он оглядывался и слал вслед удаляющейся Амдехан ругательства и проклятия.

Доготлуко догадывался о тех, кто направил руку поджигателя. Даже больше — он наверняка знал их. «Но как их уличить?» — думал он в бессильном гневе, ворочаясь на постели без сна. И чем больше он думал, тем больше все перепутывалось в голове. Эти люди могли подослать кого-нибудь из конокрадов или подкулачников. А не то они могли прибегнуть к помощи бандита. Доготлуко знал, что белобандит Дархок, пойманный в районе Краснодара и бежавший, перебрался сюда. Найдя здесь опору среди антисоветских элементов аула, он обосновался в заброшенном лесу и действовал в тесном союзе с ними. Доготлуко уже не раз получал от Дархока угрожающие предупреждения.

Всю ночь Доготлуко не сомкнул глаз. Рано утром он взял с собой Ахмеда, и они отправились в лесок, что стоял возле поля Амдехан. Друзья обшарили весь лес, но никаких следов не обнаружили. Уже собираясь уходить домой, они на одной маленькой полянке нашли свежий конский помет и на примятой траве окурки и стружки. Доготлуко поднял палочку, обстроганную человеком, который здесь лежал и, видимо, скучал. Человек старательно снимал отточенным ножом сплошные полосы стружки, извивавшиеся при этом спиралью, и останавливал их на одном месте таким образом, что они образовывали на палочке кольцо бахромы. Таких колец на палочке было несколько. Доготлуко казалось, что где-то он наблюдал такую именно манеру строгать палочки. Но сколько ни старался, он не мог ничего припомнить. Строгание палочек было обычным занятием, распространенным среди адыгейцев, и у многих оно имело индивидуальные черты. Рука, предоставленная самой себе, бессознательно вырезывает перочинным ножом излюбленные, привычные узоры.

Доготлуко стоял, задумавшись над палочкой, когда его взгляд упал на лежащие в высокой траве путы. Он быстро поднял их и осмотрел. Путы были сделаны изящно, с высеченными замысловатыми рисунками на костяшках.

Нетрудно было догадаться, что такие путы, да еще в такой сохранности, могли быть только у человека, главным вниманием которого было обращено на принадлежности верховой езды, а не на сбрую рабочей лошади...

Доготлуко и Ахмед возвратились в аул.

Доготлуко загорелся надеждой найти человека, смастерившего красивые путы. Но спустя два дня он вынужден был оставить эту затею: надо было спешно отместить провокационные слухи, ходившие по аулу. Он собрал общее собрание аула и разъяснил политические мотивы, руководившие врагом при поджоге пшеницы Амдехан. И еще он сказал о том, что комсомольское собрание постановило возместить Амдехан ее потери...

Мхамет поздно вернулся домой и прошел прямо в конюшню, чтобы задать корм лошадям. Но не успел он подобрать разбросанную траву, как услышал тихий конский топот. Залаяла собака.

Выйдя из конюшни, Мхамет различил среди двора темный силуэт всадника. Смутно виднелась лошадь, крупная и стройная, и плотный седок, сидевший неподвижно, словно приросший к седлу.

Верховой стоял молчаливый и неподвижный, словно призрак.

— Кто это? — крикнул Мхамет.

— Подойди сюда, — сказал верховой по-русски.

Голос был низкий и хриплый, с характерной для адыга мягкостью в произношении. Мхамету показалось странным, почему адыгеец говорит по-русски.

Мхамет нерешительно шагнул вперед.

Все поведение незнакомца и отсутствие в его обращении вежливости возбудили в душе Мхамета смутные подозрения и тревогу. Мельком взглянув в сторону ворот, он заметил там еще одного верхового, скрывавшегося за оградой. Тревога Мхамета усилилась — он быстро осмотрелся, чтобы найти выход на худой конец... Но он был один среди голого двора. Некуда было скрыться и не было под рукой ничего для защиты. «Хотя бы вилы были!» — с тоской подумал Мхамет. Но, выходя, он поставил их в углу конюшни...

— Подойди ближе!

Теперь в голосе ночного гостя сквозили нетерпение, приказ и угроза. Мхамет подошел, но настороженно остановился шагах в десяти.

— Где Доготлуко? — спросил неизвестный.

— Доготлуко где? Дома... — машинально ответил Мхамет.

— Его дома нет. Нам сказали, что он был с тобой.

— Мы только сейчас разошлись, Доготлуко пошел домой, я тоже пошел домой.

— Он только что пошел домой?

Подозрение Мхамета все возрастало. Он уже жалел, что сказал незнакомцу о Доготлуко, и попытался запутать следы:

— Я правду говорю. Доготлуко другой улицей пошел.

Незнакомец помолчал, затем угрожающе произнес:

— Смотри, если Доготлуко не окажется дома, плохо будет тебе!

Круто повернув лошадь и с места взяв рысью, всадник вынесся со двора. За ним последовал и верховой, скрывавшийся у ворот. Едва различимый силуэт его

мелькнул в прогалине ворот, Мхамет заподозрил в нем адыгейца: голова туго повязана башлыком, в талии тонко перетянута, и лошадь не так крупна. Он уловил во втором всаднике ту особую, нарочито небрежную вольность посадки, к которой привык сам. И по тому, как старался тот держаться в тени, Мхамет заключил: «Наш аульчанин. Бойтся быть узанным...»

После того как верховые скрылись, Мхамет, ошеломленный неожиданным появлением странного гостя, растерянно стоял посреди двора. Он был полон неясных догадок и предположений. Его душу щемило сознание невольно совершенной им роковой и, может быть, неправимой ошибки.

И вдруг его обожгла догадка, возникающая с жуткой ясностью и непреложностью: «Бандиты! Убьют Доготлуко!» Он ооченел, холодный пот выступил на лбу. В следующее мгновение Мхамет стремительно сорвался с места и ринулся в темноту.

Он перемахнул плетень огорода и помчался напрямик, через чужие огороды и дворы. Лишь по лаю дворовых собак, поднимавшемуся вслед за ним, можно было определить необычный путь, который совершал он.

Добежав до домика Доготлуко, Мхамет рванул дверь.

— Доготлуко, — задыхающимся, сдавленным шепотом позвал он в темноте неосвещенной комнаты.

— Кто это?

Он услышал вслед за словами звук взведенного курка.

— Я, Мхамет. Выходи скорее!

— А-а, это ты, Мхамет? Что случилось? — спросил Доготлуко, чиркая спичкой.

— Не свети огня! Скорее идем отсюда! — и, не дождавшись ответа, он схватил руку Доготлуко и с силой потянул его из комнаты. Не давая ему времени опомниться, Мхамет потащил товарища на огород, в кукурузу.

— Скажи же толком, что случилось? — нетерпеливо спросил Доготлуко, когда они очутились в высокой чаще кукурузы.

— Сам сейчас увидишь... — прошептал Мхамет, еле переводя дух. — Бандиты тебя ищут, хотят убить.

Прерывистым, тревожным шепотом рассказывая о двух верховых, он напряженно вглядывался в темноту

по направлению к воротам и инстинктивно загораживал собою Доготлуко, словно хотел прикрыть его своим телом.

Когда Доготлуко понял, в чем дело, он, в свою очередь, мягко, но решительно отодвинул Мхамета и с наганом наготове прижался к плетню.

Послышался конский топот. Не доезжая до ворот Доготлуко, всадники остановились у большой вербы, росшей на той стороне улицы. Немного спустя у ворот за плетнем послышался зов:

— Доготлуко!

Голос принадлежал адыгейцу. Конечный звук имени он произнес чисто по-адыгейски, с гортанным придыханием, как не мог бы произнести русский.

Его нельзя было увидеть за плетнем. Подождав немного, всадник повторил свой зов. В напряженном крике было трудно узнать голос человека, однако и Мхамету и Доготлуко показалось, что голос этот они не раз слышали раньше.

Когда зов послышался в третий раз, Доготлуко, целясь на голос, выстрелил два раза подряд и, схватив Мхамета за руку, отскочил вместе с ним в сторону. Тотчас же от ворот загрели один за другим выстрелы. Слышно было, как пули пробивали плетень и щелкали по стеблям кукурузы.

Потом выстрелы оборвались, и установилась напряженная тишина. Доготлуко, оставив Мхамета на месте, стал бесшумно пробираться к плетню, выходящему на улицу. Но его расчеты не оправдались. Неизвестные враги не проявили того упорства, какого он ожидал: едва он успел добраться до плетня, как услышал быстро удаляющийся конский топот. Перепрыгнув через плетень, он дал несколько выстрелов вслед всадникам.

Долго старался Доготлуко восстановить в памяти голос своего неизвестного врага. После рассказа Мхамета о поведении адыгейца, который сопровождал верхового, говорившего по-русски, Доготлуко не сомневался, что это был их аульчанин. Именно потому всадники так хорошо ориентировались в ауле и с легкостью нашли его дом. Доготлуко и раньше подозревал, что кто-то в ауле держит тесную связь с бандитами. Самым подозрительным был Измаил — главарь конокрадов. И теперь Доготлуко все настойчивее думал об Измаиле. Но он никогда не слышал, как кричит Измаил. И все же в те

короткие мгновенья, когда слуховая память произвольно, с предельной ясностью, воспроизводила голос ночного посетителя, Доготлуко все отчетливее казалось, что он улавливает в нем характерные для Измаила мягкие, бархатистые нотки.

Рано утром Доготлуко зашел к Измаилу с тайной мыслью: «А может быть, я его поранил...»

Ему ответили: «Измаил вчера отправился в Инджидж¹...»

Вечером Доготлуко собрал комсомольскую ячейку и поставил вопрос об усилении охранных постов по ночам. Двум комсомольцам он поручил негласно узнать, где находится Измаил, и проследить за его домом и за людьми, посещающими его. Он зашел также к Амдехан и попросил ее прислушаться к тому, какие разговоры ходят среди женщин о ночной стрельбе, и особенно — если будет упоминаться в связи с этим имя Измаила.

Но ни комсомолы, ни Амдехан не смогли отыскать никаких следов Измаила. Похоже было на то, что он действительно находился в отъезде.

Глава двенадцатая

Спустя неделю после той ночи, когда произошла перестрелка, неизвестный всадник, вооруженный до зубов, стремительной рысью влетел в аул и подъехал к аулсовету. Привязав коня к коновязи, он, не обращая внимания на стоящих у крыльца, прямо вошел в Совет. Коренастый, плотно сколоченный, он ступал крепко и уверенно, не поднимая головы, посаженной на короткой толстой шее. В сумрачном взгляде его серых, буйволиных глаз чувствовалось что-то озверелое. Все расступились перед ним, пристально, в упор рассматривая его.

— Доготлуко здесь? — спросил незнакомец, входя в кабинет председателя.

Председатель побледнел, выронил ручку, которой собирался подписать какую-то бумажку, и, не отрывая от прищельца испуганных, широко раскрытых глаз, медленно и растерянно поднялся из-за стола.

— Доготлуко поехал на район, — еле выговорил он.

¹ Инджидж — теперешняя Карачаево-Черкесская автономная область.

Тыхуцук, оказавшийся среди присутствовавших, почувствовал недоброе и попытался незаметно выскользнуть.

— Куда идешь? Никому не выходить отсюда! — крикнул пришелец, выхватывая наган и загораживая дверь.

— Я — Дархок! — сказал он, злорадно следя за тем, как все притихли от этих слов. — Так вот — никому не трогаться с места, а то... крепко поссоримся... — прибавил он издевательски. На бескровных, обветренных губах его застыло какое-то подобие улыбки.

Все знали это страшное имя, и оно произвело на присутствующих парализующее действие. Со страхом и любопытством уставились они на посетителя.

— А комсомольцы здесь есть? — спросил Дархок.

Расгербанный председатель указал ему на Тыхуцука и на другого паренька.

Дархок выгнал всех на крыльцо, закрыл дверь, хлестнул Тыху плетью и крикнул со злобной яростью:

— Если не оставите ваши комсомольские дела, то я не так еще разделаюсь с вами! — Дархок с брезгливостью разглядывал своих жертв. — Доготлуко передайте, что с ним я еще встречусь и расправлюсь совсем по-иному. А это — чтобы вы лучше помнили мои слова, — прибавил он и еще раз с силой хлестнул плетью Тыху.

— Не трогаться с места, пока я не выеду из аула! А то вы потанцуете у меня... — крикнул он, уже сидя на коне, и не спеша, шагом скрылся за поворотом улицы.

Вечером того же дня комсомольцы обсуждали случившееся. Тыхуцук, принимая угрюмую серьезность товарищей за осуждение его, оправдывался с жаром и гневом:

— Я мог и я думал броситься на него, но один я не справился бы с ним, а рассчитывать было не на кого. На председателя, что ли, надеяться, когда он с такой готовностью выдал нас...

Ребята не упрекали и не оправдывали его. Тыху пытался оправдаться перед самим собой. Встреча с бандитом получилась такой нелепой и смешной... А сколько времени он мечтал о таком именно случае, когда можно было бы проявить героизм, и в каких героических положениях видел он себя... А что получилось...

...Охранные секреты были усилены. В них участвовали и некоторые ребята из примыкающего к комсомолу актива. Доготлуко установил военный порядок. Ввел па-

роль. Расстановку секретов делал сам. В случае тревоги в одном месте остальные секреты не имели права покидать свои посты. Для помощи, на случай сигнальных выстрелов или тревоги, было установлено ночное дежурство особой группы из трех комсомольцев во главе с Доготлуко. Упорядочили и дневные дежурства при аул-совете.

Следующая неделя прошла без особых приключений, если не считать того, что были задержаны и отправлены в район несколько подвод с контрабандным табаком.

Но однажды ночью на той стороне аула, где в секрете стоял Ахмед, внезапно вспыхнула перестрелка. Доготлуко с дежурными комсомольцами бросился туда. Он услышал последний одинокий выстрел, и перестрелка прекратилась.

Добежав до места, Доготлуко окликнул Ахмеда. Ответа не было. Доготлуко произнес пароль в темную мглу, крикнул еще раз, но кругом была глубокая тишина.

У Доготлуко от страшной догадки замерло сердце. Он остановился, прислушался. На том месте, где должен находиться Ахмед, было безмолвие. Лишь где-то недалеко, встревоженные выстрелами, взланивали собаки. Доготлуко сказал товарищам, чтобы они стали по двум сторонам улицы возле плетней, а сам направился к секрету, где был поставлен Ахмед. Ахмеда там не было.

Застыв, Доготлуко простоял несколько секунд и крикнул: «Ахмед!» в невыразимой тоске и страхе за жизнь товарища. Крик канул во мрак, как камень, брошенный в бездонную пучину. Вдруг недалеко от себя он услышал глухой, точно вырвавшийся из-под земли, стон. Не помня себя, Доготлуко бросился туда. Пробежав несколько десятков шагов, он споткнулся о что-то мягкое и тяжелое. Похолодев, он остановился. В нем еще теплилась надежда. Пересиливая себя, он нагнулся и сразу нащупал рубчатую шероховатую рубашку Ахмеда. Сколько раз он ощущал раньше ее в дружеских потасовках!

Ахмед лежал лицом вниз, крепко вцепившись раскинутыми руками в траву. Он издал глухой протяжный стон и сделал судорожное усилие подняться, но, заскрежетав зубами, рухнул снова. Доготлуко с трудом повернул его вверх лицом и положил к себе на колени.

— Идите сюда! — крикнул он упавшим голосом. Безмолвно стояли подошедшие ребята, нагнувшись

над ними, а Доготлуко, бережно поддерживая непомерно отяжелевшую голову Ахмеда, громко звал друга, словно тот находился далеко-далеко:

— Ахмед! Ахмед! Ты не узнаешь меня? Я Доготлуко, я около тебя...

Наконец Ахмед, словно вырвавшись из объятий тяжелого сна, тяжело захрипел:

— Доготлуко?

— Я здесь, Ахмед, я около тебя...

— Они знали наш пароль... предатель есть среди нас... — произнес Ахмед с большим усилием и снова потерял сознание.

Так, хрипя, он пролежал еще несколько минут. Затем судорожно вытянулся во весь рост и замер...

Ахмеду устроили гражданские похороны. Приехали все комсомольцы из соседней станицы. Доготлуко сказал над могилой друга:

— Товарищи! Вы знаете всю справедливость дела, за которое мы боремся, вы видите, что борьба наша нешуточная, — это борьба не на жизнь, а на смерть. Тот, которого мы хороним сегодня, был одним из передовых людей, высоко державших славное знамя комсомола в нашем ауле. Он отдал жизнь, стоя на своем посту. Ахмед... — Доготлуко запнулся, наклонил голову, с силой проглотить душившие его слезы, и тихо прибавил:

— Прошу вас, не осудите меня за эту слабость. Трудно мне перенести смерть Ахмеда. Я не знал ни отца, ни матери, не знал тепла родительской ласки. Ахмед заменил их мне теплом своего дружеского сердца. Не забыть мне никогда его прекрасных мечтаний о скором светлом будущем... — Доготлуко запнулся еще на несколько мгновений, затем резко вскинул голову и закончил окрепшим голосом: — Дорого поплатятся враги за жизнь нашего Ахмеда...

В течение нескольких дней после похорон Ахмеда Доготлуко находился в каком-то полузабытьи. Он не вздыхал и не плакал, но трудно было добиться у него прямого ответа на что-нибудь. Иногда необычайным усилием воли на короткое время он выходил из этого оцепенения. Но он и делал и говорил все с безразличием, словно это невыразимо тяготило его, стало каким-то побочным, неважным делом по сравнению с той тяжестью, которая угнетала его душу.

Он нигде не находил спокойствия, не мог высидеть и

получаса на месте. Заходил в аулсовет, садился, но тотчас же уходил и бесцельно бродил в сопровождении Тыху, который следовал за ним безмолвной тенью.

Доготлуко по несколько раз в день возвращался в домик Ахмеда на окраине аула, словно непреодолимая сила вновь и вновь влекла его туда. Не произнося ни слова, он садился возле кровати, где была аккуратно сложена одежда Ахмеда, тихо гладил ее рукой, слушал, все так же молча причитания матери Ахмеда. Затем он поднимался, подходил к шичепшину Ахмеда, висевшему на стене, трогал пальцами струны, прислушивался к мягким, жалобным звукам, и из глаз его безудержно лились слезы...

Забрел он как-то и к Устаноковым.

Нафисет, заведя в окно Доготлуко, стремительно выбежала ему навстречу и, вместо утешения, сама с плачем повисла у него на плече. Войдя в комнату, Доготлуко выслушал, словно досадную формальность, соблезнования Куляц, ничего не ответил, с горестным вздохом сел у окна и уставился застывшим взглядом во двор. Нафисет, всхлипывая, стояла возле него.

Недолго усидел и здесь Доготлуко. Встав, он взял Нафисет за плечи, долго и пристально вглядывался в залитые слезами ее глаза и произнес торжественно:

— Именно такого участия я и ожидал от тебя, сестренка моя. Отныне я считаю тебя родной своей сестрой.

Он прижал на секунду голову Нафисет к груди и ушел.

Между тем враг, притихший было после убийства Ахмеда, опять зашевелился. По аулу пошли разговоры: «Одного загубили и теперь готовятся собрать людей и повести их с голыми руками против страшного бандита, которого и пуля не берет...»

Как-то вечером в одной из кунацких в присутствии Доготлуко возник разговор об этом же. Аульчане с жаром бросали укоры Доготлуко, обвиняя его в сумасбродной затее.

Доготлуко принял эти разговоры как надругательство над памятью об Ахмесе. Опаленная горем душа его воспрянула от негодования. Ненависть к врагам и презрение к суеверным трусам, предлагающим сложить оружие перед опасностью, вернули ему жажду борьбы и деятельности. Но он не стал вступать в пререкания и покинул кунацкую с бурей в душе. Всю ночь он пробро-

дил по аулу и по берегу реки. Утро он встретил с твердым решением.

Он позвал Тыху и сказал:

— Тыху, я решил сегодня ночью идти в лес искать Дархока. Я хочу доказать, что наша пуля возьмет Дархока. Это очень важно сейчас, потому что враги пытаются вселить суеверный страх и обессилить нас. — Он нетерпеливо махнул рукой и прибавил дрогнувшим голосом, глядя в сторону: — Да и не могу я больше... Не могу не отплатить за Ахмеда... Так вот, если кто спросит обо мне, скажи, что я уехал в Краснодар.

— Как, ты хочешь пойти один? — возмутился Тыху.

— Я думал об этом и решил, что лучше пойти одному. Дархок уходил и не от таких отрядов. У нас мало оружия, еще меньше патронов. А Дархок меткий стрелок. Безопаснее и сподручнее идти одному.

— Тогда я пойду с тобой! — решительно заявил Тыху.

— Нет, один я свободнее буду себя чувствовать. К тому же очень важно, чтобы ты оставался здесь, иначе у них может возникнуть подозрение.

— Нет, все-таки я не отпущу тебя одного. И если ты один пойдешь, даю ленинское слово, соберу всех комсомольцев и поведу их вслед за тобой, — упрямо стоял Тыху на своем.

— Ну, хорошо, — сдался Доготлуко. — Тогда мы скажем Мхамету, куда идем.

— Вот и хорошо, — обрадовался Тыху, — должок за Дархоком и у меня числится.

Глава тринадцатая

После захода солнца Доготлуко и Тыху вышли из аула и направились по накатанному шляху, идущему в районный центр.

По обе стороны дороги расстилалось голое жнивье, окрашенное догорающим светом заката в темно-лиловый цвет. Даль терялась в бурой мгле сгущающихся сумерек. Безлюдная, угрюмо-молчаливая степь, казавшийся безлюдным аул, притихший вдаль, — все было объято тревогой наступающей ночи.

Отходя от аула, Доготлуко и Тыху добрались до места, где дорогу пересекала неглубокая балочка. Доготлуко прыгнул в нее. Тыхуцук последовал за ним.

Круто повернув влево, они пошли волчьим порядком, рысцой, один по следам другого, слегка пригибаясь. Они хотели как можно скорее удалиться от проезжей дороги. Эта предосторожность была необходима. Доготлуко знал, что у бандитов в ауле немало ушей и глаз.

Вскоре со стороны дороги, которую они только что оставили, послышался конский топот. Два друга прилегли к краю балки, зорко высматривая едущего верхового. На фоне бледно-оранжевого небосклона четко вырисовывался силуэт. Верховой счал спокойным размашистым шагом из аула к районному центру. Доготлуко не заметил в нем ничего подозрительного.

Они следили за верховым, пока тот не проскакал балку и не потерялся в темноте, и потом двинулись дальше.

Уже было темно, когда они через густо разросшийся вербняк вышли к реке.

Сейчас река показалась Тыху не такой, какой она была, когда он приходил сюда купаться. Нет, это совсем другая река, какой он не видел ее никогда. Ощетинившаяся и грозная, она предостерегающе преградила им путь. Темная, буйная, она неистово ревела, взбешенно обдавая холодными брызгами, ненасытно рычала, проглатывая огромные куски подмытого и обвалившегося берега.

Своевольная река в беге распорядилась, как хотела, низкими берегами, меняла русло, размывала в одном месте грунт и наслаивала его в другом, разбивалась на множество рукавов, образуя продолговатые островки. Эти островки, никем не тронутые со времени гражданской войны, густо поросли лесочками. Вдали, за рекой, больше чувствовался, чем виднелся, темный вал большого леса. Он навевал на Тыху еще более жуткие ощущения.

Туда уже давно не ступала человеческая нога. Бывший аульский лес, куда раньше каждый день ходили ребяташки за кислицей и дикими грушами, теперь превратился в заброшенное место. Много разных слухов ходило про этот лес — будто там живут медведи и даже чудовищные змеи и драконы. До сих пор Тыху не верил этим слухам, соглашаясь с мнением Доготлуко, что все это лишь выдумка врага, отпугивающая суеверных людей от убежища бандитов. Но теперь он готов был поверить всему.

Оторванные от людского жилья, одинокие, стояли они

на берегу реки. И в лесу, где они сейчас находились, и за кустарниками, разбросанными меж рукавов реки, — всюду, казалось Тыху, таилась неведомая опасность. Кто знает, за каким из кустов или деревьев скрывается бандит? И один ли он? Если не один — то много ли их там?

Вся героическая окраска похода померкла в глазах Тыху. Множество недобрых предчувствий теперь волновало его.

«А что, если бандиты получили донос о нашем намерении? Они могут подстеречь нас за любым кустиком. Да и нелегко перебраться ночью через грозную реку. Даже днем, когда можно различить брод, трудно переходить ее, а ночью... Стоит только немного уклониться от переката, как очутишься в водовороте...»

Мужество покидало Тыху. Он тронул за рукав Доготлуку, который был поглощен определением брода по характеру течения и по шуму воды, и тихо сказал:

— Не надо было нам выходить. Одним идти... неразумно...

Доготлуку внимательно посмотрел на Тыху, ответил мягко и грустно:

— Я же тебя просил не ходить со мною. Лучше, если ты вернешься, Тыху. Я один буду меньше связан, свободнее буду действовать. Вернись, прошу тебя!

Тыху, потупившись, постоял некоторое время и с врезанной твердостью и решимостью сказал:

— Идем!

Для Доготлуку река была одинакова и днем и ночью. Свои детские годы он провел в поле, в лесу и около реки. Он отлично знал все ее капризы и безошибочно мог определить брод. Конечно, нелегко было одолеть бешеный поток, а выбирать и искать брода более мелкого и удобного было некогда. Он решительно вступил в реку и двинулся вперед. Ему приходилось поддерживать малорослого товарища, чтобы река не унесла того, как щелку.

Перейдя реку, они залегли у щебнистого откоса и долго лежали, прислушиваясь, не обнаружили ли они себя шумом воды и звоном гальки при переправе. Но не слышалось ни одного подозрительного звука. Лишь невидимые летучие мыши с писком летали над ними да дикий гортанный крик цапли оглашал тишину.

Опушку леса, по которой два друга пошли дальше, они не могли узнать, словно это совсем незнакомый

лес, — так он разросся. Бывшее пастбище аульского скота заросло бурьяном в рост человека, кругом темнел густой ивняк, то и дело попадались кущи деревьев и кустов, которых раньше не было. Множество балочек, промытых дождями и полыми водами, затрудняли движение, и даже Доготлуко ориентировался с трудом.

У Тыху, которому впервые приходилось испытывать все напряжение такого похода, нервы были натянуты до предела. Несмотря на все старания, ему не удавалось сохранять спокойствие, и шел он суетливо, почти с панической поспешностью, не разбираясь в пути. Тыху почти бежал за Доготлуко. Ветки, хлеставшие по лицу, приводили его в бешенство, он, как разъяренный бычок, готов был остановиться и яростно драться с кустами. Он спотыкался обо все кочки и рытвины, а один раз упал в глубокую выбоину. Доготлуко бросился к нему, схватил за шиворот, как котенка, и встревоженным шепотом спросил:

— Ничего не повредил?

— Нет, ничего... Что за чертовы места!.. — проговорил Тыху в сердцах, отплевывая песок. Нотки обиды, гнева и жалобы слышались в его голосе.

— Присядем-ка здесь, отдохнем немного, — сказал Доготлуко, мягко беря за плечи Тыху и усаживая его. И после того, как они некоторое время посидели молча и Тыху немного приостыл, Доготлуко сказал спокойно и поучительно:

— И к ночным походам надо привыкать. Если выпустишь повод нервов из рук, каждый встречный куст и каждая рытвина окажутся опаснее врага. Невинная ветка оставит без глаз, а в пустышной яме свернешь шею. Тут дело совсем не в трусости и не в храбрости. Надо хорошо владеть своим сердцем. Во всяком случае, запомни. Тыху: если сохранишь хладнокровие, то ночь окажется безопаснее дня.

Тыху понял. Доготлуко, хотя и не сказал прямо, но ясно намекнул, что он, Тыху, струсил. Эта мысль поразила Тыху, и он мгновенно отрезвел.

«На самом деле, я стал невменяемым... Конечно, я показал себя трусом. Но еще посмотрим!..»

С этой минуты Тыху уже не чувствовал ни огорчения, ни досады за свою незадачливость, ни пристыженности перед Доготлуко. Он молчал, переполненный внезапно нахлынувшей волной благодарности и любви к старше-

му товарищу. В той встревоженной стремительности, с которой Доготлуко бросился к нему на помощь при падении, и в приглушенном шепоте, вырвавшемся у него, Тыху почувствовал теплоту души и заботу. И еще больше он был тронут чуткостью, с которой Доготлуко пытался внушить ему мужество.

Сознание Тыху за одну минуту как бы сделало скачок в своем развитии, и он понял многое, над чем раньше не задумывался. И образ Доготлуко вдруг проявился перед ним в ореоле всех чистых, ясных и правдивых побуждений, в цельности его поступков, его борьбы, во всем своем обаянии. Только теперь Тыху постиг самозабвенную, братскую готовность Доготлуко прикрыть собою каждого комсомольца от удара врага.

«Как родной брат! — мелькнуло у Тыху сравнение. — Нет, лучше родных братьев!» — добавил он, вспомнив о своих двух старших братьях, до мозга костей проникнутых обычными родовыми пережитками...

Добравшись до леса, друзья некоторое время шли по опушке. На углу большой поляны, вклинившейся треугольником в лес, они присели у корня большого дерева.

Теперь Тыху узнал эти места. Дорога, идущая через лес в соседнюю станицу, раньше проходила по этой, так называемой «Длинной поляне».

— До рассвета здесь посидим, — сказал тихо Доготлуко, удобнее располагаясь у корня дерева. — Если кто-нибудь будет двигаться между аулом и станицей, с этого места будет заметно...

Так просидели они около получаса, ничего не видя и не слыша. В лесу пахло прелью, густая тишина нарушалась лишь шелестом падающего листа да изредка — трепетом крыльев оступившейся на ветке птицы. А вдоль опушки и на поляне стояло немолчное стрекотание, которое еще более подчеркивало тишину.

Вдруг завыл волк. Немного спустя к нему присоединился другой. Им тотчас же ответили еще двое. Они начали с неуверенных, коротких завываний, словно настраиваясь, потом завывали душераздирающим хором.

Для Доготлуко вой волков был привычным звуком, сопровождающим одиночество его детства, проведенного в степи и в лесах. Но каждый раз он вызывал в нем невольное грустное раздумье.

«Что оплакивают они? Если не знать волчьей приро-

ды, можно подумать, что это — плачущие жертвы, которые терпят весь гнет несправедливости мира..»

Тыху впервые слышал волчий вой в такой близости. Издали это было схоже с воем дворовых собак. А вблизи — оказалось совсем другое. Основной трагический лейтмотив тягучей жалобы, слышной издали, здесь сопровождался нотами жестокости, кровожадности. Одно и то же животное, как скрипач, извлекающий звуки одновременно из нескольких струн, странным образом вело все эти разной высоты звуки параллельно и одновременно. Непрерывные высокие ноты как бы сопровождались разнотонным, низким гобоем. Этот чудовищный хор одного и того же голоса то поднимался до необычайной силы, то ослабевал, почти угасая, чтобы затем опять, без передышки, возобновиться с новой силой. Его сопровождали лай, визг и лясканье, словно волк кусал свой же звук.

Тыху, потрясенный, слушал не дыша...

Доготлуко понимал, что творится в душе Тыху. Нагнувшись к нему, он шепнул:

— Волки чувствуют себя в безопасности. И если они сделали этот лес местом сбора перед ночными вылазками в степь, значит, на этой дороге редко показываются люди.

Тыху ничего не ответил. Но человеческий голос вернул его к действительности и успокоил. Облегченно вздохнув, он уселся свободнее.

Друзья провели всю ночь на опушке поляны. На рассвете они начали свою необыкновенную охоту. Тот, кого они выслеживали, был куда опаснее самого страшного зверя: это был человек, превратившийся в хищника, и это был зверь, который в совершенстве владел оружием и без промаха бил в цель, которую глаз едва мог посадить на мушку.

Доготлуко решил по возможности избежать открытой перестрелки — кто знает, увидят ли они Дархока одного или с сообщниками. Да и патронов было мало — у каждого по полному заряду нагана, и только.

Прежде всего они двинулись в большой лес и основательно обшарили его. Но ни человеческих следов, ни мест привала не было обнаружено. Заросший лес превратился в непролазную чащу. Поляны и давно не сжженные дороги буйно поросли травой и терновником.

Солнце было уже высоко, когда они, выйдя из боль-

шого леса, перешли речонку и вошли в «мягкий» лес — в густую поросль мелких деревьев мягких пород, над которыми возвышались редкие гигантские вербы и белолистики. Вся эта чаща деревьев и кустарников, повитая внизу рослой травой и ежевикой, перемеживаемая частыми, заросшими полянками, являла собою причудливую картину. Иссиня-темная зелень ольхи, густо окрашенные кудрявые кусты калины, опаловое марево зарослей тала, темная, почти черная, щетина колючек и охряные гроздья плодов облепихи, ворохи изумрудной зелени хмеля, ослепительная зыбь трепещущих от легкого ветерка листьев белолистики, черный, в белых крапинках, муслини кустов чернойгодника, молодые побеги сведины, на раскраску которых природа отдала все свое искусство, пепельная зелень дикого винограда, густо обвивающего купы деревьев, — все это, ярко переливаясь под лучами августовского солнца, представляло в каждом новом уголке и на новой поляне такую игру цветов, перед которыми тускло человеческое искусство.

Доготлуко особенно любил эту часть аульского леса. И когда он очутился здесь, куда часто ходил с Ахмедом, его охватила боль об утрате друга. Ощущения могучей красоты леса и нестерпимой боли смешались в нем, и он неподвижно стоял со странной улыбкой.

— Давай обсушимся здесь и посидим немного, — сказал Тыху, пытаясь отвлечь Доготлуко от его мыслей.

— Хорошо, давай, — безразлично ответил тот.

Они выжали брюки от росы, поели сыра с хлебом и двинулись дальше. Местами невозможно было разглядеть, что находилось в двух метрах. Они шли по старым заросшим лесным дорожкам, по желобам, промытым ручьями дождевой воды, по звериным тропкам. Чаше стали встречаться одинокие лошадиные следы. Они встретили несколько старых пепелниц с разбросанными вокруг них клочками бумаги. Но других признаков присутствия человека не обнаружили.

Так они пролазили по лесным дебрям весь день. К вечеру, когда оба друга уже считали свои усилия напрасными и подумывали о возвращении, они вдруг набрали на свежий лошадиный след и пошли по нему. Некоторое время след тянулся по старой лесной тропе, затем, круто повернув по бездорожью, направился в чащу; по примятой траве видно было, что лошадь прошла здесь не так давно.

След завел друзей далеко в глубь чащи. Вдруг Доготлуко, шедший впереди, предостерегающе поднял палец и остановился прислушиваясь, Тыхуцук тоже застыл на месте.

— Кажется, лошадиный храп... — тихо сказал Доготлуко.

Минуты три простояли они, напряженно прислушиваясь. Послышался отдаленный, еле уловимый всхрап лошади. Оставив след, с наганами наготове, они стали осторожно пробираться по этому звуку, который повторялся время от времени.

Вскоре они стали различать удары копыт о землю. Наконец чащу прорезало ослепительными просветами — перед ними была поляна, с которой уже отчетливо доносились звуки, не оставляющие никакого сомнения: там паслась лошадь.

Осторожно раздвинув листья, Доготлуко выглянул. Посреди большой поляны стоял великодушный гнедой конь, привязанный длинной веревкой. Кроме лошади, на поляне ничего и никого не было.

Тыхуцук, томимый ожиданием, не вытерпел, подполз сбоку и тоже выглянул. Но увидев гнедого коня, он схватил Доготлуко за руку и, забыв о всякой осторожности, вскрикнул:

— Конь Дархока!

Он не договорил — ладонь Доготлуко закрыла ему рот.

Тыху окаменел, устранившийся собственным голосом, а Доготлуко тотчас же устремил глаза на поляну. Долго сидели они затаив дыхание. Но на поляне никого не было, кроме коня, который перестал жевать и стоял, насторожив уши. Наконец оба друга облегченно вздохнули, и Доготлуко, отвернувшись от своего наблюдательного окошка, вопросительно посмотрел на Тыху. Возбужденный Тыху скороговоркой шепнул на ухо Доготлуко:

— Конь Дархока! Факт! Как только взглянул, сразу узнал. В тот день, когда он хлестнул меня, он был на этом гнедом.

Глава четырнадцатая

Друзья просидели до вечера, наблюдая за конем и поляной. Однако никто не появлялся. Продежурили и ночь, засыпая по очереди. И ночью никто не пришел.

Утром они съели остатки провизии. Тыху предложил было обшарить окрестности поляны, но Доготлуко не согласился.

— Нет. Пусть он не видит наших следов. Если мы еще начнем бродить по окрестностям, он наверняка обратит внимание. Он осторожен, как матерый волк. Лучше сделать так: перейдем и засядем в том выступе леса, ближе к коню. Придет же кто-нибудь к коню!

Они переменили место. Новая засада была лучше: отсюда видны все уголки поляны.

Солнце уже давно перевалило зенит. Вынужденная неподвижность становилась невыносимой. Нервы, уставшие от томительного ожидания, напряглись до предела. Хруст ветки заставлял настороженно вздрагивать, тревожный крик птицы будил трепетную надежду — «наконец-то»... Но снова никто не появлялся. Особенно тягостно было ожидание для непоседливого Тыху. Голод давал себя чувствовать. Но больше всего мучила жажда — воды поблизости не было.

И конь, не пивший почти целые сутки, давно перестал пастись и стоял понуро, с увядшими ушами.

Ребята все больше склонялись к мысли увести лошадь и вернуться домой. В конце концов так и решили: если до заката солнца никто не покажется, уйти, захватив с собой лошадь.

Мучительно медленно сползало солнце до высоты большой осины, росшей на другой стороне поляны, и постепенно скрывалось за ее верхушку. Тень дерева перекинулась, как мост, через поляну.

Вдруг ребята увидели, как конь встрепенулся и, заострив уши, начал напряженно вслушиваться. Они удвоили бдительность, глядя в ту сторону, куда смотрел конь. С дерева по ту сторону поляны стремглав слетела сойка, оглушив лес встревоженным криком. Доготлуко сосредоточил внимание на этом деревце.

Спустя некоторое время, показавшееся Доготлуко бесконечно долгим, в густом зеленом окаймлении поляны как будто шевельнулась ветка — и снова все застыло. Доготлуко уже решил, что движение ветки ему просто померещилось. Однако спустя еще немного та же самая ветка отодвинулась и показалась человеческая голова в серой каракулевой шапке. Конь громко заржал, голова быстро скрылась обратно в ветвях. Затем снова показалась. Наконец, человек вышел из чащи.

Доготлуко никогда не видел и не знал в лицо Дархока. Но Тыху, как только увидел его, возбужденно сжал локоть Доготлуко.

Невысокий, плечистый человек остановился на опушке. На нем была не то короткая зелিমханка, не то бешмет темно-синего цвета. Через плечо висел кавалерийский карабин, и с правого бока виднелась деревянная кобура маузера. Несколько патронташей из желтой кожи опоясывали крест-накрест его грудь.

Он внимательно осмотрел поляну и прислушался. Затем осторожно пошел вдоль опушки, присматриваясь, словно ища чего-то, — скоро вынес на поляну перевязанное седло. Он положил его на землю возле лошади, совсем близко от того места, где притаились Доготлуко и Тыху. И когда Дархок сел на корточки спиной к ним и стал развязывать седло, Доготлуко бесшумно выскользнул из чащи. Почти в одно и то же мгновение конь испуганно всхрапнул и шарахнулся в сторону. Дархок быстро вскочил и схватился за кобуру маузера, а Доготлуко крикнул, направляя наган на бандита:

— Руки вверх!

В голосе Доготлуко и в той неподвижной твердости, с которой черный глазок нагана смотрел в переносицу Дархока, было столько неумолимой ненависти, что бандит оторопело застыл на месте, и рука его, занесенная было над кобурой маузера, медленно сползла и безвольно повисла.

— Руки вверх! — крикнул Доготлуко еще более сурово. — Уложу на месте, бандюга!

Дархок медленно, как огромную тяжесть, поднял руки. Доготлуко, не оборачиваясь, крикнул:

— Тыху, выходи! — а сам шагнул ближе к Дархоку.

Как ни опасен был момент, требовавший предельного напряжения и бдительности, все же Доготлуко с любопытством, неподвластным сознанию, рассматривал бандита, его широкое, слегка тронутое оспой, скуластое, одичавшее лицо, густые подстриженные усы, серые, вытарашенные, как у буйвола, крупные глаза, в которых мечутся коварные зеленые огоньки. После тяжелого ошеломления Дархок уже пришел в себя, и в этих мечущихся зеленых огоньках и в неотрывном взгляде отражалось все напряжение зверя, готовящегося к прыжку. Он выжидал малейшей оплошности со стороны Доготлуко. Поднятые руки, с толстыми обрубками пальцев,

поросших волосами, торчали в воздухе нелепо и смешно.

Из-за спины Доготлуко показался Тыху. Как только Дархок увидел его, подстерегающее, вороватое выражение на его лице сменилось изумлением, и густые брови скакнули вверх. Чуть заметная ироническая улыбка пробежала по его губам.

— А-а, старый знакомый! — произнес он с деланно-невозмутимым спокойствием.

— Да, знакомый! Хороший знакомый долг не забывает... — ответил Тыхуцук.

— Ничего, молодой знаком, я тоже в долгу не останусь...

Дархоку показалось, что бдительность его противников слабела... Правая рука бандита рванулась вниз. Однако Доготлуко заметил это движение и крикнул:

— Смирно стоять! Повернись спиной! — Вслед затем он гневно оборвал Тыху: — Не вступай в разговор с ним! Малейшее движение — стреляй!

Очень неохотно, медленно Дархок повернулся. Доготлуко подошел к нему, подвел перочинный нож под широкий армейский ремень и перерезал. Пояс вместе с патронташами и маузером упал в траву. Затем он снял карабин и убрал все оружие подальше. Вынул из кармака веревку, крепко скрутил руки Дархоку.

Когда Доготлуко, собираясь оседлать лошадь, нагнулся над седлом, он заметил привязанные к нему путы. Ему показалось, что это те самые путы, которые он нашел в лесочке, у озимого клина Амдехан. Но, внимательно рассмотрев, он увидел, что эти более изношенные. Однако он немало удивился сходству характерного рисунка застежных косточек и других неуловимых признаков, которые оставляет манера мастера на каждой сделанной им работе. Доготлуко хорошо знал, что эти творческие особенности каждого мастера — манера обтачки кожи, своеобразие узлов, какие-нибудь излюбленные рисунки, оттискиваемые костяными штампами, даже характер обрезки концов ремня, — четко запечатлеваются на мелких принадлежностях верховой езды, с особенной тщательностью и любовью выделяемых адыгейцами.

Доготлуко занимало в данном случае не то, что эти путы были сделаны адыгейским мастером, а то, что они, по всем признакам, вышли из одних рук. А это было очень важно: человек, поджегший пшеницу Амдехан, и

этот бандит обслуживались одним и тем же шорником...

Ничего не говоря, Доготлуко сложил путы и сунул их в карман. Затем он оседлал коня, посадил на него верхом Тыху, сам же взял конец веревки, которой были скручены руки Дархока, и, заставив его идти впереди себя, тронулся в обратный путь.

Они не рискнули привести грозного бандита в аул, где у него, несомненно, были друзья, а в ту же ночь напрямик, без дорог повели его в район.

Доготлуко не хотел вручать Дархока в руки второстепенных лиц. Но уполномоченного ОГПУ не было в районе. Он решил передать Дархока лично начальнику угрозыска. Начальник оказался у себя на квартире. Доготлуко потребовал, чтобы дежурный милиционер позвал его.

Милиционер скоро вернулся и передал слова начальника: «Арестованного — в тюрьму, завтра разберемся».

Тогда Доготлуко открыл, кого они привели, и еще раз потребовал, чтобы начальник явился сам.

На этот раз пришлось ждать довольно долго. Наконец из темноты появилась тщедушная фигура начальника. Не обращая никакого внимания на Доготлуко и Тыху, он, — словно речь шла не о знаменитом, остававшемся до сих пор неуловимым бандите, — небрежно сказал милиционерам:

— Арестованного заключить в тюрьму, а лошадь поставить в конюшню.

Не удостоив даже взглядом парней, ошеломленных равнодушием, он ушел к себе. Оба друга остались стоять посреди двора, не зная, что предпринять.

Четыре милиционера увели Дархока в глубь двора. А гнедого коня взяли в конюшню. Вернувшись, милиционеры с нескрываемым восхищением окружили странных ночных гостей, которые одни привели на поводу страшного бандита. Товарищеская теплота, одобрение и уважение чувствовались в их живом интересе к тому, как и где поймали бандита. Но друзья, взбешенные отношением начальника, бессознательно распространяли и на них свою обиду и отвечали на их расспросы холодно и односложно.

— Спроси-ка начальника, будет ли он писать акт о приеме бандита? — угрюмо обратился Доготлуко к дежурному.

Милиционер с готовностью исполнил просьбу и скоро показался на крыльце.

— Заходите!

Щуленский рыжий человечек сидел за большим ободраным конторским столом. Лицо у него было сильно помято, под глазами темнели синеватые отеки, словно куски слоеного теста. Мельком взглянув на парней, он снова опустил голову, делая вид, что поглощен чтением какой-то бумажки.

Тыху остался у дверей, а Доготлуко прошел дальше и остановился у стола. Так простоял он некоторое время, молча смотря на уткнувшегося в бумажку начальника. Затем спросил его:

— Ну что ж, товарищ начальник, акт будете писать?

Начальник поднял голову, словно сейчас только заметил присутствующих, и некоторое время молча рассматривал Доготлуко. Затем небрежно откинулся на спинку стула, вытянул ноги под столом и не спеша извлек из кармана серебряный портсигар. Сунув длинную, дорогую папиросу в рот, он наконец заговорил, не спуская с Доготлуко ледяного взгляда:

— Да, собираюсь составлять протокол на вас обоих!..

— За что же это? — вырвалось у Доготлуко, не ждавшего такого оборота дела.

— А за то, чтобы вы не в свое дело не совались, — отчеканил начальник, резко выпрямляясь на стуле.

— Как это так? Разве борьба с бандитами не дело каждого гражданина Советской страны?

— Да. Но их обязанность состоит также и в том, чтобы не мешать оперативным планам тех, кому этим надлежит заниматься.

— Где же был твой «оперативный» план, когда все это время Дархок безнаказанно хозяйничал в нашем районе, не давая всем житья?

— Тебя не касается, когда и как осуществляется наш оперативный план, — сказал начальник, немного сбавив тон. — Но предупреждаю, если впредь совершишь подобное, не предупредив нас, то и тебя вместе с бандитами посажу!

— Выходит, плохо мы сделали, что поймали бандита?..

— Одного поймали, а десять улетели — вот что вы сделали, если хочешь знать!

— Дархок один остался в лесу, а его сообщники си-

дят в аулах и станицах и не собираются никуда улетать. Но не знаю, помечено ли это в твоих «оперативных» планах...

Встретив такой отпор и убедившись, что этого парня «не возьмешь на бога», начальник, по-видимому, благоразумно решил не гневаться на насмешку над его оперативными планами и сказал:

— Довольно! Советую тебе не заходить дальше, — и, круто меняя тему, спросил: — Где оружие бандита?

— Вот то, что мы при нем нашли: карабин и маузер.

Доготлуко поставил к столу начальника карабин и, указывая на висевший на его поясе маузер, добавил:

— Маузер я беру себе, по праву поймавшего.

Теперь начальник всерьез вскипел и вскочил, ударив кулаком по столу. Но Доготлуко оказался еще менее уступчивым. На категорическое требование сдать сейчас же все оружие бандита он твердо заявил:

— Тогда я отвезу маузер в Краснодар, в отдел ОГПУ. Там решат, правильно я взял маузер себе или неправильно.

— Засажу в тюрьму! — пригрозил начальник.

Доготлуко, уверенный в своей правоте, невозмутимо ответил:

— Теперь я вижу, что ты и это можешь сделать. Вместо того чтобы гоняться за бандитами, легче сажать тех, кто их ловит. Но имей в виду: если только ты арестуешь меня, найдется немало людей, которые станут за меня и расскажут о твоих действиях. Там разберутся, насколько я нарушил твои «оперативные» планы, поймав бандита...

Доготлуко вышел от начальника угрозыска, оставив при себе маузер с условием, что обязательно повезет его в отдел ОГПУ.

Остаток ночи они провели в районе, устроившись на ночлег у знакомых. Наутро с попутной подводой направились в свой аул.

Доготлуко возвращался с досадливым чувством невыполненного до конца дела. Все поведение начальника угрозыска казалось ему подозрительным, и теперь, чем больше он думал, вспоминая свою стычку с ним, тем больше возрастала у него тревога.

«Не чуждый ли это элемент? Если так, то он даст Дархоку возможность бежать. Тогда выйдет, что он, Доготлуко, явится невольным виновником мести бан-

дита товарищам? Не лучше ли было поехать прямо в Краснодар?»

Так и не решив, что ему надо предпринять, доехал он до своего аула.

Слух опередил их появление. Аул был полон самых разноречивых толков. Одни верили в поимку бандита, другие не верили. Друзья засыпали их вопросами, заставляя еще и еще раз пересказывать, как все произошло. Враги же, встречаясь с ними, молчали.

Однако Доготлуко все это встречал безразлично. На него с новой силой навалилась тяжесть безутешной скорби об утрате друга. Охота за Дархоком дала ему некоторое удовлетворение, но не принесла утешения. Перед ним уже не было больше явственного врага, враг был скрытый, прячущий звериное лицо под маской благообразия, вонзающий хищный взгляд из щели в спину ему, Доготлуко, и другим...

Спустя два дня до аула дошла весть: «Дархок по пути в Краснодар, куда его отправляли под конвоем, сбежал».

Опасность расправы бандита снова нависла над комсомольцами аула Шеджерий. Тревога за жизнь каждого активиста в ауле с новой силой охватила Доготлуко и вырвала его из оцепенения. Он поднял всех комсомольцев и весь актив. И когда решил, теперь уже твердо, поехать в Краснодар, его вызвали в район.

Уполномоченный ОГПУ по борьбе с бандитизмом встретил Доготлуко совсем не так, как начальник угрозыска.

— Садитесь, товарищ Доготлуко,— сказал он, поднимая глаза от бумаги.

У него было светлое, открытое лицо и умные, пронзительные, очень усталые глаза, в которых отражалась подчиняющая воля.

С первого же взгляда на уполномоченного Доготлуко проникся к нему доверием. Спокойно и откровенно рассказал ему все, как было. Поделился также и своими соображениями о предполагаемых сообщниках бандита в их ауле, о найденных путях. В конце он высказал беспокоившее его недоверие к начальнику районного угрозыска.

Это сообщение не произвело на уполномоченного ожидаемого впечатления.

— Об этом вы никому не говорили? — только спросил он, несколько понизив голос.

— Нет, никому не говорил.

— Пока не надо говорить... — уполномоченный некоторое время помолчал, уставившись глазами в лежащую перед ним бумагу, и, как бы продолжая думать о другом, более занимавшем его, прибавил тихо:

— И о путях пока не говорите никому. Маузер бандита — ваш. И грамоту я вышлю вам, когда вернусь в Краснодар.

Доготлуко вышел от уполномоченного с ощущением необыкновенной радости жизни и воли к борьбе. Человек резких и властных порывов души, он не знал рассудочной меры в своих симпатиях и антипатиях. Симпатия его честной, прямой природы легко переходила в любовь, равно как и антипатия — в ненависть. Он легко воспринимал влияние того, кого признавало его сердце. Сейчас он находился всецело под обаянием только что покинутого им человека, чуткости его ума и сердца, его способности работать так, чтобы сохранять ясность мысли и непреклонность воли при непомерной нагрузке. Это были именно те черты коммуниста, к которым безотчетно тянулся и сам Доготлуко. И теперь, идя по улице, погруженный в себя, не видя ничего вокруг, Доготлуко мысленно оценивал свою работу, и многое в ней представилось ему сейчас излишне крикливым и надрывным.

«Провел одно собрание и уже истощился. Больше шуму, чем результатов...» — бичевал он самого себя.

Спустя неделю в ауле услышали, что Дархока поймали. И вслед за этим пришла весть об аресте нескольких работников райугрозыска.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Нафисет не заметила, с чего и как это началось. В компании молодых людей, собиравшихся у Куляц, появился один парень, по имени Амзан: он стал наиболее частым посетителем девичьей Устаноковых.

Вскоре Амзан начал отбиваться от общей компании. Нафисет показалось, что он старается придти к ним именно в тот час, когда у Куляц никого нет.

Это был один из наиболее неприятных Нафисет молодых людей — небольшого роста, смуглый, смазливый парень с маленьким вздернутым носом и пухлым чувственным ртом. Его несмыкающиеся яркие губы словно постоянно молят о ласке, а в глазах, — когда они обращены к девушке, всегда затуманенное отражение той же неприкрытой липкой, чувственной нежности. Все манеры и движения его насыщены щекотно-нервным кокетством. Свою маленькую каракулеву шапочку он носит набекрень, с той особой фатоватостью, которая противна Нафисет.

Нафисет питала неизъяснимую неприязнь к таким людям: против них пылко восставала вся ее юная строгость. Она невзлюбила Амзана с первой встречи.

Зато сердца большинства девиц аула таяли под греховным взглядом Амзана. Без девичьего общества он становился бесцветен, некрасноречив, безразличен ко всему, — словно увядал. Но в присутствии девушек тайный огонек зажигался в нем и начинал чадить приторно-сладким, дурманящим потоком нежной, бессмысленной болтовни.

Мужчины-адыги в большинстве своем — даже и после революции, сохранили к женщине отношение рабовладельца к рабыне: они пыжились перед женщиной в своем мужском гоноре, подбоченивались, выставя ост-

рые локти, как знак сугубой мужественности, стеснялись, согласно законам адата, выказать нежность. Вся сила обаяния Амзана объяснялась как раз тем, что он изливал на девушку потоки откровенной нежности и ухитрялся находить достаточно слов ласки и любви в адыгейском лексиконе, особенно скупом на эти понятия, — он давал девушкам иллюзию равенства в любви...

Амзан был единственным сыном бедных родителей. Но, отдавшись целиком своим увлечениям, он не проявлял никакого рвения к работе и слыл в ауле безнадежно нерадивым бездельником.

Практичные матери, имевшие взрослых дочерей, всем сердцем ненавидели Амзана, боясь, как бы судьба не навязала его в зятья. Они страшились одного появления Амзана в их доме и называли его не иначе как «голоротый выродок».

Нафисет тяготилась тем, что Амзан заладил ходить к ним в дом. Оставлять Куляц одну было неудобно, но выстаивать перед ними все те бесконечные часы, которые они склонны были сидеть, было тоже не вмоготу.

Зато сама Куляц не проявляла никаких признаков недовольства частыми посещениями Амзана. При Амзане она теряла шутовскую колкость острословья — обычное свое оружие против надоедливых парней. — ее звонкий голосок бессильно слабел, и вся она синкала, как опаленный зноем ленесток.

Постепенно у них появилась привычка сидеть в сладостном томлении, не замечая времени. Они еще не решались сказать друг другу то, что лежало у них на сердце, и, лишь для того чтобы избежать неудобного молчания, перебрасывались незначительными словами, смысл которых даже не доходил до их сознания, — прислушивались они только к голосу своих сердец. Когда глаза их встречались, Куляц с замиранием сердца выдерживала взгляд лишь несколько секунд, а затем опускала голову и сидела притихшая, безвольно-покорная.

Нафисет, стоя в положенном ей углу, переминалась с ноги на ногу и негодовала в душе. Сердце ее не сочувствовало влюбленным. Смешным и нелепым казалось Нафисет все их томление. Не выдержав, она часто выходила и вновь возвращалась, а они сидели все так же неподвижно. Иногда, неожиданно вернувшись в комнату, она видела прикосновение рук влюбленных, испуганно отдергивающихся при ее появлении.

Куляц оставила все занятия, которые интересовали ее раньше, забросила и свои любимые рукоделия. Если иногда и бралась за шитье, то через минуту роняла его в мечтательном полузабытии. Выходя из дому, она обычно садилась на скамейке под деревом и застывала, уставившись вдаль невидящими глазами. У нее происходили частые смены настроения без всякой видимой причины: то она грустно увядала, то озарялась рассеянной и светлой улыбкой, то находили на нее порывы безудержного веселья, и тогда она начинала донимать младшую сестру шаловливой игрой и ласками.

Смутно догадываясь, что ласки эти идут не от прилива нежных сестриних чувств, Нафисет осуждала сестру и отталкивала ее от себя. В самой Нафисет еще бессознательно зрел дух протеста против адата и даже против любви, которые могли бы угрожать ее мечте о воле.

По поведению сестры Нафисет легко узнавала день, когда придет Амзан. Куляц, охваченная нервной лихорадкой, не находила себе места, беспрестанно подбегала к окну, несколько раз меняла платье, то и дело охорашивалась перед зеркалом и гневалась, когда Нафисет приставала к ней с просьбой помочь в домашней работе.

С того времени, как Амзан стал ходить в их дом, Хымсад потеряла покой. Точно старая индюшка, завидевшая в небе тень орла, она сторожко следила за врагом. В дни прихода Амзана она начинала нервничать, роняла посуду из рук, делалась неприступно сурова и вспыльчива, чаще обрушивалась на Нафисет, незаслуженно вымещая на ней тревогу, терзавшую ее сердце, и свое недовольство старшей дочерью. Так выражала она свое горе — горе матери, которая почуяла опасность, угрожавшую ее любимой старшенькой.

Когда усталая Нафисет выходила из девичьей комнаты, мать гневно гнала ее обратно. Оставив недоделанную работу, Хымсад бродила по большой сакле, выходила во двор и, делая вид, что собирает щепки, бесцельно кружила вокруг девичьей, поднимая гневно-ворчливый шум. Обращаясь неведомо к кому, она желала дать понять дочери о своем недовольстве. Иногда у нее вскипала бурная злоба и рождалась решимость — ворваться в комнату и разогнать всех. Но, не в силах переступить запретную черту приличия, она бессильно остывала.

А иногда, словно влекомая непреодолимой силой, тихо открывала внутреннюю дверь и подходила к девичьей. Нафисет, заслышав шуршание мягких чувяк матери, распахивала перед ней дверь. Мать, словно захваченная на месте преступления, растерянно искала приличного оправдания и, едва сдерживая гнев, сумрачно произносила:

— Если молодые люди будут сидеть еще, почему не угостите их чем-нибудь? — и возвращалась в большую саклю, пристыженная и взбешенная. И как только Нафисет, послушно следуя за ней, переступала порог, мать резким движением прихлопывала дверь и иступленно обрушивалась на нее. Нафисет обиженно спрашивала:

— В чем же я виновата, мам? Откуда могу я знать, нужно ли их угощать? Сидят они там каждый день, отпало мы не угощали их...

Мать, не помня себя от ярости, развязывала без нужды косынку на голове и вновь завязывала. Не отвечая прямо, оглушала Нафисет словами проклятия:

— Да падет на тебя проклятие аллаха! Очень я обеспокоена угощением этого выродка!..

Нафисет стояла в недоумении.

— Иди, вернись туда, чего тут стоишь, как истукан! — прикрикивала на нее мать и прогоняла обратно в девичью.

В один из дней Хымсад была занята выпечкой хлеба. Поглощенная работой, в чаду княжичного дыма, она и не заметила, когда пришел Амзан. Нафисет, которую она послала за княжиком, долго не возвращалась. «Если эта негодная тоже засела в девичьей и обе лентяйки расшались, то, пока дождусь их, огонь в очаге сядет», — подумала Хымсад и направилась в девичью. Открыв дверь, она окаменела: Амзан и Куляц стояли посреди комнаты, прильнув друг к другу в поцелуе...

Точно пораженная пулей, Хымсад стояла в жуткой, обессиленной немоте, с широко распахнутыми глазами, в которых застыл ужас. Затем, опомнившись, быстро захлопнула дверь и, как ошалелая, убежала к себе в большую саклю. Но, едва переступив порог сакли и прикрыв дверь, она схватилась за сердце и в изнеможении прислонилась к стене. Потом бросилась к очагу, схватила массивные железные щипцы и снова ринулась к девичьей. Но, добежав до двери, замедлила шаги,

вновь обессилела, остановилась и со стоном выронила щипцы...

Нафисет, вернувшись с охапкой кизяка, перепугалась, взглянув на мать,— та, с растрепавшимися седыми волосами, с безумными, неподвижными глазами, блуждала по большой сакле и то тягуче и слезливо причитала, то пронзительно выкрикивала проклятья.

Нафисет быстро бросила свою ношу и, забыв даже отряхнуться от пыли, кинулась к матери.

— Нан, что с тобой? Ты заболела?

Хымсад вздрогнула, помраченный взгляд ее остановился на дочери. Сперва в ее глазах отразилось удивление, словно только теперь она заметила присутствие Нафисет, затем удивление сменилось бурной вспышкой злобы.

— Да, заболела! Черную, страшную болезнь послал аллах в мой дом! Страдания, которые причинили моему сердцу вы, две распущенные девчонки, вечным грехом падут на ваши души! Какое горе! Какой позор!..

— Что же случилось, нан?.. — начала было Нафисет, но на полуслове умолкла. Мать, не обращая больше на нее внимания, схватила голову обеими руками и снова заметалась по большой сакле.

— Черное горе свалилось на мой дом, несчастная я! Вечным позором покрылся мой дом, горе мне, безутешной! Чем я заслужила такое надругательство над моим домом? Горе мне, лишенной счастья навеки!.. — начала она вновь причитать, как плакальщица. Но вдруг остановилась перед очагом и застыла на мгновенье, тщетно ловя нить мысли. Ее взгляд упал на прикрытую сковородку, из которой вырывался едкий дым. Это вернуло мать к действительности, и она прикрикнула на онемевшую Нафисет:

— Чего ты стоишь, как истукан, не видишь, что ли,— хлеб горит!

Нафисет бросилась к сковородке. Не соображая, что делает, она схватила раскаленную сковородку, обожгла пальцы.

Через мгновенье мать позабыла и о хлебе, и о Нафисет, притихла и, во внезапно осенившей ее грозной решимости, начала деловито спускать засученные рукава.

Ни слова более не сказав и не взглянув на Нафисет, она покинула дом и вышла со двора.

Хымсад пошла к соседям, вызвала их парня и со зловещим спокойствием попросила его передать Амзани, чтобы с сегодняшнего дня он прекратил свои посещения их дома. Но на обратном пути она пожалела о том, что сказала соседскому парню, — вдруг он догадается о ее позоре! Эта непоправимая опрометчивость повергла ее в еще большую горе. Вернувшись в дом, она опять яростно набросилась на Нафисет, которая возилась у очага.

Постепенно Нафисет поняла, что с матерью не стряслось никакой болезни и тревога за ее здоровье сменилась обидой на незаслуженные нападки. Обиженная, Нафисет ушла в девичью. Но там она застала еще менее радостную картину: Куляц лежала ниц на кровати и судорожно сотрясалась от приглушенных рыданий.

— Что с тобой стряслось? — спросила Нафисет.
Ответа не последовало.

Глава вторая

С этого дня Куляц серьезно заболела. Притихшая и беспомощная, она то дрожала от озноба, то металась в жару, отказывалась от пищи и не только ни с кем не разговаривала, но даже и не желала ни на кого взглянуть.

Мать, охваченная тревогой за жизнь любимой дочери, позабыла о своем гневе и ходила молчаливая, сумрачно пряча тревожную озабоченность в глазах. Одна-ко она ни разу не зашла проведать дочь.

Нафисет порядком измучилась в эти дни. Она металась между больной сестрой и матерью. Мать теперь уже не могла скрывать под напускной неприступной строгостью своей тоскливой тревоги за дочь. Она то и дело звала Нафисет, с деланной небрежностью справлялась, как ведет себя больная, ворчала, когда Нафисет приносила от больной нетронутую еду. Все, что делала Нафисет, не успокаивало мать, она придиралась к ней, упрекала ее, материнское сердце металось и не находило покоя. Прямодушная Нафисет принимала всерьез всю внешне непримиримую твердокаменность матери по отношению к Куляц и изводилась мыслью, что разлад этот — навеки.

Но вот однажды вечером Куляц присела на кроватку.

ти — исхудавшая, без кровинки в лице, грустно-надломленная. Сердце у Нафисет сжалось от боли. Она пошла к матери и молча привела ее в девичью. Увидя мать, Куляц прикрылась одеялом и залилась слезами.

Так произошло примирение.

Куляц поднялась с постели, но, казалось, болезнь исподволь продолжала глотать ее. В доме больше не слышно было ни ее беспечного смеха, ни ее звонких девичьих песен. Она перестала даже играть на гармонике. Впрочем, она часто доставала гармонику и, изнеможенно положив на нее голову, извлекала тихие и грустные обрывки каких-то мелодий. По ночам ее мучили бредовые сны, и в ее бессвязном бормотании испуганная Нафисет часто улавливала имя Амзана.

У Куляц притупился всякий интерес к жизни, она стала безразлична к людям. Молодежь по-прежнему навещала ее, теперь — как больную, но, видя безразлично-вялую холодность Куляц, теперь уже не засиживалась. Даже для тех, с которыми раньше Куляц особенно любила плести нескончаемый цветистый узор лукавой шутки, теперь не находилось у нее ни одного слова.

Заходил и Доготлуко. Но и он не мог вызвать у Куляц прежнего духа противоречия, да и сам Доготлуко, видя состояние Куляц, не решался задевать ее.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды в девичью Установковых не зашла одна из соседок — молодая вдовушка. Вдовушка эта не бывала раньше в доме Установковых. Неожиданный свой приход она объяснила тем, что заскучала и решила послушать игру Куляц на гармонике. Хымсад обрадовалась приходу вдовушки, надеясь, что она хоть немного развеет грусть дочери. Мать радушно встретила гостью и, оставив вечные свои хлопоты по дому, даже приняла участие в общей беседе. Наконец Хымсад покинула девичью и поехала с собой Нафисет.

Вскоре мать и Нафисет услышали звуки гармоники. Но Куляц играла вяло, гармоника то и дело замолкала.

Вдовушка пробыла недолго. Но она словно вдохнула животворную струю в душу больной девушки — Куляц начала оживать.

Вдовушка стала часто приходить в девичью. Куляц прониклась к новой своей подруге самыми нежными чувствами, скучала без нее, встречала ее с большой

радостью. Нафисет замечала, что они старались оставаться вдвоем и что у них были какие-то тайные разговоры, которые они обрывали при ее появлении.

Нафисет не любопытствовала и не старалась проникнуть в их тайну, но догадывалась, что эта внезапная дружба Куляц с соседской вдовушкой и нескончаемая нить их уединенных разговоров связаны все с тем же Амзаном.

Нафисет не осуждала Куляц за то, что та любит не кого-нибудь другого, а именно Амзана. Сама Нафисет в тайнике сердца носила безотчетное и, как ей казалось, безнадежное чувство. Но она лелеяла в себе задорную уверенность, что перенесет это более безболезненно и более стойко. Поэтому, видя бессилие Куляц и слыша тихую жалобу ее гармоник, Нафисет только негодовала. Нет, она, Нафисет, никогда не покорится чувству так безвольно! Кто помешает ей быть счастливой, если она, любящая, будет и любимой? А если тот, кого она изберет, не выкажет любви к ней, тогда... Тогда — все, что угодно, но не такая вот сломленность души!.. Она не решалась думать, что именно будет «тогда», лишь гордо выпрямлялась и выше поднимала голову. Впрочем, она попросту страшилась касаться своих чувств к Биболэту: она держала их за семью дверями и за семью замками. Помыслы о замужестве еще не посещали ее. Если бы любимый предложил ей замужество, она отшатнулась бы в неопишемом страхе. Она была влюблена в Биболэта, как птица в свой полет. Любовь, как и смутные ее мечты, была крыльями ее порывов к воле, к новой жизни.

Нафисет была похожа на птенца, выведенного курицей из яйца дикой утки. Ни повадками, ни стремлениями своими она не смешивалась с семьей, в которой росла. Она жила раздвоенной жизнью, и у нее было два мира: мир будничного обихода и мир воображения, раскрываемый перед нею книгами и рождаемый в ее сознании отголосками новой жизни, бушевавшей полыми водами где-то недалеко от ее темницы.

Всего несколько лет тому назад ей казалось, что мир кончается за их околицей. Там, в ее представлении, лежала темная пустота, с двумя-тремя светлыми точками соседних аулов, когда-то посещенных ею. Но однажды Доготлуко принялся читать ей «Робинзона Крузо», и у нее перехватило дыхание от восторга: мир

оказался ошеломляюще велик и чудесен, с его безграничными океанами, неизведанными землями, джунглями лесов и хребтами, с его городами и пустынями...

С тех пор Нафисет прикинула сердцем к книгам.

Сначала она переживала муки жаждущего перед недостижимой влагой, мерцающей во мгле глубокого колодца: она почти не понимала по-русски. Общедоступный язык рисунков приоткрывал перед ней кусочек восхитительной тайны жизни, заключенной в книге, но черная рябь непонятных слов непроницаемой завесой скрывала все остальное. И, томимая страстной жаждой зачерпнуть горсть этих чудес, она просиживала долгие часы, сызнова перелистывая книжку. Затем оставила книги на русском языке и начала искать книги на адыгейском языке. Но, кроме нескольких учебников, Нафисет ничего не нашла и вновь вернулась к русским книжкам. В поисках более доступных книг она нашла дорогу к русской учительнице аульской школы. Та живо заинтересовалась ее рвением.

С необыкновенным упорством и терпением Нафисет начала пробиваться сквозь толщу непонятного языка. Постепенно она усвоила такой запас русских слов, при помощи которого уже можно было смутно улавливать очертания чудесной тайны книг. Дальше она открыла для себя способ, как легче преодолевать трудные места: не цеплялась за слова, не поддающиеся ее усилиям, а перепрыгивала через них, стараясь уловить общий смысл. А непонятные слова она выписывала и спрашивала потом у учительницы или у Доготлуко их значение.

Тут Нафисет сделала поразительное открытие: знания в русском языке у самого Доготлуко, которого она считала мудрецом, простирались, оказывается, не так далеко.

Постепенно она овладела русским языком настолько, что стала понимать общий смысл прочитанного. И тут-то она ощутила всю неотразимую сладость книг. Согнувшись над книгой при свете коптилки или у очага, Нафисет уносилась на крыльях воображения, как на ковче-самолете, в неведомые края.

Долгое время она увлекалась описаниями приключений. Места, в которых стремительное разворачивание сюжета задерживалось в водоворотах глубоких мыслей и сложных психологических анализов, она предпочитала обходить, не отведав. Учительница, у которой

Нафисет брала книги, обратила внимание на лихорадочную быстроту ее чтения и терпеливо объясняла девушке, как следует читать книгу.

Нафисет поняла не все сразу. Только для того, чтобы не огорчить учительницу, к которой она питала необыкновенное уважение и признательность, она начала, со свойственным ей терпением и добросовестностью, прочитывать и эти «скучные» места в книге. Но по мере того как она все более серьезно задумывалась над окружающей жизнью, над участью, ожидающей ее впереди, она приобрела вкус и к серьезному чтению. Теперь она испытывала наслаждение, когда, погружаясь как бы на дно этих глубин книги, пыталась открыть тайные родники порывов и надежд человеческой души, достать оттуда зерна мыслей, а затем, насытившись ими, снова и снова в тихой задумчивости перебирать в памяти все узнанное.

Учительница посоветовала ей завести тетрадку, куда она стала записывать наиболее яркие выражения, выделяющиеся в книге подобно цветам на зеленом кусте.

Но как бы ни упивалась Нафисет книгами и с каким бы самозабвением она ни переживала судьбы героев,— это, однако, нисколько не изменяло стремлений собственной ее души. Прочитанное обогащало ее ум, расширяло жизненный кругозор, поднимало выше полет ее фантазии и мечтаний. Но все это было лишь подвоем, питающим растение совершенно новой породы. Ее юная душа, ее незрелый ум уже пропитаны крепким чувством свободного человека. Не беда, что она пока еще заточена в темницу старого быта. Она, выросшая на пустыре разгромленного рабовладельческого мира, чутко, как подсолнух, поворачивает голову к жизнотворным лучам. В ней уже зреют семена нового сознания, которое не может мириться с положением рабыни.

Инстинкт свободного человека, ставший основой ее природы, был верным компасом в этих странствиях ее воображения по чужим мирам. Звуки, проникающие с воли в ее темницу, отдавались в ее душе новой прекрасной песней.

Так росла Нафисет, отчужденно от всех в семье, со своим скрытым миром. Как гриб под покровом старых

нистов, незаметно для других зрело ее сознание под спудом замшелого адата.

Не сходилась Нафисет ни в чем с Куляц. Сестры жили под одной родительской кровлей, как люди из разных стран, снисходительно-безучастно, с удивлением, а порой и с осуждением присматриваясь друг к другу.

И теперь Нафисет следила за любовью Куляц все с той же безучастностью, осуждала в душе ее слепую покорность чувству, ее беспомощные слезы и вздохи, а отчасти — жалела. Но не вмешивалась.

Однажды вдовушка торопливо забежала к Куляц. Вскоре она ушла, оставив Куляц в сильном волнении. Лихорадочно блестя глазами, Куляц заметалась по комнате, переменяла платье. Она то и дело хваталась за зеркало, часто выбегала из комнаты.

Спустя некоторое время вдовушка снова подошла к изгороди их двора, с улицы, и позвала Куляц. Только этого и ожидавшая, Куляц стремглав выбежала на зов.

Нафисет, повергнутая в недоумение, последовала за Куляц. Вдовушка подозвала и ее.

У обеих был вид заговорщиц. Куляц стояла бледная.

— Нафисет,— неуверенно начала вдовушка. — Мы вот говорим о том, чтобы завтра пойти на речку, постирать и искупаться. Славно было бы! Пойдем?

Нафисет промолчала, чувствуя, что вдовушка говорит не то, что у нее лежит на сердце. Тотчас же позабыв о речке, вдовушка и Куляц в нетерпении уставились на перекресток улиц.

Нафисет тоже оглянулась. Из-за угла показался Амзан с каким-то спутником. Оба направились в их сторону.

Куляц, еще пуще побледнев, выпрямилась и замерла. Руки, которые подняла она, чтобы поправить шарф, дрожали, не повинаясь ей, и она сложила их на груди.

Амзан и его спутник скоро поравнялись с ними. У Амзана не осталось и следа от бывлой его ухарской осанки. Он не мог даже выговорить обычных слов приветия. На лице его уже не было шутливо-нежной, чарующей сердца девиц беспечности. Лишь каракулевая шапочка надета все с той же фатоватой небрежностью, что во все не согласовалось с его робким и смиренным видом. Теплая жалость тронула сердце Нафисет, когда он про-

шел, растерянный и неловкий, с тоской и мольбой глядя на Куляц.

Куляц с усилием подняла глаза. Встретившись с его глазами, она бессильно опустила свои и с глухим стоном прислонилась к плетню. Вдовушка схватила ее за плечи и прошептала встревоженно и торопливо:

— Моя родненькая, опомнись, а то еще кто-нибудь заметит...

Вернувшись в девичью, Куляц повалилась на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, залилась слезами. Нафисет, охваченная жалостью и раздражением, не вытерпела и сказала:

— Но в чем же дело! Если любишь, почему не выйдешь замуж и не кончишь эту канитель? К чему тут слезы, если и он любит тебя?

Куляц стремительно села на кровать и испуганно уставилась на младшую сестру.

— Откуда ты знаешь это?

— По тому, как ты ведешь себя, догадаться не трудно.

— Мама что-нибудь сказала тебе?

— Об этом она со мною и не заговаривала.

В голосе Куляц слышались строгие нотки старшей сестры, готовой гневно обрушиться на младшую за то, что та суется не в свое дело, нарушая границы дозволенного. Нафисет это почувствовала, но не отступила. Нисколько не смущаясь, она смотрела на старшую сестру прямо и говорила серьезно, с еле уловимым небрежным осуждением.

Куляц и раньше заметила упрямство в характере Нафисет и испытывала на себе силу ее скрытного, насмешливого ума,— втайне Куляц даже завидовала крутому нраву сестры и немного побаивалась ее. Теперь же она просто не нашла в себе силы отстаивать права старшинства и, молчаливо соглашаясь отныне на равенство, бессильно опустила голову на подушку.

— Если бы я была вольна сама решать... — сказала она голосом, звенящим от слез.

— Если он любит тебя, кто же может помешать тебе? — упрямо повторила Нафисет.

— Кто же, как не мама! Мать уже передала мне через соседку: «Лучше своими собственными руками похороню ее неопозоренный труп, чем увижу ее замужем за этим выродком...»

Нафисет, ошеломленная, замолчала. Затем порывисто присела к Куляц на кровать и спросила шепотом:

— Это правда, что мать так сказала?

— Если бы не так, разве бы я истекала слезами! — пролепетала Куляц, всхлипывая.

Нафисет выпрямилась. В глазах ее, прямо и с удивлением устремленных на Куляц, отразились попеременно страх за свою судьбу и глубокая печаль, обида на мать и суровая решимость.

— Я не думала, что у мамы такое жестокое сердце, — задумчиво произнесла она. Затем медленно поднялась и отошла к окну. — Я бы не посмотрела на таких родителей. За кого же другого они хотят выдать тебя: за князя или хана, которых уже нет? До сих пор они не могут понять, что достоинства человека теперь определяются не размером имущества и числом рогатого скота. Они тоже из тех, кто еще помышляет лишить женщину права любить и устраивать свою жизнь, как того хочет сердце...

Куляц была изумлена и устрошена кощунственными словами Нафисет. «Как? Не слушаться родителей и высказывать такое неуважение к старшим? Слыхано ли, чтобы подобные слова произнесли уста девушки!»

Позабыв о своем горе, она села на кровати и с любопытством и страхом посмотрела на сестру, ожидая, что еще она скажет.

А та стояла у окна спиной к Куляц и молчала. Потом быстро подошла к старшей сестре, мягко обняла ее и во внезапном порыве откровенности продолжала:

— Ты видишь счастье только в любви. И в жизни видишь лишь этот огонек любви. Он светит тебе, как одинокая звезда в крошечной тьме. Ты летишь на этот огонек, как птица в ночи, не ведая и не видя ничего, кроме этой светлой точки. Ты не попыталась даже задуматься над участью тех, кто прежде тебя так же слепо летел на этот огонек. Ты веришь, что твоя звезда счастливее всех. Но ты ни разу не задумалась над жизнью, ожидающей тебя впереди. Когда Доготлуко говорил тебе: «Надо учиться, женщина стала свободна!», ты не захотела понять его и довольствовалась тем, что сидела и без устали лузгала вместе со своими ухажерами шелуху слов о любви. Я постоянно присматривалась к тебе. Твое девичество напоминало мне жизнь

домашнего животного, которого выхаживают на убой или на продажу. Пока холили тебя, наряжали и не нагружали работой, давая тебе набрать достаточно силы, ты была довольна, не заботилась ни о своем будущем, ни о том, чтобы набрать разума и знаний. Теперь пришло время твоей продажи. И ты не решаешься даже предъявить свои человеческие права, а только обреченно и безвольно оплакиваешь свою судьбу. Но это только начало тех страданий и бесправного существования, на какие обречет тебя ветхий адат. Например, что останется от твоего единственного счастья — от любви, если Амзан вскоре разведется с тобою и выбросит воп, как и тех некоторых вдовушек, которых так же выбросили их избранники, натешившись над ними вдоволь?

Куляц все еще не могла прийти в себя от изумления. Эта скрытная девчонка, вечно сидевшая в уголке со своими книжками, по правде сказать, иногда казалась ей, Куляц, какой-то полоумной. Старшая сестра часто испытывала неловкость от взгляда младшей, не по-девичьи пристального и разумного. Ее даже брал страх — не спуталась ли Нафисет с нечистой силой?

И вдруг — этот стройный поток разумных, значительных и осмысленных слов, на миг приоткрывших перед Куляц внутреннюю зрелость скрытной души ее младшей сестры. Впрочем, далеко не весь смысл взволнованной речи Нафисет доходил до ее сознания. Только последние слова уязвили ее в самое больное место, и она вскрикнула с горячностью:

— Чтобы Амзан бросил меня? Этого мне бояться нечего!

— Сколько мне приходилось наблюдать, все выходящие замуж утверждали то же самое. Все они верят, что их любовь вечна и непоколебима. Однако некоторых из них — я могу даже перечислить их по именам — мужья выбросили, надругавшись над ними. Чем же ты лучше их? Счастья твоей любви хватит тебе лишь на один год.

— Откуда ты знаешь, что любви хватит лишь на один год? — возмущенно спросила Куляц, вновь принимая грозный тон старшей сестры.

— Если бы невозможно было знать больше того, что сама пережила и испытала, то вообще очень мало можно было бы узнать за короткую человеческую

жизнь,— спокойно ответила Нафисет. — Пример и участь других многому учат. Посмотри вокруг себя, и ты увидишь... Вот хотя бы эта соседская вдовушка — разве она девушкой была менее красива и менее достойна счастья, чем ты? Однако надолго ли хватило этого ее счастья? А если с тобой то же самое случится, что тогда ты имеешь в запасе для своего счастья?

— А что есть у тебя самой, у такой умницы? — зло спросила Куляц, задетая иравоучительным тоном младшей сестры.

— Пока ничего особенного и у меня нет. Но зато я твердо знаю, чего я хочу и что буду иметь.

Так Нафисет старалась втиснуть всю сложность жизни и быта в схему скудных своих наблюдений и незрелых мыслей. И все же со своей схемой она была ближе к истине, и Куляц вынуждена была сдавать позицию за позицией. В конце концов, старшая упрямо утвердилась на последнем клочке своей веры.

— Что хочешь говори, но мы с Амзаном никогда не охладеем друг к другу. Если бы все расхотелось через год, и жизни не было бы. Посмотри сама: разве мало таких, которые состарились в счастливой семейной жизни?

— Я вовсе не говорю, что все люди жили плохо. Очень многие и до старости лет сохраняли любовь друг к другу. Но это происходило опять-таки за счет несчастья и рабства женщины, — не унималась Нафисет. — Большинству женщин, во имя того, чтобы в семье были мир и лад, нужно было похоронить все свои мечты о счастье и мириться с положением рабыни. Однако немало и таких мужчин, которые не довольствуются даже этой рабской покорностью женщины.

— Аллах покарал меня, какие слова ты говоришь! Откуда ты их взяла, и где ты такая уродилась?

Нафисет пожала плечами:

— Я знаю: то, что я говорю, не дойдет до тебя. Но хочешь, я прочитаю тебе одну книжку? В этой книжке рассказывается о страданиях одной русской женщины. Там очень хорошо показано все изуверство и жестокость старых обычаев!

Нафисет быстро вышла и достала книгу, запрятанную в сундук,— одну из тех, что передал ей Биболэт через Халяхо.

Несколько дней после того Нафисет читала сестре

книгу, старательно переводя ее на адыгейский язык. Куляц похожа была на того адыгейца, который, как говорится в сказке, сидя на кургане в степи, созерцал невидимый для человеческого глаза преисподний мир джинов. То, что раскрылось перед мысленным взором Куляц, было совсем иным миром. В книге рассказывалось об одной русской женщине, которую против ее воли выдали замуж за богатого старика. Та женщина была образованной, обладала развитым умом и светлой душой. Но, несмотря на это, она не сумела вырваться из сетей несправедливых законов и обычаев и погибла...

Поскольку это относилось к совершенно другому миру, Куляц видела звериные лица людей, неволивших эту женщину, и отдавалась всей силе негодования и протеста, обуревавших ее душу. Во время чтения она даже посылала вслух слова проклятия этим неведомым жестоким людям.

Перевод Нафисет, конечно, был неточным и неполным. Часто она улавливала лишь смысл прочитанного и излагала его кратко и нестройно. Но и то, что удавалось Нафисет перевести, представляло для Куляц захватывающий интерес. Она впервые слышала, чтобы простыми человеческими словами так правдиво выражали затаенные переживания человеческой души. И, слыша в словах другого человека выражение некоторых своих затаенных чувств, она переживала суеверный испуг и восторг. Позабыв об окружающей ее действительности, она словно переселилась в ту обстановку, которая описывалась в книге, и искренне волновалась, страдала, негодовала, любила вместе с героиней.

Книга, наконец, была закончена, и Куляц еще долго находилась под живым впечатлением услышанного. Словно не в силах выпутаться из клубка совершенно новых понятий и представлений, которые подняла книга в ее душе, она ходила притихшая и задумчивая.

Нафисет пыталась объяснить ей, что у русской героини книги, несмотря на ее ум, на ее страстный порыв к светлой жизни, не было тогда никакого выхода, кроме гибели или покорности деспотизму обычаев, которые были направлены против женщины. И что теперь, при Советской власти, женщина может всего добиться, пожелай только она сама. Но этот зов младшей сестры не нашел отклика в душе Куляц. Она не возражала,

рассеянно соглашалась, однако не выказывала никаких признаков того страстного порыва к борьбе за свое счастье, который так хотела вызвать в ней Нафисет. Похоже было, что Куляц сделала какой-то свой вывод из услышанного и, затаив его, сосредоточенно выращивала решение в глубине сердца.

Несомненно было то, что после чтения и разговоров сестры сблизилась.

Прошло около месяца. Однажды к Установковым, как обычно, забежала соседка и тайно пошептала с Куляц.

С того же часа у Куляц возобновилась ее любовная горячка. Она то ежилась в нервном ознобе и, бледная, беспокойно бродила по комнате, то, с загоревшимися, как в жару, глазами и густым румянцем на щеках, начинала перебирать свои вещи в сундучке, воровато оглядываясь на дверь. Она стала пуглива, словно затаила какое-то преступное намерение. Когда Нафисет, заходя в девичью, отворяла дверь, Куляц с испугом захлопывала крышку своего сундучка.

— Что с тобой случилось? — изумленно спрашивала Нафисет.

— Ничего не случилось... Давно забросила свои вещи, вот и привожу в порядок, — отвечала Куляц с напускным равнодушием. Но Нафисет чувствовала, что Куляц утаивает что-то и колеблется — сказать или не сказать? При установившейся в последнее время доверчивой близости это новое отчуждение сестры обидело Нафисет. Но она не сказала ни слова.

Как-то вечером Куляц почувствовала лихорадочный озноб и легла, укутавшись в теплую шаль матери.

Когда Нафисет принесла лампу, Куляц попросила не зажигать. В сумеречной комнате установилось тягостное молчание, насыщенное тревогой. Вдруг голос Куляц, ломкий от озноба, нарушил эту тишину.

— Нафисет... — позвала она.

— Что такое?

— Подойди ко мне.

Нафисет подошла и в тревоге положила руку на плечо сестры.

— Пойди проверь, нет ли кого там, за дверью, — прошептала Куляц, стуча зубами.

Когда Насифет, исполнив ее просьбу, вернулась, Куляц схватила ее руку и притянула к себе.

— Не пугайся, нагнись ко мне,— начала Куляц дрожащим шепотом.— Моя милая сестренка, за все время, что мы прожили с тобой под крышей родителей, только в последний месяц я ощутила сладость твоей души. Жалко, что этого не случилось раньше,— тогда, может быть, иначе повернулся бы мой жизненный путь. Но теперь уже поздно...— Она запнулась.— Есть ли у тебя хоть малейшая готовность помочь мне? Я прошу только об одном: о чем бы ты ни догадалась в эту ночь, ничего не говори. И если не будешь спать, когда совершится то, о чем я говорю,— ты притворись спящей...

— Что ты вздумала? — спросила со страхом Нафисет.

— Я выхожу замуж за Амзана...

— А наши знают об этом?

— Нет, не знают. Если бы знали, разве они допустили бы! Умоляю тебя, ничего не говори, притворяйся, что ничего не знаешь и ничего не замечаешь. Помогги напоследок!

В эту ночь Куляц бежала с Амзаном. Она избрала старый, давно изведанный черкешенками путь, которым они спасали от произвола адата единственную их радость жизни — мечту о любви. Когда Куляц уходила, захватив приготовленный с таким страхом сундучок, Нафисет не спала. Куляц крепко обняла ее и, вся дрожа, поспешила на вторичный крик совы, раздавшийся за скотным сараем...

Глава третья

После того как вышла замуж Куляц, Нафисет неожиданно для себя оказалась на положении девицы на выданье. В гостеприимно распахнутые двери девичьей Установковых снова повалили аульские парни, ищущие невесту.

На первый взгляд трудно было бы назвать Нафисет красавицей. В чертах ее лица можно было подметить много по-детски трогательных несообразностей. Туповатый, короткий носик никак не гармонировал с классическим взмахом бровей. В свою очередь, брови зовсе не соответствовали детско-округлому овалу лица. А черные глаза, оправленные пухленькими веками с

длинные ресницами, созданные, казалось, для того, чтобы излучать солнечную улыбку и чистую, мягкосердечную нежность, кололи непрístupной строгостью умного взгляда.

В ней была забавная смесь юной прямоты, скромной застенчивости и строгости. Все ее существо находилось в состоянии постоянной, напряженной, скрытой устремленности к своей мечте.

Для мужчин, привыкших к обычной стыдливой мягкости и безвольной хрупкости аульских девушек, это было ново. Получилось так, что, упустив дичь, за которой долго гонялись, они неожиданно подняли новую, более заманчивую, с невиданными доселе повадками.

Для аульских девиц, все помыслы которых сводились лишь к тому, чтобы выйти замуж и устроиться в хорошей семье, такое обилие искателей руки было бы желанным и радостным. «Много кавалеров джигитует у ее порога», — говорили люди в таких случаях, и это считалось почетом и для девушки и для родителей. Нередко младшие сестры в ожидании своей очереди носили в сердце огонь негодования на старших неудачливых сестер, которые слишком долго засиживались в девицах.

Совсем по-иному относилась ко всему этому Нафисет. До сих пор обязанность занимать посетителей лежала на Куляц, как на старшей сестре. Когда собирались более или менее серьезные люди, в чьих словах можно увидеть блеск живого воображения, Нафисет вольна была стоять на положении младшей в своем углу и молча слушать. А когда начинались пустые словопрения, она могла и уйти, оставив девичью и Куляц на попечение какого-нибудь дальнего родственника, сидевшего в общей компании. Обычно ей удавалось уговорить братишку Ахмеда, чтобы он остался вместе с ней. Правда, несговорчивый Ахмедка, баловень семьи, всякий раз опустошал запасы сбереженных ею сладостей. Но для нее это было полбеды, лишь бы не выслушивать несносную, нудно-однообразную болтовню молодых людей. Она незаметно брала одну из своих книжек, уходила в большую саклю и устраивалась читать у коптилки.

Но теперь, когда не стало Куляц, Нафисет почувствовала всю тягость старых обычаев. Пока она была младшей сестрой, которой еще рано помышлять о замужестве, цепи ее были несколько ослаблены, теперь

же они оказались крепко стянутыми. Ее начали лишать единственной свободы — уединения с книгой.

Особенно тяжело приходилось Нафисет с наиболее взрослыми парнями. Эти надменные в своей патриархальной величавости усатые детины в больших папах, с черепами, туго набитыми трухой первобытных понятий и предрассудков, нестерпимо строго соблюдали все обычаи. Особенно несносны были те из них, которые обладали материальным достатком, из родовитых.

Приходила такая компания парней и, рассевшись чинно, с соблюдением старшинства, начинала разговор обычными ухажерскими формулами: «Головой своей и всем существом стремлюсь я к одной девушке...» По принятому обычаю Нафисет должна была стыдливо притвориться непонимающей и, пощекотав сердце парня кокетливой игрой слов, заставить его назвать имя девушки.

По Нафисет претила вся эта комедия. Ей уже был знаком иной строй мышления, и она узнала о существовании иной основы для сближения душ, когда любящее сердце чутко ловит малейшие желанья и порывы другого сердца.

Никому из этих ухажеров — «тыквоголовых», как называла она их про себя, — никогда и не забредали в голову такие мысли. Им не было никакого дела до того, какие мечтания волновали Нафисет: они искали в ней не близкого друга, а просто жену. Они были уверены, что она, рожденная адыгейкой, станет в конце концов покорной женой. Весь вопрос в том, кто из них прежде завладеет ею. Возможно, что они и догадывались о превосходстве ее ума, о ее знаниях, необычных для адыгейской девушки, но и это обстоятельство несколько их не беспокоило: «Как ни умна женщина, какими знаниями она ни обладает, мужчина всегда будет умнее ее. Ум и знания жены-рабыни — лишь украсят дом».

Нафисет отлично понимала их помыслы. Ее оскорбляло такое попрание человеческих достоинств, возмущали откровенно раздевающие взгляды. Но что она могла поделать? Заставить уважать себя и считаться с ее стремлениями? Они не поймут и не захотят понять, а только возмущенно закричат на весь аул и осудят ее, как нарушительницу адата. Женщина ведь не имеет права показать превосходство своего ума перед

мужчиной: она должна покорно унижаться перед ним. В ответ на их назойливые притязания она хотела бы ответить: «Мне пока еще не до замужества. Мне предстоит долгий и трудный путь к самостоятельной жизни». Но это покажется им еще более диким. Они скажут: «Может ли быть какое-либо иное дело у взрослой девушки, кроме желанья выйти замуж? Пусть же радуется, если женихи заглядывают к ней!»

Они приходили, когда им вздумается, нисколько не считаясь с тем, каким делом она занята и желает ли их принять. Они даже поднимали ее с постели, если она уже легла спать, ибо девушка должна безропотно и радушно встречать посетителей в любой час, и они иногда намеренно появлялись в неурочное время, чтобы проверить ее пригодность стать хорошей, терпеливой, не сетующей ни на что женой.

Но стоит девушке решиться на малейшее невнимание к ним, — злая молва пойдет по аулу: таков обычай.

Нафисет стояла перед ними, точно связанная, бесправная, беспомощная. Она не смела высказать своих желаний и своего мнения. Они были словно помешанные, с которыми можно говорить лишь в свете их ложных представлений, иначе наступит буйство. Нафисет знала наиболее уязвимое место в их ограниченном сознании — это их мужское самолюбие, и все ее заботы были направлены на то, чтобы не задеть его. Скромно и уклончиво отвечая на их жениховские притязания, она осторожно пыталась перевести разговор на другие темы. Это ей удавалось, когда в компании преобладало новое поколение молодежи, которое, как и сама Нафисет, чутко ловило зов новой жизни и тянулось к знанию. Незаметно она вводила от развязных попыток просветиться в ухажерском искусстве и увлекала в иную сторону их любознательность. Постепенно разряжалась обстановка неловкости, отодвигались в сторону жениховские помыслы, и беседа принимала дружеский характер. На столе появлялись книги, и ребята, позабыв о том, что она — девушка, слушали ее рассказы.

Но когда в компании преобладали «тыквооголовые», Нафисет часто приходилось раскаиваться в своих попытках. Те считали глупостью все, что не укладывалось в их привычные понятия, и умолкали, осуждая Нафисет. «Девочка не имеет представления о том, что такое адыгейские обычаи, и не понимает, что мы пришли сю-

да не для того, чтобы слушать проповеди девушки-эфенди...» — надменно говорили они потом в ауле. Их медоточивые тирады неловко прерывались, они просиживали еще некоторое время в тягостном молчании и, как бы сожалея о том, что девушка тронута умом, уходили, унося в душе обиду и возмущение.

Так постепенно в отношениях своих к Нафисет аульская молодежь расслоилась на две группы. К одной группе принадлежала молодежь, в сознании которой уже бродили новые идеи. Эти оценили обаяние необычного облика девушки. По инициативе Тыхуцука и других комсомольцев вокруг нее образовался небольшой кружок для чтения книг.

Другая группа — «тыквоголовые» — постепенно уходила в сторону.

Но один «искатель» упорно не оставлял Нафисет. Это был Измаил. Он изредка заходил и при Куляц. Всячески избегая возможности оказаться в числе поклонников Куляц, он и тогда предпочитал общество Нафисет. Заходил он обычно как бы случайно, мимоходом и, снисходительно позабавившись шуткой с Нафисет, удалялся, не засиживаясь. Похоже было на то, что этот мужчина питает чувство дружбы к юной девушке. Ему доставляло удовольствие поворошить грубовато-ласковой шуткой душу Нафисет — и только. Во всяком случае, Измаилу удалось придать благовидный характер своим посещениям дома Установковых и своему уходу за Нафисет.

Незаметно для себя Нафисет привыкла к такой дружбе. Ее постоянная настороженная враждебность к мужчинам не устояла перед обаянием искусно разыгрываемой, непринужденно-шутливой приветливости. С юной готовностью потренироваться в находчивости ума она охотно принимала вызов Измаила в шуточных поединках и постепенно стала проникаться признательностью к нему за его снисхождение к ней в этой игре. Лицо, озаренное доброжелательной улыбкой, было для Нафисет такой же редкой радостью, как и яркий просвет неба в пасмурный день. Это было понятно: почти все окружающие ее люди придерживались духа суровых традиций. В старании придать себе большую солидность они всегда были неприступно суровы, привет и улыбку отпускали по строгим нормам дозволенного.

Нафисет стала чувствовать такую же чисто детскую

привязанность к Измаилу, какую питала и к Халяхо за его добродушную стариковскую ласку. Посещения Измаила даже стали ей желанными.

Но она все еще хранила некоторую недоверчивую сдержанность, старалась в своей ответной шутке не переступать грани почтительности к старшему. Иногда она сама становилась в положение старшей, силилась подавить распирающий ее смех и отмахивалась от искушения позабавиться. Но в конце концов ее строго стиснутые губы невольно размыкались... и она хохотала от души.

Нафисет чистосердечно принимала дружбу Измаила, не подозревая, что ее подстерегал опытный ловец, умеющий скрывать не только свои помыслы, но и свои пороки. Не в пример другим, он и не показывал своих инстинктов и не проявлял прямолинейной непримиримости ко всему новому. Когда Нафисет, увлекшись, касалась своих познаний, о которых Измаил не имел представления, тот искусно увертывался от разговора, принимал снисходительно-солидный вид, будто эти ребячьи утехи давно уже наскучили ему. Замявшись немного и как бы щадя наивность Нафисет, он ловко переключал разговор на свой лад.

Но как ни осторожен был Измаил, все же Нафисет постепенно стала замечать его вороватые повадки, скрытые под личиной величественной осанки. Не позволяя себе ничего лишнего, он только иногда, словно в увлечении шуткой, вдруг сжимал ее руки, — но Нафисет инстинктивно чувствовала порочный огонь в этих прикосновениях и страшилась его...

Иногда, поймав на себе пристальный взгляд Измаила, Нафисет осекалась на полуслове и, покраснев от стыда и негодования, опускала глаза. В одно мгновение исчезало в ней то доверчивое расположение, которого так долго и рассчитанно-терпеливо добивался Измаил.

Но Измаила это не обескураживало. Он обладал настойчивостью неутомимого охотника. Сделав вид, что вовсе не замечает страха и настороженности Нафисет, он вновь искусно натягивал на себя маску солидного, доброжелательного шутника.

Однако Нафисет уже не могла быть и далее столь беспечной и доверчивой. Ее настороженность росла, и становился постоянным сдержанно-учтивый холодок в

ее отношении к нему. А со дня убийства Ахмеда у нее появилась и настоящая враждебность к Измаилу: Доготлуко поделился с ней своими подозрениями.

После выхода Куляц замуж Измаил начал чаще появляться в доме Установковых. Он старался не смешиваться с компанией молодежи и приходил чаще вместе со своим другом — Лыхужем. Постепенно он стал примешивать к своим снисходительным шуткам и прямой разговор о женитьбе. Нафисет утратилась, пыталась отшутиться, но он не отступал, приучая ее к мысли, что она уже взрослая и с ней можно говорить теперь как с невестой. Так незаметно он перешел к открытому домогательству.

Она ужаснулась, хотела порвать все, связывающее ее с ним. Но это было уже не в ее воле: у адата есть своя логика, большей частью нелепая и фальшивая, но все же очень крепкая. Человек, живущий по законам адата, должен в своих суждениях и поступках следовать по запутанным извилинам этих законов: жизнь и стремления людей оказываются как бы замурованными в сложном лабиринте условностей.

Нафисет не могла отступить просто потому, что она так хочет, а должна была, не оскорбляя мужского самолюбия Измаила, суметь отойти от него и запрятаться в лабиринте тех же законов адата.

Но в логике адата Измаил разбирался куда лучше ее. Ничто не помогало ей укрыться от него. Когда она выставляла против него обычный свой довод: «Если бы настала пора мне выходить замуж, я могла бы дать тебе определенный ответ...», он легко выбивал этот довод из ее рук, и ей оставалось только откровенно раскрыть перед ним свои совсем иные стремления.

Измаил делал вид, что не осуждает ее, а, наоборот, сочувствует. Но он не хотел верить, что из-за этих «химерных» мечтаний Нафисет откажется от такого мужчины, как он, — ведь выбор его осчастливил бы любую девушку в ауле! «Она стремится выделиться хоть чем-нибудь и возится со своими книжками, как иные с модным покроем платья... Пусть возится... Выйдет замуж, оставит все эти глупости и станет умной, выдержанной женой...» — так рассуждал он.

Его мужское самолюбие, во всяком случае, будет удовлетворено. Теперь же он слишком далеко зашел, его интерес к этой своенравной девочке получил оглас-

ку в ауле. Ему невозможно отступить: это стало для него уже вопросом чести.

По аулу действительно пошла молва: «Измаил безумно влюблен в Нафисет, жаждет жениться на ней, но Нафисет пренебрегает им...»

Нафисет и без того была постоянным предметом всяких пересудов. Немало было у нее друзей и еще больше недругов, завидовавших ее успеху среди молодежи. Сплетня об Измаиле и Нафисет попала на язык обывательниц, как острая приправа к их бесцветной жизни, и они с особым удовольствием лужгали ее. Из уст в уста, со двора во двор, по нескольку раз в день сплетня обегала весь аул. Проскакав по одной улице, она возвращалась обратно, обогащенная добавлениями. Одни верили сплетням, другие не верили, наоборот, находили ее неудачной. Недруги Нафисет не давали остывать сплетне и постоянно подогревали, переворачивая ее с быстротой и ловкостью искусных стряпух.

А люди из компании Хаджи Бехукова подбавляли яду: «Мы думали, что Измаил — мужчина, но, оказывается, он позволяет какой-то девчонке измываться над собой...»

Нафисет заматалась, словно в ловушке. Сознывая опасность, нависшую над нею, она то застывала от леденящего ужаса, то вскипала гневом и возмущением. «Что им пужно от нее? Кто распространил эту нелепую сплетню? Почему она не вольна над самой собою? Разве она обещала ему выйти замуж?»

Как утопающий за соломинку, хваталась она за надежду, что Измаил встретит с разумным пренебрежением эту злобную сплетню. Все может уладиться по-хорошему, если только Измаил окажется умнее сплетников. Но, поразмыслив, она пришла к выводу: «Нет, он примет это так же, как приняли бы все ему подобные...»

Глава четвертая

Нафисет поливала свои цветы, когда затрещали плетневые ворота и во двор неожиданно вошел Измаил. В бешмете табачного цвета, стройный, внушительный, он ступал как-то особенно торжественно, и Нафисет сразу догадалась, что на этот раз он явился неспроста. За ним, как мрачная тень, двигался неизменный Лыхуж, в рубахе без пояса, коренастый, широченный в плечах,

с лицом кретина, с вывернутыми губами и тяжелым взглядом.

Нафисет испытывала смутную тревогу, когда встречалась с Лыхужем. Приходя с Измаилом, он усаживался в угол и большей частью молчал. Лишь изредка слышался его скрипучий голос, вставляющий в беседу какие-то нескладные, будто необтесанные слова. Что-то уродливо жестокое было в его тупом, непомерно вытянутом лице с широким ртом и немигающим взглядом.

И теперь, когда вслед за Измаилом во двор вошел коренастый Лыхуж, Нафисет вдруг представилось, что это кривоногое существо в рубахе без пояса не человек, а только двойник Измаила. Вернее даже — не двойник, а уродливая изнанка показной красоты и фальшивой степенности его.

Нафисет выпрямилась и застыла в немом страхе, позабыв об испачканных руках. Измаил с ходу победоносно улыбнулся:

— Нафисет, если бы твои гости удостоились хотя части тех забот, которые ты проявляешь к этим цветам, — они, наверное, испытали бы блаженство...

Говоря так, Измаил бесстыдно обшаривал глазами статную фигуру девушки. Пристальный взгляд его скользнул по обнаженным рукам, по груди и остановился на загорелой и нежной шее. К нему страху девушки присоединилось ощущение, точно она стоит перед Измаилом голая.

Чувствуя, что ей надо что-то сказать, она растерянно пролепетала:

— Милости просим, пожалуйста в дом! — И, наклонившись над ведром, суетливо стала мыть руки...

Войдя вслед за гостями в комнату, она сделала вид, что смущена беспорядком, и кинулась прибирать вещи — так она оттягивала начало разговора. Но очень скоро все оказалось прибранным, гости уселись, а она, с опущенными глазами, встала на свое место между изголовьем кровати и столом.

— Долго ты не заходил, — робко начала она.

— Если бы я знал, что мое отсутствие тебе покажется долгим, приходил бы чаще... — многозначительно отозвался Измаил.

— Наверное, знаешь, что такой гость нам приятен, а не ходил потому, что склонности в сердце не было...

Нафисет чувствовала, что говорит не то, что надо.

Но Исмаил уже ухватился за конец нити, которую она сама подала ему.

— Я подумал, что та огласка, которую получили в ауле наши с тобой отношения, будет неприятна тебе, и воздерживался от посещения... — сказал он, испытующе глядя на девушку.

Гнев и возмущение закипели в душе Нафисет: «О каких отношениях он говорит? Разве у них была какая-нибудь договоренность?» Она готова была вспылить и бросить ему открытый вызов, но сдержалась и спокойно проговорила:

— Если подчинять свою жизнь указке сплетников, то невозможно будет и жить.

— Но раз живешь с людьми в ауле, то нельзя не считаться с тем, как смотрят эти люди, — возразил Исмаил.

Нафисет не нашла, что сказать на это. Исмаил, подождав ответа, полушутливо продолжал:

— Нафисет, подумаем вместе, как отнестись нам с тобою к мнению аула.

— Я не особенно обеспокоена этими сплетнями, — твердо сказала девушка. — Считаю, что и тебе не следует придавать им значения.

— Тебе можно не обращать внимания, твое имя не опозорено, — включился в разговор Лыхуж. — Но Исмаил, если он мужчина, не может этого сделать...

— В конце концов не так важно, что говорит аул, для меня более важно, что скажет сама Нафисет. Против моей воли я вынужден раскрыть желание своего сердца... — начал Исмаил и длинным путем инсинуаций и окольных намеков подвел цепь рассуждений к прямому вопросу — согласна ли она выйти за него замуж или нет? И прибавил, что она должна сейчас же дать окончательный ответ.

Нафисет попыталась прибегнуть к обычным в таких случаях уловкам: для такой девчонки, как она, столь завидное предложение является незаслуженным счастьем, но сейчас ей еще рано думать о замужестве. Когда же придет время ее замужества, тогда можно будет возобновить разговор, если к тому времени не изменится его отношение к ней...

Исмаил насмешливо посмотрел на нее: эта девчонка воображает себя свободной! Пусть воображает! Ему

незачем нервничать, он всегда сможет взять ее, когда захочет, если не по доброй воле, то силой.

Непринужденно заложив ногу за ногу, он сидит перед ней и с холодным злорадством расставляет сети патриархальных понятий, увещательным тоном доказывая, что по сложившимся обстоятельствам у них нет другого выхода, кроме женитьбы. Если бы не людская молва, он не стал бы торопить и наставлять, но теперь иначе нельзя. Нафисет должна дать согласие, спасти его лицо перед людьми и осчастливить его сердце. Не потому он пристал к ней, что не находит невесты. Но сердце его избрало из всех девиц именно ее. Поэтому она сейчас же должна дать окончательный ответ.

Спутник его изо всех сил старался помочь Измаилу, скрипучим голосом расписывая рай ее совместной жизни с ним и время от времени показывая из-за спины палку угроз:

— Для таких мужчин, как Измаил, честь — не игрушка. Такие мужчины, чтобы сохранить перед людьми свое лицо незапятнанным, не останавливаются не только перед своеправным неблагодарием девушки, но даже и перед смертью. Будет лучше, если ты не отравнишь своим упрямым неразумием будущую совместную жизнь...

Нафисет отважилась оставить условности и встретить опасность лицом к лицу.

— Из-за того, что аульским сплетникам что-то взбрело в голову, я не намерена изменить свой жизненный путь. Ни капли моей вины в этих сплетнях нет. Никогда и никому я не давала повода думать, что помышляю о замужестве. Шутливое внимание, которым удостоивал меня Измаил, я принимала как добрую дружбу, а если бы подозревала, что за этим скрывается, я не относилась бы к нему доверчиво.

В комнатке установилось зловещее молчание. Наигранная улыбка мгновенно соскользнула с лица Измаила. Скривив губы и злобно щуря глаза, он некоторое время помолчал, соображая, как ему поступить. Затем резко выпрямился на стуле, пренебрежительно пожал плечами и холодно произнес:

— Не знаю, где ты выросла и где воспитывалась, Нафисет! Или, может быть, ты прикидываешься такой наивной? Во всяком случае, ты должна была знать, что если мужчина избирает местом своих постоянных

посещений дом девушки, то люди смотрят на это определенным образом. Нет, я не верю, что ты так глупа и что не понимаешь этого! Теперь, когда людское мнение сложилось таким образом, отступить мне уже поздно. Чтобы избежать позора, люди платятся жизнью...

Измаил поднялся, надменный, темный, страшный в своей затаенной решимости, и прибавил:

— Подумай хорошенько над этим и дай окончательный ответ!

Они ушли, оставив Нафисет в таком состоянии, словно возле нее ударила молния.

Последовавшие дни и ночи потянулись в гнетущем предчувствии беды. Какая именно опасность угрожает ей и что предпримет Измаил, Нафисет не знала. Но знала одно: он способен на все. Кто поверит ей, если она скажет, что этот мужчина — зверь, чудовище? Кто придет на помощь в минуту беды, приближение которой ощущает лишь она одна?

Даже Доготлуко, единственный человек, с которым она решилась откровенно поделиться своими опасениями, не принял всерьез ее слов.

— В наше время, — сказал ей Доготлуко, — даже Измаил не решится на насилие. А если вздумает, мы живо отобьем у него охоту!

Пока не стряется непоправимая беда, никто не поверит, что она близится. Страшнее всего то, что Нафисет некуда уйти. Она привязана к этому месту, к этому дому рождением и всей жизнью. Иная жизнь, к которой устремлен ее тоскливый взор, далека и недосягаема для нее, как ослепительная синева неба.

И вот со дна души ее поднялось запрятанное чувство к Биболэту, поднялось и захватило ее всю. Пережить хотя бы в мечтах счастье, которое было так желанно, но которое теперь безвозвратно уходит!.. В полном смятении она вдруг решила написать Биболэту, послать ему весточку напоследок, чтобы дать почувствовать ему, ослепленному своим счастьем, с какой невыразимой сладостной болью тянется ее сердце к нему. В этом желании, конечно, была и затаенная надежда, что Биболэт откликнется, ответит и, может быть, придет на помощь...

Однако, когда она приступила к письму, робость вновь овладела ею. Слова ложились на бумагу плоские, чужие, как простая благожелательность далекой знако-

мой. Написав и запечатав письмо, она с неделю носила его на груди под платьем и наконец отважилась попросить Доготлуку отправить письмо.

Ожидание ответа стало для нее спасительной соломинкой. Если бы она получила хоть маленькую весточку от Биболэта, она была бы способна бороться со всем миром. Страх перед Измаилом несколько отступил в эти дни, и все мысли и надежды сосредоточились на ожидании ответа. Когда приходил Доготлуку или кто-нибудь из комсомольцев, она бросалась навстречу — вот он, наверное, несет ей письмо... Но каждый раз напрасно. Мгновенно угасала радость на лице. Так прошел месяц — ответа не было. Дни побежали дальше — Нафисет уже перестала ждать. Однако в самой глубине сердца все еще теплилась далекая, слабая надежда. «Может быть, он не получил письмо, мало ли что могло случиться! Не может быть, чтобы Биболэт пренебрежительно отнесся к ней... Такими ясными глазами смотрел он на нее в тот памятный вечер...»

...И когда Доготлуку предложил ей поехать с ним и Мхаметом на праздник автономии в район и, словно не подозревая ничего, как бы между прочим, сказал: «Возможно, что мы там встретим нашего знакомого — Биболэта!» — она радостно вспыхнула и растерянно спросила:

— Разве он не в Москве сейчас?

— Нет, я слышал, что он в Краснодаре, — спокойно сказал Доготлуку. — Это, должно быть, правда, потому что сейчас летний перерыв в учебе. Если он действительно в Краснодаре, то, наверное, приедет на праздник. Приятно было бы встретить его — хороший парень...

Нафисет, вся зардевшись в смятении волнении, промолчала, что-то сосредоточенно соображая.

Глава пятая

Доготлуку и Мхамет, выйдя из помещения районного исполкома, направились к бакалейной лавчонке, находившейся напротив.

Люди, сидевшие в тени крыльца у лавки, лениво переговаривались, глядя в сторону выгона, где под августовским солнцем переливалось стеклянно-синее мажево.

— На реку похоже, — сказал один из сидевших, мужчина средних лет.

— Ты что же, Мос, впервые, что ли, видишь переливы испарения? — насмешливо спросил сидевший рядом с Мосом.

Доготлуко и Мхамет остановились, залюбовавшись сказочно красивым зрелищем. Верховой въехал в марево, и силуэт его тотчас же переломился, как отражение в воде.

— Действительно, на реку похоже, — сказал Доготлуко и легонько подтолкнул Мхамета.

Они вошли в лавку.

Когда, купив табак, они снова вышли на крыльцо, люди, сидевшие в тени, говорили уже о всаднике.

— В пиджаке, в русской шапке и в седле крепко сидит, — должно быть, коммунист! — сказал тот, которого назвали Мосом.

— Занятные люди — эти коммунисты! — задумчиво отозвался один из собеседников. — Про них болтали бог знает что... А оказывается, они умеют сидеть в седле крепко, как и на земле твердо стоять. Настоящие мужчины — это они.

— У этого — адыгейская посадка, — сказал третий, кивнув головой в сторону приближающегося всадника.

Мхамет взгляделся в верхового и вдруг обрадованно крикнул:

— Да ведь это Биболэт!

— Он самый, — сказал Доготлуко и, быстро сбежав с крыльца, окликнул всадника:

— Биболэт!

Всадник круто осадил коня и спрыгнул наземь.

Друзья обнялись. После первых отрывочных слов и радостных восклицаний Биболэт спросил, кто еще приехал с ними.

— Самая красивая и самая славная девушка аула, — загадочно сказал Мхамет.

— Кто же именно?

— Самая достойная и самая красивая из наших девушек...

— Одним словом, Нафисет, — прибавил Доготлуко, прекращая игру в загадки.

— Нафисет приехала! Где же она? — горячо вырвалось у Биболэта.

— Тут, у знакомых.

— Если ты крепко попросишь нас, мы поведем тебя к ней! — хитро усмехаясь, сказал Мхамет. — Она теперь уже не та, какой ты знал ее несколько лет назад... Замечательная девушка!

— А как у нее с учебой?

— С учебой ничего пока не вышло, но она одна из первых активисток нашей ячейки. Умная, выдержанная, мечтает учиться, — сообщал Доготлуко.

— Мне непременно надо повидать ее.

— Если ты, по своей привычке, будешь ходить вокруг да около, ты никогда не доберешься до женитьбы! — засмеялся Мхамет. — Ты попроси нас с Доготлуко, и мы в два счета обтяпаем свадьбу! Вот пойдем сейчас с нами и сразу начнем дело.

— Нет, сейчас я не могу, — сказал Биболэт. — Я хотел еще вчера приехать, но заезжал домой и задержался. А теперь должен немедленно явиться в райком. Вот вечером, когда освобожусь, встретимся и обязательно пойдём.

— Надо пойти и повидать ее, Биболэт, — сказал Доготлуко с какой-то скрытной озабоченностью. — Нафисет носит в сердце обиду на тебя...

В словах Доготлуко о Нафисет открыто проявилось его сочувствие к девушке и забота о нем, Биболэте. Да и во всех обстоятельствах встречи, в том, как Доготлуко без обычных многословных приветствий заговорил с ним, Биболэт почувствовал, что перед ним настоящий друг.

«Откуда возникла такая сердечная близость? — думал он. — Мхамета я знал давно, но наши отношения с ним не пошли дальше приязни. А вот Доготлуко — тот кажется испытанным и близким другом, хотя я только второй раз вижу с ним!» — думая так, Биболэт внимательно разглядывал Доготлуко.

Этот славный парень сильно переменился с тех пор, как они встретились в первый раз. Тогда усы у него только пробивались, а теперь отросли настолько, что Доготлуко закручивает их колечками. И взгляд у него стал шой: раньше в глазах его заметна была беспокойная настороженность, теперь же они смотрят открыто и уверенно. Хорошо, что этот человек нашел свое место в жизни!..

И Биболэт ответил на товарищескую искренность Доготлуко такой же искренностью.

— Да, у Нафисет есть за что быть недовольной мною, — просто и твердо сказал он. — Я вовремя не смог ответить на ее письмо.

...Друзья расстались, условившись встретиться вечером и пойти к Нафисет.

Но Биболэт был членом областной комиссии по проведению Дня автономии, и в райкоме его так загрузили работой, что он не смог в этот вечер вырваться к Нафисет. Он освободился только к открытию праздничного джегу. Протиснувшись сквозь плотную толпу, обступившую танцующих, он сразу увидел Нафисет. Окутанная дымкой газового шарфа, она стояла среди празднично одетых девушек. Биболэт даже оторопел от неожиданности и с удивлением спросил себя: «Неужели это она?» — так переменилась, так повзрослела и похорошела Нафисет.

Биболэт не сводил с нее глаз. Но она не замечала его, хотя иногда смотрела в его сторону. Один раз Биболэту показалось, что она увидела его. Он приветливо кивнул ей, она не ответила. Обида уколола его сердце. Но вот, наконец, глаза Нафисет, задержавшись на нем, расширились. Он даже на расстоянии заметил, как огненная краска мгновенно охватила ее лицо. Она бессознательно подалась в его сторону, точно птица, готовящаяся к полету, но тут же опомнилась и опустила голову в расшитой золотом шапочке.

В ту же минуту над самым ухом Биболэта послышался оклик:

— Товарищ Мозоков!

Он обернулся и увидел сотрудницу облизполкома, приехавшую на праздник.

— Вы неуловимы, товарищ Мозоков! — говорила она с веселым смехом. — Мы вас со вчерашнего вечера ищем. А еще обещали держать шефство над нами, на квартиру устроить, с людьми познакомиться!

— А вы разве не устроились? — всерьез смутился Биболэт.

— Что вы! Здесь все так гостеприимны. Но я думаю, можно было рассчитывать на большее внимание с вашей стороны, — кокетливо смеялась женщина.

У Биболэта отлегло от сердца, он облегченно вздохнул и, оживившись, спросил:

— Ну как вам нравится адыгейский джегу?

— О, замечательно! А какие танцоры! Я думала,

все адыгейцы такие хмурые, серьезные, как вы. (Она изобразила серьезную гримаску).

— Ну, ладно, насмешница, — погрозил пальцем Биболэт, рассмеялся и опять обернулся к Нафисет.

Она встретила его холодным, безразличным взглядом. Биболэт обеспокоился, — что случилось, чем объяснить эту перемену?

Между тем соседка его, в восторге от всего, что видела, теребила расспросами:

— Я и не подозревала, что в ауле столько красивых девушек. Вот посмотрите-ка на эту! — она схватила его за локоть и указала в сторону Нафисет. — Видите, какая красавица и как идет ей адыгейский костюм! И держится она просто и мило.

Биболэт, озабоченный внезапной переменой, которую он заметил в отношении Нафисет к нему, отвечал своей собеседнице рассеянно и невпопад.

— Товарищ Мозоков, я умираю от жажды! — не отставала от него гостья.

Биболэту пришлось отвести ее в ближайший дом.

Возвратился он в тот самый момент, когда джегуако вывел на круг Нафисет и позвал какого-то Анзаура. Быстрый, как оса, перетянутый в поясе, статный молодой человек вылетел из рядов мужчин и повел за собой в танце Нафисет.

Гармоника брызнула звуками популярного адыгейского танца. Трещотки и хлопанье в ладоши сразу усилились. Анзаур, видно, был известный танцор, и с мужской половины джегу слышались поджигающие выкрики любителей. Все заметно оживилось.

Нафисет плавно обошла вслед за своим партнером большой круг джегу, потом, словно отвернулась сердцем от молодого человека, отделилась от него и, гордо подняв голову, понеслась вперед.

Как прекрасное видение из сказки, она совсем близко проплыла мимо Биболэта, но даже не взглянула на него...

Молодой танцор, «покинутый» своей возлюбленной, не щадя ног, помчался вслед за девушкой и настиг ее. Та, невозмутимо безразличная к нему, гордо и плавно неслась по кругу.

Танцор, как бы разгневавшись на неумолимую девушку, оставил ее, обежал несколько раз круг джегу и снова вихрем налетел на девушку. «Посмотри, какой

я, опомнись, гордая!» — как бы говорил он, самонадеянно и покровительственно простерши над нею руки. Сердце танцора объято пламенем любви, он неистовствует и, как пущенный волчок, кружится вокруг нее, но сердце девушки — камень, она влюблена только в свой полет: безучастная и неумолимая, она парит легкой птицей, расправив руки-крылья и отдаваясь легкому потоку воздуха.

Нафисет и ее партнер внезапно отворачиваются друг от друга и уносятся в противоположные стороны круга. Будто они уже чужие и от холода разлада стынет в их жилах кровь — отчужденно, холодно танцуют они в отдалении друг от друга.

Наконец девушка сжалась над влюбленным: она хотела только проверить его чувства и теперь приветливо летит к нему. Тот в охватившем его восторге устремляется навстречу, радостно выписывая узоры ногами.

Но женщине сладостны муки влюбленного — она не подпускает его и вновь удаляется, одаряя влюбленного обворожительной улыбкой. Мир для танцора вдруг озарился ослепительной радостью, восторг счастья охватил его, и в вихревом танце он неистово чертит полами черкески землю вокруг себя.

Но преждевременно обрадовался он: девушка коварно отворачивается и свободной птицей улетает от него, распластав руки-крылья.

Такого коварства он не ожидал! Разъяренный пуще прежнего, со жгучей жаждой мести, он стремглав бросается за ней, шалетает, как коршун на квочку, и, иступленно танцуя вокруг нее, вздымает клубы пыли.

Но вот девушка, слегка перебирая ногами, останавливается прямо против Биболэта. Поджидая своего партнера, она начинает сама хлопать ему в ладоши, будто говоря: «Если ты мужчина, докажи свою удаль в танце. Понравишься, заслужишь — выйду замуж». Гнев уступает место любви — парень вновь обретает счастье надежды, и молодые танцоры, распластав руки друг над другом, начинают свой счастливый плавный полет по кругу...

Биболэт хорошо знал этот танец и не раз видел его в исполнении общепризнанных танцоров, но в таком глубоко лирическом истолковании он видел его впервые. Он увидел поразительную импровизацию и сразу понял,

что главным автором этой импровизации была Нафисет.

Он стоял, восхищенный и подавленный. Он знал, что для такой натуры, как Нафисет, поведение всегда согласуется с искренним велением сердца, и холодное равнодушие, с которым она вдруг отвернулась от него, очевидно, было вызвано какой-то его, Биболэта, серьезной виной. Какая это вина — он не знал. Однако одну свою большую вину он теперь определенно чувствовал: раньше он явно недооценивал Нафисет. В его отношении к ней, к ее беспомощности, к ее чистым и возвышенным порывам преобладала снисходительная жалость. Эта жалость была согрета теплотой самых нежных чувств, но он еще не осознавал их. Он только сейчас, во время танца, понял, как много она значит для него...

С тревогой и нежностью он смотрел на девушку. Она стояла теперь в пестром ряду девиц, взволнованная, раскрасневшаяся... «А что, если этот парень, с которым она танцевала, — ее любимый?» От этой мысли сердце Биболэта сжалось.

Тут его позвали к гостям, приехавшим из Краснодара. Когда он вернулся, джегу уже приближался к концу. Поискав глазами Нафисет, он не увидел ее на месте. «Может быть, пошла отдохнуть», — подумал он и медленно прошелся по рядам. Ее нигде не было видно. Вскоре джегу закончился, и Биболэт возвратился к гостям.

В сумерках, направляясь в райком, он встретился с Доготлуко. Не пытаясь уже скрыть свою тревогу, он без всяких околичностей спросил Доготлуко:

— Где Нафисет? Почему она ушла с джегу?

— Не знаю... — ответил Доготлуко. — Сказала, что голова болит, и я отвел ее к знакомым, у которых она остановилась. Дорогой все просила: «Давайте уедем сейчас же домой!», но я уговорил ее остаться.

— Знаешь что? — предложил встревоженный Биболэт. — Подожди меня здесь, я на минутку зайду в райком, а потом мы вместе пойдем к Нафисет.

Через несколько минут он вышел из райкома, и Доготлуко повел его в тот дом, где остановилась Нафисет.

Молодой хозяин встретил их приветливо и пригласил в горницу.

На кровати спал малыш.

— Посмотрите-ка на этого парня! — сказал Биболэт, любуясь безмятежным сном ребенка. — Наверное, был на джегу и крепко устал.

— Этот мужчина действительно гулял на джегу, — отозвался хозяин. — Он даже песенку там выучил.

— Какую же песенку?

— Да ту, которую школьники пели...

— Ишь ты! — искренне удивился Биболэт. — Видно, бойкий малыш... Вот бы его послушать!

Польщенный вниманием к его ребенку, любезный хозяин некстати принялся тормошить сына:

— Нау! Нау! Спой песню, которую ребята пели на джегу...

Малыш сел на кровати и спросонья начал хныкать.

— Нау! Нау! — не отставал от него отец. — Гости пришли, хотят послушать... Споешь им, а я завтра пока-таю тебя на вороном.

Очевидно, слово «вороной» произвело на мальчика сильное действие. Он протер кулачками глаза и тоненьким, чуть хриплым голоском запел:

— Поднимай выше знамя, вперед!..

Дальше этого песня не пошла: сон одолел малыша, и он опять кувыркнулся в постель.

Хозяин дома пошел к двери с явным намерением распорядиться об угощении.

— Мы просим вас не беспокоиться! — сказал хозяину Биболэт. — Мы пришли только повидаться с Нафисет.

— Но она уехала! — объявил хозяин.

— Как!? Почему?! — вскрикнули оба друга.

— А я и сам не знаю, почему, — сказал хозяин. — Как пришла с джегу, так сразу и пристала ко мне, чтобы ее сейчас же отпустили домой. Сколько я ни уговаривал, ничего не помогло. Говорила, что голова разболелась. И в самом деле она бледная была, без кровинки в лице, на глазах слезы. Мне жалко ее стало. Мы испугались — вдруг заболест! — и отправили ее домой.

— Очень жаль, мне хотелось повидать ее, — сказал Биболэт, выслушав рассказ хозяина и стараясь скрыть гнетущее действие, которое произвел на него внезапный отъезд девушки. В голове его затеснилось столько догадок и предположений, что он не находил слов. Доготлуко и хозяин, словно понимая его переживания, молчали.

Посидев немного, Доготлуко и Биболэт поднялись, распрощались с хозяином и ушли.

— Что с ней случилось? — встревоженно произнес на улице Доготлуко.

— Вам, ее спутникам, следовало бы это лучше знать! — попытался пошутить Биболэт. — Раз девушка оставляет своих спутников, значит, она ими недовольна.

Шутка не получилась. Доготлуко чувствовал растерянность Биболэта и находил неудобным начать посторонний разговор. До самого райисполкома они шли молча, словно возвращались с похорон. У райисполкома Биболэт остановился, постоял немного и спросил, когда Доготлуко намеревается поехать домой.

Доготлуко сказал, что собирается уехать завтра.

— Я, наверное, ни сегодня, ни завтра не смогу обратиться к вам, — опечаленно сказал Биболэт. — Но послезавтра приеду непременно... повидая сестру и с вами поговорю как следует...

Глава шестая

Биболэту было известно, что Айшет с мужем еще в прошлом году отделились от семьи Бехуковых. Приехав в Шеджерий, он с трудом нашел их домик, заброшенный на край аула. Правильнее говоря, это был не дом, а утлая халупка, крытая дранью; напротив халупки находилась крошечная конюшня с прилепившимся к ней курятником; других построек во дворе не было.

Завидев брата, Айшет обрадованно кинулась к нему и потащила его в дом. Полуобмазанная кухонька, куда она ввела Биболэта, поразила его своим убогим видом. Бедность глядела из всех углов и щелей, и Биболэт, увидев полку, на которой жалко торчала старая посуда, с трудом удержал тоскливый вздох.

Айшет, не замечая опечаленного вида брата, суетливо хлопотала около казанка, который висел над очагом. Переполненная радостью встречи, она говорила без умолку. Любимый брат, как яркое весеннее солнце, взглянул на горизонте ее серенькой, нищенской жизни, она обо всем позабыла, и бледные впалые щеки ее заалели слабыми пятнами болезненного румянца.

Биболэт присел к очагу. От теплого дыхания огня на него повеяло уютom жилья, и он постепенно свыкся с обстановкой, окружающей сестру. «Бедность не такое уж большое горе, — с адыгейской готовностью мириться с трудностями жизни подумал он. — Было бы только

здоровье». Угнетенность его понемногу прошла, и он, оглядев кухню, с горьким юмором обратился к сестре:

— Как же это случилось: семья, от которой вы отделились, одна из самых зажиточных в ауле, а вы нищие остались? Своей доли не получили, что ли?

— Не вспоминай о них... — мгновенно помрачнела Айшет. — Ты говоришь — «долю не получили», а я рада, что голову целой унесла! Этот старый Хаджи из-за рубля горло перервет! Счастье наше, что последней одежды не содрал с нас...

— Может быть, Хаджи действительно жаден, но ведь ты трудилась в семье как рабыня!

— Мой не захотел поднимать шума. Он так решил: «Каким бы ни был Хаджи, а все же отец и старик...» И махнул на все рукой.

— Ну, если вы и дальше будете так рассуждать, то вам нелегко придется, — сказал Биболэт и, чуть помедлив, прибавил: — Думаю, тебе следовало взять свою долю...

— Я-то не молчала! — сказала Айшет. — Когда они из множества скотины выделили нам одну-единственную коровенку, да и ту нестельную, я пошла к Ивану и пожаловалась. Иван и Доготлуко взялись за дело и заставили их присоединить к этой коровенке еще одну, только что отелившуюся. Они советовали подать в суд и взять полностью свою долю. Но мы не захотели связываться.

— А какой же это Иван? — спросил Биболэт.

— Не помнишь разве батрака, который работал у Бехуковых? Он теперь большой человек: не знаю, как его там именуют, — рабочком, кажется. А я думала, ты все уже знаешь.

— А как Юсуф?

— Юсуф после женитьбы пошел по следам отца.

— Разве Юсуф женился?

— А ты еще не слышал? — удивилась Айшет. — В прошлом году женился. И сразу вылитый отец стал... Жадный, как собака, все тянет в свою кучу.

— Я знал, что рано или поздно это случится, — сказал Биболэт. — Но я все же думал, что это не сразу случится.

— Юсуф хитрый! — с раздражением проговорила сестра. — Он прикидывается, что в делах семьи не принимает участия... А на самом деле всеми вертит он. У-у,

он такой, что перещеголяет и отца! Когда мы отделились, он втихомолку старался обрезать нашу долю, хотя и делал вид, что жалеет нас.

Айшет пустилась было в нескончаемые рассказы о семье Бехуковых, но брат прервал ее, спросив, что стало с младшей дочерью Установых.

Айшет не заметила затаенного смысла этого вопроса и на ходу переключилась на эту тему.

— О, эта девочка! Она теперь такая славная невеста стала! Я очень хотела бы видеть ее твоей женой.

— Да, как раз только и дела у меня, что жениться, — прикинулся равнодушным Биболэт. — Я интересуюсь ею потому, что она хотела учиться...

— Разве такое счастье доступно адыгейской женщине? — грустно махнула рукой Айшет. — Она и сейчас тянется к учебе. Говорят, научилась уже хорошо читать книжки. Но что толку? Единственная возможность для нее учиться — это если она выйдет замуж за такого, например, человека, как ты.

— А она, значит, еще не вышла замуж?

— Если не вышла, то небось, не будет ждать тебя до старости лет! — буркнула сестра, раздосадованная его равнодушием. — Говорят, Измаил — он конокрад, но, правда, самый видный из женихов аула, — без ума от нее.

— А она как на это смотрит?

— Много разговоров ходит по аулу. Девушка, наверное, вела с ним обычные шуточные разговоры, потом, когда тот возымел серьезные намерения жениться, она отступилась. Тот принял это за оскорбление. Одно время стали поговаривать, что Измаил увезет ее насильно. Родители, кажется, не прочь выдать ее за Измаила. Но она противится, ни за что, говорят, не хочет выходить за него.

— Увезет, ты говоришь! Нет, теперь не те времена! — с неожиданной горячностью возразил Биболэт.

— А ему что! — твердо сказала Айшет. — Мало ли он душ погубил! Такой не задумается, увезет, заставит девчонку примириться с неизбежностью, и тогда дело уладят между собой по адату и скроют от суда.

Слова Айшет напомнили Биболэту об условиях, в которых живет Нафисет, и он понял, что такая опасность вполне реальна. Сердце его сжалось тревогой. Уже не слушая Айшет и сказав, что у него в аулсовете срочное дело, он торопливо вышел.

Глава седьмая

Придя в помещение комсомольской ячейки, он попросил позвать Доготлуку. Когда тот явился, он попытался окольными путями расспросить его о Нафисет. Но у Доготлуку было свое дело, которое больше всего занимало его в этот момент.

— Как хорошо, что ты приехал, Биболэт! — радостно кинулся он навстречу другу. — Сегодня у нас комсомольское собрание, и ты сделаешь нам доклад о международном положении. Правда, я не совсем надеялся, что ты придешь, но на всякий случай обнадежил комсомольцев, что доклад будет... Вот и славно вышло!

Первый раз в жизни у Биболэта появилось желание увернуться от общественной нагрузки, но, подумав, он не нашел возможным отказаться. «К Нафисет можно пойти и завтра. Если бы она заболела или что-нибудь с ней случилось, Доготлуку, наверное, сам бы сказал. Нельзя упускать возможности рассказать аульским комсомольцам о том, что делается в мире», — решил он.

Комсомольское собрание было открытое, и, кроме актива, пришло немало аульчан. Биболэт позабыл о своей тревоге за Нафисет и так увлекся, что разговорился часа на полтора, а потом долго отвечал на вопросы. Время незаметно перевалило за полночь.

Когда собрание окончилось и Доготлуку остановил поднявшихся людей, чтобы сделать какое-то объявление, ночную тишину прорвал далекий пронзительный крик. Вслед за криком послышались выстрелы. Доготлуку стремглав бросился к двери, крикнул на ходу:

— Комсомольцы, за мной!

...Вспоминая впоследствии эту ночь, Биболэт не мог восстановить путь, по которому они бежали. Он помнил только, что приходилось перепрыгивать через плетни, продираясь сквозь заросли кукурузы. Собаки с лаем преследовали их. Со всех концов раздавались встревоженные крики: «Что случилось? Что случилось?»

Казалось, весь аул кинулся бежать в одном направлении — к дому Установых. О том, что все устремились туда, он догадался лишь по слышанной в пути перекличке двух голосов:

— Что случилось? — спросил кто-то испуганно.

— Дочь Установых увезли! — ответил другой на бегу.

У ворот дома Устаноковых Биболэт наткнулся на группу темных фигур. В середине группы билась и причитала какая-то старуха, по-видимому, мать Нафисет:

— Молния черного несчастья ударила в мой дом! Пустите меня! Я знаю, кто обрушил на меня несчастье! Если у вас есть капля человечности, пустите меня, я подожгу их дом, как они подожгли мой дом несчастьем! Аллах, аллах, закрылись все двери моего дома, никогда в них больше не заглянет счастье и радость!

Она вырывалась из рук удерживающих ее. А за воротами, во дворе, кто-то нелепо топтался на месте и хриплым старческим голосом иступленно выкрикивал:

— Люди добрые, скажите, что это такое? Неужели не осталось в людях ни человечности, ни боязни греха? Проклятие падет на них!

Кто-то, уговаривая причитающего человека, назвал его по имени — Карбеч. Старик не унимался и продолжал ошалело топтаться на месте. Выйти за ворота он не мог, потому что даже в эту минуту помнил, что там находится его невестка, с которой, хотя она тоже старуха, ему по адату не полагается видеться.

Неподалеку от толпы, окружавшей Хымсад, сучилась другая группа людей. Оттуда тоже слышался взволнованный говор. Биболэт и Доготлуко подбежали к этой группе и увидели, что люди окружили тачанку, в которую была впряжена одна лошадь, тогда как другая в упряжке лежала на земле, сотрясаясь мелкой дрожью и обдавая присутствующих потным угаром. Кто-то, задыхаясь, рассказывал собравшимся:

— «Остановись — крикнул я. — Остановись, стреляю!» И выстрелил в погонщика. Не знаю, попал или нет, но погонщик свалился в кузов. Хотел стрелять в сидевших на заднем сиденье, но там среди них — девушка, и я боялся попасть в нее. Тогда я прицелился в лошадей и выстрелил. Как только лошадь упала и тачанка остановилась кто-то из них открыл стрельбу. Понимаете: я боюсь стрелять в них потому, что там девушка, а он спокойно метит в меня. Пока мы перестреливались, остальные подхватили девушку и скрылись.

Доготлуко узнал рассказчика по голосу и крикнул:

— Гыху! Поди сюда!

— Доготлук? — отозвался тот, подходя. И, понизив голос, удрученно прибавил: — Провели меня!.. Обрати внимание — опять неудача!

— «Обрати внимание, обрати внимание!»—зло передразнивал его Доготлуко. — Ты пропустил момент, когда надо было обратить внимание! В какую сторону они скрылись? На это ты хоть обратил внимание?

— Они по этой улице побежали. Я не мог их преследовать, потому что перестреливался с одним из них. Думал, если подраню одного, то и других найдем!

Биболэт прислушался к ночным звукам. Собаки лаяли уже разрозненно, поодиночке. «Значит, похитители, если не выбрались из аула, то уже засели в каком-нибудь доме», — решил он. Отозвав в сторону Доготлуко, он сказал ему:

— Надо поскорее оцепить аул комсомольцами, которые имеют при себе оружие. Прежде всего пусть окружают вот этот край аула. Мы с тобой пойдем в аулсовет и организуем поголовный обыск.

Доготлуко вызвал из темноты комсомольцев и шепотом отдал приказания. Мхамет присоединился к комсомольцам.

— Кто этот, которого ты назвал — Тыху? И каким образом он оказался с револьвером в руках в самый момент похищения девушки? Он что — комсомолец? — спросил Биболэт Доготлуко по дороге в аулсовет.

— Да, — сказал Доготлуко. — Парень надежный. Когда по аулу пошли упорные слухи о намерении Измаила похитить Нафисет, я поставил секретный комсомольский караул близ двора Установковых. Непонятно, как это они могли вынести девушку и где в это время был Тыху?

В аулсовет набилось уже много народу. Председатель, делая строгий вид, без толку бегал и прикрикивал то на того, то на другого, но ничего не предпринимал. Не обращая на него внимания, Биболэт сказал собравшимся:

— Шеджерисвцы! В вашем ауле совершилось злодеяние. Трудно выразить словами, насколько дико и бесчеловечно похищение девушки! Позор падет на весь ваш аул. Надо сейчас же, немедленно устроить поголовный обыск во всех домах. Эти негодяи, по-видимому, еще не выбрались из аула!

Из группы собравшихся выступил вперед кряжистый человек средних лет, в широкой рубашке нараспашку, с лицом кретина и хриплым, неприятным голосом. Со зло-

вещим спокойствием и затаенной враждой он обратился к Биболэту:

— Ты, наш гость, совсем позабыл о том, что называется приличием! К лицу ли тебе из-за того лишь, что увезли твою невесту, будоражить весь аул? Если ты так жалеешь ее, будь мужчиной и сам спасай. Разве впервые случается, что девушку увозят? Нашел тоже диковину! Завтра две семьи уладят между собою дело, сроднятся, и весь шум-гам, который ты поднял здесь, будет ни к чему...

Человеку не дал кончить Халяхо; он двинулся на него с поднятой палкой.

— Видите вы этого негодяя? — крикнул он. — Разве мы не знаем тебя? Ты сообщник той собаки, которая совершила это дело, покрыв позором наш аул! Таких, как ты, воров и картежников, давно надо было бы выгнать из аула!

Халяхо размахнулся палкой, но его удержали.

«Где я этого человека видел, где я слышал его хриплый голос?» — пытался вспомнить Биболэт. Его мысль обшарила все уголки памяти, и, наконец, он вспомнил ту ночь, когда в компании молодежи он впервые посетил девичью Установоковых. Этот человек пришел тогда с Измаплом. Он вспомнил даже его имя — Лыхуж. Дополнив свои тогдашние впечатления той характеристикой, которую дал Халяхо этому человеку сейчас, Биболэт сразу сообразил, с кем имеет дело.

Подняв руку, он твердо сказал:

— Тише, успокойтесь!

Когда шум немного утих, он обратился к Лыхужу, и, отчеканивая каждое слово, ответил ему:

— До этого момента я не знал, что ты представляешь собой. Но твои слова объяснили мне все. Мы знаем, чью песню ты поешь, и постараемся сделать так, чтобы это «обычное», по-твоему, явление стало для тех, кто причастен к нему, совсем необычным и очень плачевным!

Говоря так, Биболэт заметил, как Доготлуко многозначительно указал глазами на Лыхужа — «смотри за ним», а сам вместе с двумя парнями выскользнул из помещения аулсовета.

Мнение большинства сходилось к тому, что надо немедленно обшарить весь аул, а если похитители не ока-

жуются в ауле, сесть на коней и обшарить все окрестные леса и хутора.

Тем временем Лыхуж отошел к двери и попытался незаметно скрыться. Биболэт, не выпускаяющий его из поля зрения, заметил это.

— Эй, знаком, куда направляешься? — крикнул он. Тот остановился и злобно проворчал:

— Что, я не волен идти, куда хочу?

— Нет, не волен! — твердо объявил Биболэт. — Мы знаем, что в твоём сердце нет благих намерений и что в этом деле ты с теми, которые совершили преступление. Поэтому мы попросим тебя задержаться здесь.

— Верно, верно! — послышалось среди собравшихся. — Нельзя его отпускать! Он от них явился сюда!

— Раз он собирался ускользнуть, значит, они в ауле!

Председатель аулсовета задержал Лыхужа, приставив к нему караул.

Глава восьмая

Неожиданное открытие, сделанное Нафисет на празднестве автономии, заставило ее позабыть об опасности, висевшей над ней. Увидя Биболэта рядом с красивой, хорошо одетой женщиной, она все поняла... Это сразу разъяснило ей, почему Биболэт не ответил на ее письмо.

Она почувствовала себя так, словно крылья, поддерживающие ее, вдруг обломались, и она упала. Потускнел в ее глазах солнечный свет, она потеряла всякий интерес к торжественному веселью джегу. Ей хотелось упасть наземь и разразиться рыданиями. Но когда подошла ее очередь танцевать, в ней вспыхнуло безотчетное желание забыться в танце и блеснуть в яркой беспечной резвости — пусть не подумает, что она сколько-нибудь удручена его невниманием.

После танца она еще некоторое время крепилась, но потом ей стало невмоготу, и она подозвала Доготлуку и попросила отвести ее на квартиру.

...Ни дороги, по которой везли ее домой, ни длительности пути она не заметила. Она подставляла нылающие щеки степному ветру, но и ветер не охлаждал их. Задетое самолюбие и гнетущее сожаление о злополучном письме больно жалили ее сердце.

Ей казалось, что как только она попадет домой, ей будет легче. Но и дома она не нашла успокоения. Старый дом, в котором она выросла, показался ей странно пустым и чужим. Она старалась не думать о Биболэте, вычеркнуть его из сердца, будто его и нет вовсе. Но без Биболэта ничего в жизни у нее не оставалось.

В таком состоянии провела Нафисет два бесконечно длинных дня и две ночи. Мать, напуганная состоянием дочери, с нею тревогой, как беззвучная тень, ходила за ней, роняя тяжкие вздохи.

На третью ночь Нафисет забылась тяжелым сном. Проснувшись она от непонятного шума и сразу села на постели. Тут же она услышала, как мать, спавшая на полу, несколько раз в страхе крикнула: «Кто это!» Вслед за тем в темноте послышался неистовый вопль. Кто-то зажег спичку, в ее мгновенной вспышке Нафисет увидела, что мать с растрепанными седыми волосами, в одной сорочке, борется с двумя мужчинами. Она рвалась к кровати, на которой спала Нафисет. Нафисет крикнула и кинулась к матери. Сильные, крепкие руки тотчас же подхватили ее и понесли.

Нафисет кричала, билась, но руки не выпускали ее.

Она потеряла сознание и очнулась только на тачанке. Она крикнула... Ей заткнули рот комом тряпки. После этого запеленали в бурку и поперек бурки опутали веревками. Она поняла безнадежность своего положения. И когда всыхнула перестрелка и двое понесли ее на руках, она уже не сопротивлялась. Теперь она помышляла только об одном: как бы вытолкнуть изо рта тряпку и позвать на помощь. Она говорила себе: «Если ты проявишь слабость, то погибнешь навеки..» Но мужество покидало ее, и она не могла собраться с мыслями.

«Как долго они несут меня, — думала Нафисет.— Неужели никто не поможет?»

Лай собак неотступно преследовал ее похитителей. Было такое впечатление, что в ауле никого, кроме собак, не осталось.

Ее приволокли на какой-то двор. «Чей это двор? Кирпичный дом»... — силилась вспомнить она, но ничего не вспомнила.

— Несите ее в старый дом! — раздался шепот.

И вот ее проносят через маленькую дверь. Чья-то рука вынимает кляп. В помещении стоит тепловатый за-

пах печеного хлеба и дрожжей... Среди мужских голов слышится женский.

— Я не могу ее развязать, она ведь почти голая! — говорит женщина.

— Надень на нее какое-нибудь платье! — приказывает мужчина, и она узнает голос Измаила.

Дверь с тихим скрипом отворилась, похитители вышли, но кто-то встал у дверей снаружи. «Сторожит», — подумала Нафисет. Послышался звук закрываемых ставней, и все утихло. Зловещая гробовая тишина, непроглядная тьма. Мягко прошелестели чувяки. Зажглась спичка. Свет выхватил из тьмы лицо женщины. Нафисет сразу узнала ее: жена Хаджирета Шумытля — Ханний.

Женщина зажгла свечку и поставила ее на стол. В комнате большая русская печка, мешки, кадушки. Это старая халупка Шумытлей, оставленная ими после того, как они выстроили новый дом.

Ханний, поставив свечку, подошла к Нафисет.

— Не пугайся, моя ненаглядная! — вкрадчиво и слащаво проговорила она. — Тебя унесли не со злыми намерениями, а с добрыми чувствами. Ты сама виновата, что довела парня до необходимости решиться на такое дело. Не найдется ни одной девушки в ауле, которая с радостью не пошла бы за него замуж. Теперь только от твоей разумности зависит твое счастье.

Ханний рассчитывала увидеть, как обычно бывает в таких случаях, заплаканную, безвольно надломленную девушку с опухшими глазами, мокрыми от слез щеками и искусанными губами. Но когда Ханний увидела Нафисет, смотревшую на нее сухими напряженно-настороженными глазами, она прикусила язык. А когда Нафисет без жалобы, без слез, твердо и деловито обратилась к ней со словами: «Помоги мне встать, Ханний», та даже испугалась. Минуту она простояла, онемев от изумления. Затем, поняв состояние Нафисет как ее готовность примириться с судьбой, возобновила свои слащавые уговоры:

— Очень хорошо, Нафисет, если ты так разумно относишься к этому. Можешь быть уверена, лучшего жениха и не сыскать. Сейчас я тебе дам одеться. Не печалься, ни одна красавица не будет одета так, как ты. Все будут завидовать тебе... — Говоря так, она развязала веревку, которой поверх бурки была опутана Нафисет.

Девушка поднялась и деловито надела платье, принесенное Ханий. Платье было огромной ширины. Чтобы избежать необходимости говорить с женщиной, Нафисет делала вид, что внимательно оглядывается и старается привести себя в порядок. Неожиданно приблизив голову к лицу Ханий, она стыдливо что-то шепнула ей.

— Сейчас тебе никак нельзя выйти! — ответила ей Ханий. — Я принесу сюда таз!

— Какую нелепость ты говоришь, Ханий! Разве так можно!

Ханий не поддавалась на хитрость, и две женщины жарко заспорили. В это время открылась дверь и вошел Измаил. Ханий оборвала разговор на полуслове и покинула помещение.

Нафисет в тоскливом отчаянии окинула взглядом комнату. В углу, у печки, недалеко от нее стояла увесистая палка. Она подвинулась в тот угол и стала, прикрывая собой палку. Измаил приостановился у дверей и некоторое время с развязной улыбкой, молча, смотрел на нее.

Глаза Нафисет в невыразимом страхе прикованы были к нему. Измаил сделал несколько шагов и заговорил первый:

— Нафисет, не осуждай меня. Я это сделал оттого, что люблю тебя. Прости мне эту жестокость! Не плачь и не убивайся! Я готов жизнь отдать за тебя.

— Я не плачу и не убиваюсь! Только не подходи ко мне! — в голосе Нафисет прозвучал гнев. — Прежде чем совершить такое дело, ты должен был сообразить, что я не могу стать твоей подругой. Не подходи ко мне! — Она отвела за спину руку и схватила палку. Глаза ее горели отчаянной решимостью.

— Ты ведешь себя, как ребенок! — снисходительно улыбнулся Измаил. — Что ты хочешь сделать теперь? Не такие приткие, как ты, девушки мирились с этим. Не будь же глупой! — Измаил незаметно продвигался.

— Не подходи! — иступленно крикнула Нафисет и занесла палку. — Отойди в сторону и давай поговорим серьезно.

— Сейчас некогда разговаривать. Скоро мы двинемся в путь. Что ты хочешь сказать?

— Куда это еще мы двинемся? — вырвалось у Нафисет.

— Отправимся туда, где нас не разыщут! — с напускной беспечностью засмеялся Измаил.

— В таком случае, я хочу объяснить тебе, что ты неоправданно ошибся! — с твердой решимостью проговорила Нафисет. — Ты не понял, что между мной и теми девушками, о которых ты говоришь, есть разница. Если ты не понимаешь слов, то подойди ко мне, я тебе это объясню палкой!

— Хорошо! Скажи, чему ты хочешь меня научить, — с насмешливым видом проговорил Измаил и, придвинув ящик, сел.

Он все еще был уверен, что рано или поздно уломает эту строптивую девушку. Ее решимость защищать себя разозлила Измаила, и в душе у него зашевелилась жестокость. «Я тебя так скручу, что будешь целовать мои ноги!» — гневно подумал он, рассматривая Нафисет сощуренными глазами. Он злился, и в то же время неукротимость девушки нравилась ему. Она была красива даже в этом широком, неуклюжем платье, умные глаза ее с настороженной ненавистью следили за ним. «Только бы обломать ее, хорошая будет жена...» — думал Измаил, любуясь ее гневом, который казался ему гневом обиженного ребенка.

Нафисет говорила со смятенной торопливостью, делая невероятное усилие, чтобы сохранить видимость спокойствия.

— Ты рассчитываешь, что я примирюсь с несчастьем, после того как стану зваться не девушкой, а женщиной! Так обычно бывало до сих пор! Но ты ошибаешься! Счастье женщины в жизни теперь не связано с благоволением мужчины. Ни ты, ни кто другой не сломит мою решимость добиваться этого счастья! Если даже одна десятая часть моей души останется жить, этот кусочек души никогда не примирится с тобой. Я никогда не оставлю мысль отомстить тебе за насилие и избавиться от тебя. В конце концов, я могу пойти на то, чтобы отгоченным ножом или острыми ножницами расправиться с тобой, когда ты уснешь! Если ты не поймешь этого, тогда ты не способен понять человеческие слова. Теперь поступай, как хочешь! Но помни: у меня в руках палка!

— Ха-ха-ха! — засмеялся Измаил. — Если удар палкой погасит жар твоей души, то, пожалуйста, бей! — он быстро поднялся и шагнул к Нафисет.

— На тебе, если ты человеческого языка не пони-

маешь! — Нафисет развернулась и изо всей силы ударила Измаила.

В одно мгновение лицо Измаила исказилось звериной злобой. Он бросился, вырвал из рук Нафисет палку, хотел схватить ее, но она увернулась и убежала в другой конец комнаты. Пробегая мимо стола, она сбילה свечку. Измаил в темноте налетел на ящик, скверно выругался и опять погнался за девушкой.

В этот момент со двора послышался тревожный оклик.

Измаил побежал к двери.

— Что случилось?

— Скорее! Скорее! Надо бежать!

— А лошадей запрягли?

— Лошадей нет дома! Скорее, скорее, идут сюда!

Измаил быстро зажег спичку и бросился к Нафисет. Некоторое время ему пришлось за ней гоняться. Когда, наконец, крепко схватив за талию одной рукой, он поволок ее к двери, во дворе раздался крик:

— Ни с места! Стрелять буду!

Вслед за тем кто-то побежал по двору. Раздались два выстрела. Послышались голоса.

— Окружить дом! Забегай с той стороны! Довлетчерий, ты вот здесь стань! — командовал кто-то. Нафисет рванулась. Измаил теперь поволок ее к окну. Ударив ногой в раму, он выбил ее вместе со ставней. Но от силы удара он откинулся назад и на миг ослабил руку, которой держал Нафисет. Она вырвалась и стремглав бросилась к двери, ударилась в дверь всем телом и с грохотом распахнула ее. С развевающимися волосами, путаясь в длинном подоле платья, она побежала в темноту, иступленно крича:

— Доготлук! Доготлук!

— Нафисет! — внезапно раздался около самого ее уха голос Доготлуко, и тот схватил ее за руки. Позади дома вспыхнула перестрелка. Доготлуко отвел девушку к плетню и торопливо бросил:

— Посиди пока здесь!

Затем он кинулся на звук выстрелов. Но перестрелка сразу оборвалась, и спустя несколько мгновений Доготлуко вернулся к девушке с каким-то человеком.

— Я стрелял в него в упор, — говорил человек. — Он все-таки ушел. Я не погнался за ним — увидел, что девушки с ним нет.

На окраине аула послышались выстрелы.

— Слышишь? — обратился к Доготлуко его спутник. — Наверное, наши все-таки догнали бандита...

Только теперь Нафисет по голосу узнала Довлетчерия. Испуг ее еще не прошел, и она тряслась всем телом.

Доготлуко положил руку ей на плечо и ласково сказал:

— Не бойся, не бойся, Нафисет! Они теперь не посмеют тебя тронуть...

По просьбе девушки Доготлуко отвел ее не к родителям, а в дом Амзана, мужа Куляц. Оставив при ней Довлетчерия, Доготлуко поспешно вернулся в аулсовет.

Там уже знали, что девушку отбили. Халяхо кинулся навстречу Доготлуко и, схватив его руку, быстро заговорил:

— Молодец, мой Доготлук, молодец! Ты действовал, как настоящий мужчина.

И другие старики, толпившиеся в аулсовете, присоединились к Халяхо.

Тем временем вернулись из погони Мхамст, Тьху и Биболэт. Халяхо даже не заметил их прихода — он не сводил с Доготлуко восторженного взгляда и настойчиво спрашивал:

— Расскажи, сынок, как же ты узнал, где они скрыли нашу Нафисет?

— Тут заслуга моя совсем невелика, — сдержанно ответил Доготлуко. — Я расскажу обо всем, Халяхо! Но пусть приведут сюда этого проклятого притворщика Лыхужа: хочу, чтобы и он услышал мои слова.

Лыхужа, сидевшего под стражей, привели и поставили как обвиняемого.

Доготлуко глянул на него и гневно сказал:

— Помните, как он защищал тут святость наших адыгейских обычаев? Ну вот, послушайте теперь, что я вам расскажу... Когда мы с Биболэтом шли к аулсовету, я немного поотстал. Иду позади и осматриваюсь. Вдруг вижу человека, бегущего со всех ног. Человек этот добежал до аулсовета, остановился у крыльца, отдышался немного и только тогда вошел в помещение. Знаете, кто это был?

Глаза Доготлуко обежали присутствующих и остановились на Лыхуже.

— Это был он... Лыхуж! — медленно и тихо прого-

ворил Доготлуко. — Вы помните, как на этом самом месте он укорял Биболэта. Но я подумал: «Лыхуж — всегданний бейколь¹ Измаила... Не может того быть, чтобы он не принял участия в похищении девушки...» Кроме того, я вспомнил, что, когда встретил Лыхужа, он как раз бежал с того конца улицы, где стоит его дом. «Значит, все ясно», — решил я, и, пока вы тут рассуждали, взял двух парней и направился туда. На дороге нас остановил малыш-пионер и сообщил, что Нафисет спрятали у Шумытля Хаджирета и что он видел, как Лыхуж выбежал с его двора. Вот и все. Стало быть, заслуга принадлежит не мне, а тому малышу.

Доготлуко чуть помолчал и затем с горечью добавил: — Девушку мы отбили... Измаил хотя и скрылся, а суда не избежит. Но дело сейчас не в этом... Разве можно поверить, что в ауле никто не видел, как Измаил и Лыхуж похитили девушку? Разве можно поверить, что никто не знал, куда они ее спрятали? Нет, кое-кто был свидетелем злого дела, но только промолчал. Что же получается? Молчим, боясь прослыть «доносчиками»? Вот это меня печалит, товарищи!..

Глава девятая

Утром в ауле только и разговоров было, что о похищении Нафисет. Большинство негодовало и возмущалось. Многие жалели, что Измаилу удалось сбежать. Обычное и заурядное в прошлом явление — похищение девушки — казалось теперь жителям аула возмутительным поступком.

Но были и такие, которые пытались защищать Измаила. Они говорили: «Кому теперь нужна девушка, которая чуть ли не целую ночь провела с похитителем? Надо было взяться за это дело старикам, они бы все дело уладили, и шум кончился бы доброй свадьбой... А этот приезжий гость!.. Говорят, он ученый человек, а ведет себя, как последний шалопай!.. Если он ухаживает за девушкой и она ему нравится, так нельзя же из-за этого нарушать обычай. Пусть же он теперь не посчитается с тем, что девушку опозорили, и пусть женится на ней!..»

¹ Бейколь — в прошлом прислужник, телохранитель князя; ныне означает — холоуй.

С этими толками и пересудами, которыми был полон Дул, Доготлуко и Мхамет рано поутру пришли к Биболэту. Они встревожили его своими рассказами, и он предложил им всем вместе немедленно отправиться к Нафисет.

На поросшей травой обширной усадьбе Куляц их никто не встретил: Амзана, по-видимому, не было дома, и Мхамет, взяв на себя роль хозяина, ввел друзей в маленькую халупку.

Изрядную часть комнаты занимала кровать, на которой громоздились пышно взбитые подушки. На столе высились сундучки и коробочки, а поверх них была расставлена стеклянная посуда. Среди посуды, на самом почетном месте, красовались женские туфли в новых галошах.

Напряженное молчание стояло в комнате. Все трое с тревогой ожидали Нафисет. Каждый на свой лад обдумывал одну и ту же трудную задачу: как помочь Нафисет, чтобы она не надломилась под тяжестью свалившейся на нее беды. Ожидание казалось бесконечным. Но вот за дверью послышался шорох чужак. Биболэт весь так и потянулся к двери. Но в комнату вошла не Нафисет, а Куляц. Биболэт посмотрел на нее с изумлением: ни малейшего следа не осталось от былой ее привлекательности, словно красота была лишь девичьим нарядом, и, став женщиной, Куляц сняла его и превратилась в серенькую, бледненькую, обычную невестку адыгейского дома. Она пуще прежнего жеманилась. Но эта жеманность, украшавшая ее раньше, теперь делала ее еще более жалкой. Куляц старалась изобразить на лице улыбку, однако в углах губ таилась горечь.

В другое время такое внезапное превращение заставило бы Биболэта задуматься, но сейчас ему было не до Куляц.

Он внимательно присматривался к ней, пытаясь узнать по ее лицу, не случилось ли еще чего-нибудь с Нафисет.

Мхамет и Доготлуко завязали беседу с Куляц. Биболэт все время поглядывал на дверь, оставшуюся открытой. И он первый заметил появление Нафисет.

Она на одно мгновение приостановилась у порога, точно перешагнуть его было ей невыразимо тяжело. Затем, решившись, резко вскинула голову и двинулась вперед. Их взгляды встретились.

У Нафисет был такой вид, точно она лишь недавно пережила смерть самого дорогого человека. Глаза ее выражали сосредоточенную горе, тоскливую обиду и укор ему, Биболэту. Но этот взгляд, врасплох перехваченный Биболэтом и неприкрыто выражавший ее переживания, длился лишь мгновение: лицо Нафисет сразу подернулось холодком отчуждения, и она, молча поздоровавшись со всеми, отступила к изголовью кровати.

Разговор Мхамета и Доготлуко с Куляц оборвался.

— Вы посидите, — произнесла Куляц и поспешно удалилась.

Биболэту бросилось в глаза: нет, Нафисет вовсе не имела вида жалкой, слезливой жертвы. Она замкнулась в себе, не прося и не нуждаясь в участии людей.

Биболэт воспринимал это так, что она более не приемлет их былой дружбы и отворотилась от всего, чем увлекалась раньше. Он не находил, что сказать, с чего начать и сидел, поглядывая на девушку.

Первым заговорил Мхамет.

— Ну что ж это, Нафисет, выходит, ты вовсе уж и отчаялась и голову повесила? — сказал он, маскируя жалость легкой шуткой.

— Не то чтобы вовсе отчаялась, но и радоваться мне нечему... — медленно и не сразу ответила девушка.

Но ледок молчания все же был сломлен, и Мхамет более уверенно приступил к увещеванию.

— Нет человека, с которым не могла бы приключиться беда! Бывает и так, что неожиданно-негаданно выскочит из-за угла бешеная собака и укусит человека. Считай, что и на тебя напала бешеная собака, — это не позор, а несчастье. Печалится тебе не о чем. Но если тебя пугает другая опасность, то скажи: я готов жизнь положить за тебя.

— Я знаю вашу готовность помочь мне, — тихо проговорила девушка. — Я понимаю, что вы сделали для меня вчера, когда решалась моя судьба. Признательности моей не выразить простыми словами. Но сейчас я вступила в такую пору жизни, когда бессильна будет ваша помощь.

— Может ли быть такое положение, чтобы самые верные друзья не в состоянии были помочь чем-нибудь? Скажи, Нафисет, поделись с нами, и мы поможем тебе, — вступил в разговор Биболэт.

— Нет, вы не поможете... — едва выговорила Нафи-

сет и загнулась, нагнув голову еще ниже, в усилии подавить слезы.

Если бы в душе Биболэта не было такого смятения, если бы он был хоть немного прозорливее, эти слезы и интонация, с которыми были произнесены сопутствовавшие им слова, объяснили бы ему очень многое. Но все внимание его было сосредоточено на собственных переживаниях, и он принял эти слезы как отречение ее от всех прошлых надежд. Мысленно похоронив таким образом свою любовь, Биболэт решил бороться за единственную оставшуюся у него надежду, надежду поддержать Нафисет в этот переломный момент ее жизни.

— Нафисет, с первой встречи ты проявляешь ко мне какое-то недоверие! — с упреком сказал он и горько усмехнулся. — Должно быть, я заслужил такую немилость. Но несправедливо с твоей стороны относиться с недоверием к Мхамету и Доготлуко — твоим самым преданным друзьям. В теперешнем твоём положении будет лучше, если ты не отдалишься от них. Сейчас важнее всего для тебя — не обращать внимания на то, как посмотрят на тебя люди, которые живут старыми понятиями.

— Меня совсем не пугает, как посмотрят на меня люди, — смелее и уже более окрепшим голосом проговорила девушка. — Я хорошо знаю, что ждет тех, кто покоряется старым понятиям... В эту ночь я передумала все и решила, если только примет меня Доготлуко, вступить в комсомол.

Три друга, ошарашенные неожиданным заявлением Нафисет, некоторое время онемело сидели. Первым опомнился Доготлуко.

— Ты правду говоришь, Нафисет? — обрадованно воскликнул он.

— Сомнение у меня только в одном — могу ли быть полезна комсомолу?

— Ты лучше всех девушек на свете! — бросился Доготлуко к девушке и, обняв ее за плечи, восторженно прибавил: — Сестренка моя, ты в десять раз лучше оказалась, чем я мог даже предположить.

Напряженность сразу разрядилась. Доготлуко и Мхамет пустились рисовать радужными красками всякие планы насчет учебы и будущего Нафисет. Однако это радостное просветление не коснулось ни Биболэта,

ни Нафисет — они оба, не подозревая об этом, испытывали одну и ту же боль...

— Нафисет, может, теперь ты скажешь, за что ты так разобиделась на меня? — решился спросить Биболэт.

— За что же я могу обидеться на тебя? — не сразу, и явно затрудняясь, ответила девушка, и слезы опять навернулись на ее глаза...

В этот момент Куляц внесла анэ. Нафисет поспешно вышла из комнаты.

...Трое друзей возвращались от Нафисет в молчании. Биболэту было не до разговоров. Доготлуко и Мхамет, смутно догадываясь о том, что творилось в его душе, воздержались от расспросов. Наконец Мхамет не выдержал, шумно вздохнул и, вложив в этот вздох свое недовольство и упрек Биболэту, проговорил:

— Вот это, я понимаю, девушка! Мы пришли помочь ей в беде, а она нас самих научила, как надо разумному человеку встречать беду...



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая

Брюхатый речной пароходик, тяжело пыхтя, торопливо спускается вниз по течению Кубани. Вслед за ним на длинном канате тащится темная, мрачная баржа, похожая на тушу огромного кита.

Биболэт стоит на верхней палубе и смотрит вперед. Река извивается змеей, и пароходик покорно следует ее изгибам. В зеркальной поверхности воды опрокинулось весеннее небо, обрамленное зеленой ломаной линией живописных берегов.

Погожий весенний день. Ароматный, прозрачный воздух точно застыл — не шелхнется. На молодых лакированных листочках зарослей, на переливающихся блестками песчаных отмелях, на зеркальной поверхности реки — всюду рассыпаны солнечные блики. Кубань, словно боясь сломать отражение весенних красок, спокойно и широко несет свои полые воды.

За каждым поворотом — новая картина. Слоистые, разноцветные крутые берега чередуются с пологими спусками, вытканными сочной зеленью и отмелями, сверкающими серебряной россыпью песка. Пароходик старательно обходит одинокие самодельные бакены с шапками из сухой травы. На крутых поворотах раздается тревожный, хриплый рев гудка. Убегая далеко по поверхности реки, он запутывается в густых зарослях левобережья или ударяется в крутые склоны правого берега и возвращается дразнящим, многократным эхом.

С левого берега тянется Адыгейская автономная область. Биболэт смотрит, не отрываясь, в ту сторону. Иногда вынырнет похожий на адыгейский пчельник небольшой аул с нахлобученными соломенными крышами, вынырнет и опять скроется за прибрежными зарослями ивы. Изредка встречаются трубы водокачек, они спускаются в воду, как хоботы невиданных чудовищ.

Это — водокачки на огородах адыгейских колхозов, совсем недавно организованных. Колхозы подобны сказочным богатырям: только что родившись, они сразу расправились с врагами, отняли у них награбленное и успели даже перенять огородное искусство, испокон века принадлежавшее пришлым иноземным людям, которые привыкли черпать из недр адыгейской земли золотые пригоршни прибылей...

Никто не знал, что это за пришлые люди и откуда они появились. Давно они жили здесь. Отдельные хозяйства, как пауки, ткали свою сеть огородных грядок и поливных сооружений по берегам рек. Приходили одни, богатели и куда-то исчезали, а на их месте появлялись другие. Живя около аула, они сторонились аульчан, заманивали в свою паутину только бедняков и батраков и высасывали из них соки; сытые и краснощекие, сидели они в своих углах у берегов рек. Втихомолку черпали они клад из мощных черноземных пластов прибрежного Закубанья, чужими арендаторами приходили и проживали на адыгейской земле. Им не было дела до нищеты адыгейских крестьян, на чьих землях они богатели. Адыгейские трудящиеся жили, придавленные тройным гнетом, темные и бессильные. Крестьянин кос-как возделывал свои два гектара и даже не догадывался присмотреться, как те, чужие, черпали золото из той самой земли, на которой голодали адыгейцы.

Но едва только организовались колхозы, адыгейские крестьяне очнулись от векового оцепенения и в первый же год взялись за огородное дело. Хоботки насосов, на которые смотрел Биболэт, принадлежали этим самым колхозам, они знаменовали собой эпоху возрождения адыгейцев. Они были установлены совсем недавно, этой весной. Моторы водокачек даже не имели еще навесов, — как укрощенные чудовища, залегли они у берегов рек и сосут воду для колхозных полей.

Но Биболэт знал очень хорошо, в какой ожесточенной классовой борьбе приходилось завоевывать каждый шаг новой жизни. Большую часть последнего года он провел в колхозах. Приехав в родной край после окончания института, он тотчас же включился в борьбу за колхозы. Теперь он возвращался из командировки, где пробыл две недели — две недели волнений и тревог, напряжения всех сил, бессонных ночей. Только сейчас он почувствовал огромную усталость и пользовался пере-

дышкой: восторженно вдыхал чистый весенний воздух и с удивлением, словно впервые видя, любовался зеленью берегов, лазурью неба и сильным течением родной реки. Бездумно, в отрадном полубабытии он предавался отдыху, похожий на бойца, который только что покинул огневую линию фронта.

В этом же блаженном состоянии он покинул пароход. Проходя мимо зеленого здания, где помещались облизполком и обком, он решил зайти на минутку, заявить о своем прибытии, спросить о новостях и со своим чемоданчиком, потертым в командировках, взбежал на второй этаж.

Поставив чемодан в приемной секретаря обкома, Биболэт направился прямо в кабинет.

— Можно войти?

Секретарь сидел один и, как видно, глубоко задумался. Он не сразу поднял голову, и Биболэт увидел на его лице слабую, не то тревожную, не то гневную усмешку.

— А-а-а, Мозоков!

Он крепко пожал руку Биболэта и усадил его на стул, поглядывая на него с той же самой, словно забытой на лице усмешкой.

— Придется тебе, Мозоков, немедленно же отправиться в аул Шеджерий, — неожиданно сказал он.

— Я только что приехал из командировки. Даже дома еще не был, и чемодан мой стоит здесь, в приемной... — проговорил Биболэт упавшим голосом.

— И все-таки надо ехать. Там дела очень плохи.

— Если это необходимо, то дайте, по крайней мере, в баню сходить...

— Придется ехать, товарищ Мозоков, — мягко, сочувствующе, но неумолимо повторил секретарь. — Сейчас никого, кроме тебя, нет, все в разъезде. В ауле создалась очень сложная обстановка... — Помолчав, он добавил уже тоном приказа: — Даю тебе два часа срока. Приготовиться и явиться сюда. К этому времени машина будет готова. — Он стукнул карандашом по столу, словно поставил точку.

Глава вторая

Краснодар похож на стрельца: прямая, блестящая на солнце стрела железной дороги, натянув крутую тетиву — излучину Кубани, — застыла, нацеленная в море.

Мост через Кубань — оперенный конец стрелы.

У противоположного берега Кубани начинается Адыгейская автономная область.

Машина, увозившая Биболэта, проскочила через мост и свернув влево, нырнула на дно широкой лощины.

Три года тому назад здесь стояли плавни, прозванные адыгейцами «Шобгож» — Старые Широкие. Цепь таких же плавней со зловещими названиями — «Мишеустовы» плавни, «С панцирем», «С одинокой кишкой», «Двусторонние» — тянулась вдоль всего левобережья Кубани. Первозданный хаос трясин, камышовая непролазь тянулись на сотню километров, занимая десятки тысяч гектаров. Плавни, с их гнилой желтовато-зеленой жижей, смертоносным кольцом издавна опоясывали адыгейские земли. Мириады комаров, поднимавшихся оттуда, несли адыгейцам болезнь и вымирание...

А теперь по дну самых страшных плавней «Шобгож», по накатанной, как оселок, дороге мчит машина. Апрельская зелень озимых тучно темнеет по сторонам дороги...

Среди многих поразительных достижений Советской Адыгеи едва ли не самым внушительным представлялось Биболэту осушение плавней — может быть, потому, что в Биболэте свежо было воспоминание о том чувстве жуткой беспомощности и омерзительного содрогания души, которые внушали ему эти необъятные трясины.

Каждый раз, когда он ступал на дно бывших плавней, в его памяти с особой силой воскресало былое, и тем величественнее представлялась ему созидательная работа освобожденного народа. Вид этих необъятных, отвоеванных у болот земель поднимал в Биболэте волну восторга и гордости за свою великую Родину и рождал новые замыслы о победах, еще более грандиозных. Биболэт имел склонность к мечтаниям такого рода...

Но беспокойство за порученную работу обрывало полет его фантазии. Он понимал, что в ауле Шеджерий, куда он теперь направляется, обстановка очень сложная. Осенью там вступили в колхоз почти сто процентов крестьянских хозяйств. Теперь шестьдесят процентов членов колхоза подали заявление о выходе из

него. Задание, которое получил Биболэт, было сформулировано лаконично, как боевой приказ: отстоять колхоз.

Биболэт не впервые попадает в «трудный» колхоз. Предстоящие трудности не страшат его, а только озабочивают. Из практики он знает, что каждый новый колхоз это как бы новый участок боя и что все его усилия заранее наметить план действий окажутся напрасными. Направление решающего удара по классовому врагу может быть определено только после ознакомления с обстановкой на месте. Обстановка же в ауле для Биболэта пока неясна.

Машина с воем глотает бесконечную ленту проселочной дороги, захлебывается на ухабах, хрипя, вырывается и с еще большей яростью мчится вперед.

Мысли Биболэта, опережая машину, летят в Шеджерий... «Кто там теперь секретарь партиячки? Если бы Доготлуко был там, до такого прорыва не дошло бы. Доготлуко сейчас на учебе... В ауле столько хороших ребят!.. Что же случилось?»

Три года Биболэт не был в ауле Шеджерий, после того как участвовал там в схватке при попытке похищения Нафисет...

Мысль о Нафисет кольнула еще не зажившую рану в сердце. Он знал, что Нафисет вскоре после того уехала учиться. «Может быть, она теперь в ауле», — подумал Биболэт, но тотчас же безжалостно уличил себя в самообмане, сердито заерзал на месте. «Оставь пустые надежды, — сказал он себе, — прекрасная эта девушка потеряна для тебя навсегда. И ты сам, сам был виноват во всем!» Прерывисто вздохнув, он резким движением достал портсигар. В течение всего дальнейшего пути он был только тем и занят, что отгонял от себя мысли о Нафисет и призрачную надежду, которая пыталась свить себе гнездо в его сердце...

...Вечерело, когда Биболэт, подъехал к аулсовету. Выскочив из машины, он на ходу спросил одного из парней, стоявших на крыльце:

— Где можно найти председателя Совета?

— Председатель у себя, — ответил тот и, увидев вышедшую из Совета женщину, добавил: — Вот и председатель.

— Добро пожаловать, Биболэт!

Не веря своим глазам, Биболэт застыл на месте:

женщина-адыгейка — председатель! И она назвала его по имени...

Так уж повелось за последнее время: на каждом шагу жизнь преподносит неожиданные сюрпризы и радостные перемены. Сам Биболэт бросался в гущу борьбы, напрягал все силы, старался всюду поспеть... А в короткие минуты передышки отдавался радужным мечтам о будущих плодах этой напряженной борьбы. Иногда ему казалось, что в своих мечтах он слишком далеко забегает вперед. Но жизнь опережала самые смелые его предположения. В пылу увлечения борьбой он упускал из виду одно: миллионы освобожденных людей охвачены таким же творческим энтузиазмом, как и он сам.

Биболэт не мог предполагать, что великое шествие освобожденной адыгейки начнется так скоро. И он с нескрываемым восторгом смотрел на женщину, идущую к нему.

Движения ее деловито-свободны, в них нет уже прежней робости. Но все же заметны старые привычки: стыдливость и безмолвная робость сквозят в ее улыбке, на ходу она привычным мягким движением прячет выбившуюся прядь волос под черный платок.

Биболэту показалось, что он видел ее когда-то. Особенно знакомы были глубоко сидящие глаза и тяжело нависшие над ними широкие черные брови. Где же он встречался с нею?

— Может быть, ты не узнаешь меня? — сказала женщина без тени обиды и упрека. — А я никогда не забуду тебя. Ты первый пришел мне на помощь в самую трудную минуту моей жизни. Помнишь, ты присутствовал по моей просьбе на суде стариков в этом здании Совета?..

— А-а, Амдехан! — Биболэт порывисто бросился к ней и крепко пожал руку. — Так ты теперь председатель Совета?

— Да вроде этого... Но не знаю, справлюсь ли... Заходи, Биболэт, — продолжала она.

— Прежде всего мне надо найти секретаря партячейки. Не в отъезде он?

— Нет, никуда не уехал. Сейчас придет, ждем. Да вот и он...

Биболэт обернулся в ту сторону, куда указала Амдехан, и удивленно поднял брови: его поразили манеры

секретаря. Невысокий человек в темно-синем костюме томно перебирал ногами, ставя их с такой осторожностью, словно больше всего на свете боялся заплыть ярко начищенные ботинки. Двигался он вяло, и во всей фигуре его не было ни малейших признаков деловитости или озабоченности, что никак не отвечало тревожному состоянию Биболэта. «Вот он, первый виновник прорыва!» — думал Биболэт, с нетерпеливым и неприязненным любопытством поджидая, пока тот подойдет.

— Фасаши, гости! — подчеркнуто традиционно приветствовал секретарь Биболэта. Слова он медленно процеживал сквозь зубы, а в бесцветных глазах, избегающих встречи с собеседником, таилась неприязнь и настороженность.

Беседуя с секретарем в кабинете Амдехан, Биболэт еще острее почувствовал его странную замкнутость. Сведения о положении в колхозе приходилось вытягивать из него с трудом. На вопросы он отвечал уклончиво, сухо и умолкал, как злоумышленник, более всего озабоченный тем, чтобы не сказать лишнего. Биболэт смотрел на него и думал: «Враг или маменькин сынок, отчаявшийся перед трудностями?»

Амдехан нервничала, несколько раз порывалась вклиниться в разговор, но, глотнув в жарком волнении воздуха, осекалась. Биболэт решил поговорить с ней наедине. Все его внимание сосредоточено было на секретаре — он считал очень важным сейчас же, немедленно установить для себя, кто этот человек, занимающий такое ответственное положение в ауле.

Наконец Биболэт спросил его:

— Почему вы ждали с севом? Разве трудно разъяснить крестьянам, что если они не посеют вовремя, то зимой будут голодать?

Тут секретарь побагровел, вялость и апатичность мгновенно соскочили с него. И глаза его, которые до сих пор ускользали от встречного взгляда, теперь с ненавистью впились в Биболэта.

— Что же, по-твоему, я должен был еще делать? — выпалил он, заикаясь от волнения. — Бесконечные собрания, ночей не спим. А вы, все уполномоченные, только и знаете что кричать: «Выполняй, выполняй!» Никакой конкретной деловой помощи от вас не дождешься. Все горазды только обвинять! Но если я ошибаюсь, укажите, в чем ошибаюсь, делом помогите. А одними кри-

ками делу не поможешь. Что же я один могу поделывать?

Биболэт облегченно вздохнул: «Просто парень растерялся от трудностей».

— Уполномоченных не так уж много у вас перебивало, — сказал он более миролюбиво и спокойно. — А за положение на твоем участке отвечаешь в первую очередь ты. Плохо, что ты чувствуешь себя здесь одиноким. Вот это и есть самый главный недостаток в твоей работе.

Биболэт предложил созвать закрытое партсобрание в этот же вечер. Секретарь, пристыженный своей запальчивостью, с готовностью пошел оповещать членов ячейки.

Оставшись наедине с Амдехан, Биболэт стал расспрашивать ее о делах в ауле. Та, встревоженная событиями последних дней и будучи не в силах уловить главную их нить, стала рассказывать с доверчивым жаром:

— Председателем колхоза избрали Мхамета. И то недавно. Прежний председатель совсем не годился: сын Хаджи Бехукова — Юсуф. На Юсуфе уполномоченный области настоял — грамотный, говорит, лучше разберется в делах — и через силу заставил избрать его. Но разве согласятся люди, знающие Хаджи Бехукова, чтобы его сын был председателем колхоза! Это все равно, что чабаном в стадо назначить волка! Колхозники все время выражали недовольство, и по этому поводу часто поднимался разговор. Этой весной, как раз в начале пахоты, подняли целую бурю, сместили Юсуфа и избрали Мхамста. Тыхуцук был на учебе, но теперь приехал. Его вернули, чтобы помогать нам в борьбе за колхоз. И Доготлуко написал письмо, тоже обещался приехать. Нафисет учится... А как плохо, что Доготлуко нет здесь; если бы он был, наши дела так не запутались бы. Теперешний секретарь никуда не годится: ленивый, нерадивый, не умеет повести за собой людей. Единственная забота у него — чисто одеться. Только и знает, что стряхивает пылинки со своего костюма. Нет у него желания узнать, чем люди живут, заслужить их доверие, заставить их прислушиваться к себе. И люди его не любят. Мхамет... на него, на бедного, навалили сразу все невзгоды аула, и он только и мечтает о том, чтобы как-нибудь улизнуть с председательского места. А слухов в ауле и разных провокаций — прямо таки не оберешься! Словно в какой-то печи без устали пекут эти слухи и выпускают на свет. Какая-то группа

занимается тайно агитацией, но никак нельзя узнать, кто они. В колхозном плане сорок гектаров табака. Больше всего люди противятся посадке этого табака. Парники уже сделаны, но воды нет. Воду, которую задержали в лощине, кто-то выпустил: ночью прорыли запруду, и вода ушла в поле. Бились, бились, но так и не узнали, кто это сделал. Как теперь обеспечить парники водой? На другое место перенести? А на устройство парников одного навозу сто подвод затрачено...

Тем временем начали собираться коммунисты. Тщетно Биболэт пытался завязать разговор с некоторыми из них, ему не удалось добиться толку. Настроение у партийцев было подавленное, они поглядывали на Биболэта косо, недоверчиво, и видно было, что не хотели они говорить того, что у них на сердце.

Наконец пришел Тыхуцук. С ним Биболэт быстро нашел общий язык.

— Настроение у нас упадочное, — виновато сказал Тыхуцук. — Уполномоченный сильно досадил ребятам своими начальническими окриками и придирами. Сам не оказывал никакой помощи, а только прикрикивал. во всех неполадках обвинял коммунистов и на каждом слове угрожал исключить из партии. Сюда прибавились и неполадки в ауле. И у ребят сердце упало. В панику ударились...

Партийцы угрюмо молчали, словно ждали — вот новый уполномоченный тоже будет кричать и угрожать им. Глядели на Биболэта почти враждебно. Среди них Биболэт знал только двоих: Тыхуцука и Алию Нагоджукко. Тыхуцук, грустный и неразговорчивый, сидел, тяжело сопя, словно на его плечи навалена была непомерная тяжесть.

Только один Алий Нагоджукко был в приподнятом настроении. Он суетился у стола, высоко неся свою сухую остроносую голову в большой папахе, пытался завязать разговор с Биболэтом, всячески показывал свою озабоченность и осведомленность о неполадках в ауле и даже намекал на виновников. Но Биболэт не торопился завязывать разговор с Алием. Не впервые сталкивался он с подобной наигранной активностью. Он предпочитал иметь дело вот с этими насупленными людьми.

Кроме того, Биболэт помнил, что Алий был на подо-

зрении у Доготлуко. «Надо следить за этим парнем», — думал Биболэт, молча поглядывая на Алия.

Секретарь вяло открыл собрание.

Биболэт, несколько усталый, начал говорить спокой-но, с мягкой вдумчивостью. Он не собирался делать им доклад. Положение дел в ауле сейчас таково, что нужно сосредоточить все внимание на ходе колхозного строи-тельства и на весенней посевной кампании. Это — два основных и самых тревожных вопроса. Но сам он, Биболэт, пока не может сказать ничего определенного: он еще не знаком с положением настолько, чтобы выска-зать свои соображения. Это должны сделать они, ком-мунисты аула, — от них он ждет предложений о том, ка-кие меры следует предпринять сейчас же.

Биболэт откровенно признается, что настроение ком-мунистов аула произвело на него плохое впечатление. Уж не испугались ли они сложности и трудности обста-новки? И не потому ли, недовольные и обиженные, вы-пустили из рук руль руководства в ауле? Но пугаться особенно нечего! Все колхозы рождаются в такой же сложной борьбе. У нас есть неизменное и верное оружие— это линия нашей партии, которая всегда и всюду бдительно оберегает интересы трудящихся и ведет их к победам. И если мы правильно проводим линию партии— трудящиеся массы не могут не пойти за нами. В дан-ном же случае, в ауле Шеджерий, массы не идут за ком-мунистами: причина этого — только в самих коммуни-стах, в их ошибках...

Насколько он успел ознакомиться с положением в ауле, он находит три основных недостатка в работе ячейки. Первое — это ослабление борьбы с кулаками. Второе — отсутствие работы с беднячко-средняцкой массой аула. И третье — это то, что задача борьбы за колхоз оторвана от борьбы за весенний сев.

Большой ошибкой было избрание председателем колхоза сына кулака. В колхоз допущены неприми-мые враги только потому, что они раньше состояли в кулацкой лжеартели.

Так медленно и твердо шел Биболэт к намеченной цели. Он надеялся, что обсуждение разъяснит очень многое. Он хотел напомнить местным коммунистам об их партийном долге и вернуть им утраченную веру в свои силы. Кроме того, Биболэту важно было с самого начала завоевать их доверие, чтобы они смотрели на

него, как на достойного, боевого товарища, который стал на некоторое время членом их партийной организации и несет наравне с ними ответственность за положение в ауле.

Биболэт обладал счастливым даром быстро устанавливать контакт с честными сердцами, столь же быстро он вызывал подозрение к себе у людей нечестных. Достигал он этого не ораторским искусством, а своею искренней и правдивой стремительностью.

И вот, по мере того как он продолжал говорить, он видел, как постепенно рассасывалась угрюмость людей, как их глаза, недружелюбно-уклончивые, устремлялись на него в напряженном внимании, а затем светлели и воспламенялись огнем деятельной, возбужденной мысли.

Как ни удручены были они своим провалом, этот бронзоволицый парень с выразительными, энергичными глазами зарождал в их душе невольное расположение к себе. Он был так прост и ясен, что остаться равнодушным к его словам оказалось невозможным. И все сидящие были уже убеждены, что слово у этого парня не расходится с делом. Он так ловко и так просто разматывает весь этот запутанный клубок, который, казалось, невозможно было распутать...

Развернувшиеся потом жаркие прения убедили Биболэта в том, что цель, которую он наметил себе на этом собрании, достигнута. Он знал, что местная группа коммунистов — эта основная сила, которую в первую очередь должен он сколотить здесь для предстоящей борьбы, — вполне боеспособна. Не было беспомощного, жалкого самобичевания за свои промахи, чего больше всего боялся Биболэт. Партийцы сразу ухватились за важнейшие нити его мыслей и развивали их практически, дельно и глубоко.

Собрание затянулось далеко за полночь. В принятом решении был один пункт, который гласил: перестроить работу ячейки на более оперативный лад и каждый вечер, в сумерках, всем коммунистам собираться для летучего совещания и определения заданий на следующий день.

Глава третья

Рано поутру Биболэт пришел в сельсовет. Секретаря партячейки еще не было. Но голос Амдехан, странно непривычный в сельсовете высокий голос женщины, вла-

стно отдавал приказы. Биболэт присел в сторонке и стал наблюдать за Амдехан.

Вчера, при встрече и в разговорах, у Биболэта возникла некоторая тревога за Амдехан, за ее авторитет председателя. Заметив, с какой чисто женской робостью встретила она его, он подумал: «Если в ней будет преобладать такая женская мягкость, то ее скоро закроют».

Но сейчас Биболэт убедился, что его опасения были напрасны. Наоборот, Амдехан ему показалась слишком строгой на своем председательском месте. Особенно же неприступно сурово была она к некоторым мужчинам. И видя, как эти бывшие грозные и деспотичные владыки адыгеек тихо и робко, словно по единственному бревну, переброшенному через арык, подходили к столу председательницы, Биболэт чуть со смеху не прыснул. «Неплохо, — решил он, — если она сейчас и будет немного сурова с ними. Когда они признают ее безоговорочно, тогда и Амдехан усвоит более спокойное отношение к ним».

Но вот вошла женщина и, робко скрестив руки у пояса, нерешительно остановилась у двери. Суровость Амдехан мгновенно исчезла, разомкнулись строго сдвинутые брови, она поспешно встала и мягко обратилась к вошедшей:

— Иди, иди сюда, Шарифа! Иди, садись...

Женщина подошла, но не решалась сесть в присутствии мужчин. Амдехан заботливо спросила ее:

— Какое беспокойство у тебя?

Женщина замялась и произнесла еле слышно:

— Я хотела бы тебе одной сказать...

— От присутствия гостя вреда не будет... Остальных мужчин прошу выйти, — распорядилась Амдехан.

Мужчины вышли. Вышел и Биболэт, щадя скромность женщины. И, закуривая на крыльце сельсовета, он обрадованно решил: «Замечательный советский работник выйдет из нее».

Пришел секретарь, и они направились в колхоз.

Несмотря на ранний час, около колхозного правления было много народу. Рассыпавшись группками, люди сидели в угрюмом молчании возле плетней, толпились у крыльца. Биболэт знал, что творится в их душах, о чем они так сосредоточенно думают и вяло и недовольно переговариваются.

Он был уверен, что среди них нет кулаков, но может быть, затесались только подкулачники, которые подслушивают, доносят и провоцируют. Не высидели дома и в такую рань собрались, тоскуя по привычной борозде, именно честные труженики. Сердце хлебороба ощущает вздохи неспаханной земли, жаждущей зерна, и сжимается болью.

Но почему же они в такое время, когда каждый день дорог и невозвратим для хлебороба, сидят здесь без дела? Биболэту кажется, что и это ему понятно. «Они, как обиженные дети,— думает он с теплым укором, понимающе разглядывая молчаливые группки людей,— заикапризничали, оттолкнули еду, а потом пожалели, но стыд и упрямство не позволяют им признаться в ошибке».

Половина коней, подвод и инвентаря, которые они обобществили, уже потеряна. Люди видят множество неполадок и неорганизованность в колхозе, болеют душой, беспокоятся, тревожатся, но не знают, кого обвинить: слишком много виноватых. И не знают, как все это исправить. В колхоз они вступили с великой готовностью: для них колхоз был неожиданно появившейся на горизонте их безнадежной жизни светлой надеждой на избавление от вечной нищеты, от вечной неуверенности в завтрашнем дне. Но теперь неполадки и гибель половины имущества надломил их веру в осуществление надежды.

Они чувствуют, что хищные когти богатеев вцепились в их дело и рвут под корень их организацию, но не могут определить, в каком же месте впились эти когти. Видят они, как подручные этих ненавистных людей, всякие картежники и бездельники пристроились в колхозе конюхами, ездовыми, сторожами. Не имея в сердце любви к животным, они беспощадно и бесцельно гоняют коней, которые были выхожены с такой любовью! А тут еще вылазки врага... Люди видят, что дело идет не по тому пути, который указан партией и Советской властью.

От одной группы отделился парень громадного роста и пошел навстречу Биболэту. Биболэт узнал в нем Шумафа.

— Фасапши, Биболэт! Когда мы окончательно решили, что ты нас вовсе забыл, ты вдруг взял да и объявился! — сказал Шумаф, приветливый, но несколько смущенный, точно он сознавал какую-то вину.

— Здравствуй, Шумаф! Смотри, как бы мы с тобой сейчас же не поссорились! — ответил Биболэт дружеской шуткой.

— Нам с тобой ссориться? Не знаю такого дела, из-за которого мы могли бы не поладить.

— А почему в такой весенний день ты сидишь здесь, а не пашешь?

— Это верно... Но, валлахи, я тоже не знаю, почему я здесь околачиваюсь! — произнес Шумаф, виновато опуская глаза. Приветливая улыбка погасла на его лице. Помолчав немного, он уже серьезно прибавил: — Неполадки в деле надломили наше сердце, Биболэт. После того как я увидел своего бедного Муштака в канаве с оскаленными зубами, у меня уже не лежит рука к работе. Ну скажи ты мне на милость: разве дело, в котором проявляется такое бессердечие к животным, может быть путным?

Биболэт помолчал, постоял некоторое время, грустно опустив глаза в землю, словно выражал соболезнование по поводу гибели Муштака. О, как хорошо он понимал боль сердца Шумафа! Ведь животное, вскормленное заботливой рукой, становилось для крестьянина почти членом семьи...

— Шумаф, — произнес он серьезно, — я понимаю твою горе. Я вижу, что на первых порах в вашем новом деле допущены большие ошибки. Но по-дружески тебе говорю: теперь не ошибись! Счастье крестьянина возможно только в колхозе. Ошибешься сейчас, свернешь на тяжелый кружной путь и, в конце концов, надорванный и измученный вернешься сюда же, в колхоз.

— Валлахи, не знаю. Поначалу мы не видим ничего, что радовало бы глаз, — протянул Шумаф неуверенно и уклончиво.

— Ну, об этом поговорим после. Может быть, и ты из тех, которые подали заявления о выходе из колхоза?

— Нет, пока не подал. Но заявление уже лежит в кармане. Мхамет удержал меня, пригрозил, что не будет разговаривать со мной, если я это заявление подам. Но все-таки я думаю подать это заявление, вот только жду, куда повернет большинство аула...

— Ну, тогда ничего. Обсудим сообща, как быть. А теперь пойдем к Мхамету. Посмотрим, как он сидит на председательском месте.

— Что ж, смотри не смотри, сидит он, как связан-

ный буйвол! — пошутил Шумаф. — Больше всего страдает оттого, что надо подписывать бумаги. Никак не может научиться держать ручку.

Он задумчиво помолчал и добавил:

— Валлахи, если подумать хорошенько, наш дуней поворачивается интересно! Мхамет председателем стал, а Амдехан еще пуще — председательницей. Не может быть, чтобы наш жизненный путь не выправился!

Радостно и смущенно встал Мхамет из-за стола навстречу гостю.

— А, Биболэт, милости просим! — произнес он несколько официально и скованно.

— Сиди, сиди, занимайся своим делом, — серьезно ответил Биболэт, пожал ему руку и сел на пододвинутую скамью. Взгляды их встретились. В глазах Мхамета Биболэт прочел жалобу на трудности, мольбу о помощи, дружескую доверчивую теплоту: он, видимо, был несколько смущен своим положением председателя. Биболэт догадывался, что Мхамет жаждет поговорить с ним наедине и, как раньше бывало, поделиться всеми своими думами и сомнениями.

Но Мхамет ничего не сказал, лишь тяжело вздохнул. Он сидел, действительно, словно связанный. «Наверное, он сейчас с тоской вспоминает о поле и о том, как, свободно развернув свои могучие плечи, косил сено, отмахивая саженные полосы», — подумал Биболэт и улыбнулся.

Ему тоже хотелось пошутить с Мхаметом, но в правлении колхоза присутствовало слишком много людей, и вольные разговоры были бы неуместны.

— Ну, Мхамет, как идут дела? — спросил он.

— Дела идут вот как! — Мхамет пододвинул Биболэту три листочка бумаги, лежавшие перед ним.

Это были заявления о выходе из колхоза. Все три были написаны одной рукой. Биболэту показалось, что почерк этот был ему знаком.

— Покажи-ка мне, Мхамет, и другие заявления. — произнес он, внимательно разглядывая бумажки.

Мхамет полез в стол, вытащил оттуда солидную пачку и подал. Биболэт тотчас же убедился, что большинство из них было написано одним и тем же почерком. На остальных заявлениях почерк был только слегка и неумело изменен. «Где я видел этот почерк?» — силился вспомнить Биболэт. Вдруг у него мелькнула догадка.

— Скажи-ка секретарю, чтобы он достал книгу приказов и переписки, — попросил он Мхамета.

Биболэт долго рассматривал папку. Наконец он нашел какую-то записку, написанную рукой Юсуфа, когда тот был председателем. Сличил незаметно для присутствующих почерки. Да, он не ошибся: большинство заявлений было написано рукой Юсуфа.

Стараясь скрыть свое изумление и возбуждение, он деланно равнодушно вернул папку. Потом сложил пачку заявлений веером, показал Мхамету и, многозначительно глядя на него, спросил:

— Ты обратил внимание, Мхамет, что большинство заявлений написано одной рукой?

— Нет, не заметил! — живо откликнулся Мхамет. Он лег грудью на стол и принялся рассматривать.

— Да, похоже на то, что одной рукой написаны! — воскликнул он и взглянул на Биболэта широко раскрытыми глазами.

— Все эти заявления вышли из кулацкого штаба, — громко произнес Биболэт.

Мхамет все еще не сводил с него глаз, ожидая разъяснения, но Биболэт не прибавил ничего. Однако люди, присутствовавшие здесь, переглянулись. Вскоре некоторые из них тихо вышли из колхозного правления и понесли по аулу новость. Не прошло и нескольких часов, как Биболэт услышал отзвуки произнесенного им слова. «Этого гостя, как видно, трудно будет провести...» — говорили аульчане.

Между тем Биболэт, сопровождаемый Мхаметом, отправился к месту, где были разбиты колхозные парники.

Когда они остались одни, Мхамет выложил все жалобы. Биболэт молча выслушал его и твердо возразил:

— Если ты уйдешь, кого же сделаем председателем? Ты думаешь только о том, чтобы тебе легче было. Но ты забыл про то доверие, которое оказано тебе хлеборобами аула: они выбрали тебя и ждут от тебя дела. Твое мягкосердечие следует решительно отбросить. Кулаки дезорганизуют твоё дело, уничтожают лошадей и инвентарь колхоза, а ты жалеешь их, щадишь подкулачников. Надо крепче связаться с партячейкой. Надо по одну сторону фронта стать. Никогда не примиришь классовых врагов. Первое задание мое: проследи за тем, как твои конюхи скармливают фураж. Если обнаружишь виновных, проследи, с кем они связаны. Тогда

увидишь, насколько они безжалостны, и сам станешь к ним безжалостным. А то жалеешь злодеев, а сотни честных тружеников разоряешь. По-настоящему надо за дело взяться. Сейчас идет борьба с врагом не на жизнь, а на смерть. И трясущимися руками трудно будет побеждать.

Мхамет, потупив глаза, с болью в голосе сказал:

— Ты правильно подметил мою слабость. Как-то рука на них не поднимается: думал — люди все-таки. Хорошо, что ты приехал. Вот ты сразу догадался о продаже конюхов. А сам я долго ничего не замечал...

Их догнал секретарь партячейки, и Мхамет, сославшись на срочные дела, вернулся в колхозное правление.

Парники были разбиты на самом прибое ветров. Более неподходящее место трудно было бы найти во всей округе. Возвышенное, оголенное, оно не имело никакой защиты. Лощина, на откосе которой были разбиты парники, обычно высыхала, если не было дождя, и сейчас дно ее все уже растрескалось. Биболэт долго, задумчиво разглядывал запруду, развороченную вражеской рукой.

Неподалеку отсюда, на расстоянии приблизительно полутора-двух километров, виднелась сочная зелень вербняка, растущего на берегу реки. Биболэт смотрел в сторону реки и с завистью думал о воде, которая плещется там.

— Какое место выбрали вы под огороды колхоза?

Секретарь указал пальцем на кустарник.

— Вон там, в вербняке, где река поворот делает.

— Какие работы уже проделаны?

— Ничего пока не сделано. Там были огороды пришлых хозяев. Аренду расторгли, хозяева убралась. Осталась поливная система и водонасосный мотор.

— Почему же парники не разбили там?

— Решили, что около аула сподручнее и легче будет обработать.

Биболэту стало ясно: враг метко бил в цель. Сорок гектаров табака и огороды должны были по плану составить половину доходов колхоза. Это те самые отрасли хозяйства, на которых жирели кулацкие плантаторы. Если этими культурами овладеет колхоз, то что же останется плантаторам? Вот они и пустили провокацию, отпугнули людей. И добились, что парники были разбиты на безводном месте. Воду, запруженную в ло-

щине, выпустили люди, подосланные теми же кулаками, и весь колхозный план, таким образом, поставили под угрозу срыва.

«Но что теперь делать?» — ломал голову Биболэт. Он слишком хорошо понимал значение этих культур: в них не только доходы колхоза, но и частица общего плана государства. Кроме того, это было бы началом интенсификации обработки земли и подъема ее доходности. Секретарь партячейки, который должен был бы раньше всех понять угрозу, стоит рядом с Биболэтом, щурит ленивые глаза и то и дело сибаритским жестом, оттопырив палец, смахивает пылинки со своего темно-синего костюма.

Мысль Биболэта снова возвращается к парникам. «А все-таки план посадки табака и огурцов должен быть выполнен во что бы то ни стало. Но как? Не перенести ли парники на берег реки? Но тогда сколько подвод, лошадей, рабочих рук понадобится и какого труда будет стоить выход людей на парники, в то время как эти люди не хотят начать даже привычной, любимой весенней пахоты, по которой у них у самих душа болит? Кроме того, если парники расположить так далеко, врагу будет сподручнее повредить рассаду!»

Так металась мысль Биболэта в поисках выхода. К ним подошел со стороны парников хмурый человек, по всей видимости, грек. Он спросил, обращаясь к секретарю:

— Когда же разрешите вопрос о воде для парников? Время посева уже пропущено. Что вы так медленно там рассуждаете?

Секретарь замялся, медля с ответом.

— Кто этот человек, какое отношение он имеет к рассаде? — нетерпеливо спросил Биболэт.

— Это специалист по табаку, нанятый колхозом, — ответил секретарь.

Тогда Биболэт обратился к подошедшему:

— Как ты смотришь, если мы перенесем парники на огороды, на берег реки?

— Что?! Туда перенести?! — испуганно воскликнул грек. — Какого шума и крика стоило здесь построить, а теперь вновь переносить? Не успеем вырастить рассаду! И за месяц эту работу не сделать. Если теперь же, самое большее в четыре-пять дней, не засеем, то я не отвечаю за урожай табака. Я тогда откажусь. Но если

бы даже и быстро перенесли парники на берег, я все равно не соглашусь там работать.

— Почему же ты не согласишься! — спросил Биболэт с холодком мелькнувшего у него подозрения.

— Пойти туда для того, чтобы меня убили! Если и не убьют, то испортят рассаду, я буду виноват, а это все равно, что убьют.

— Кто тебя собирается убить?

— Есть в ауле такие люди... И не моргнет глазом, как перережет горло.

— Так просто возьмут и убьют?

— Тогда ты не знаешь, что творится здесь. Я уж и так решил не оставаться на этой работе, — пробормотал грек, понизив голос и опасливо оглядываясь вокруг.

Подозрения Биболэта против грека рассеялись, но теперь возникли новые.

— Пригрозили тебе? Скажи мне прямо.

— Никто не пригрозил, никто ничего не говорил мне... а так, я решил не работать тут... — попытался уклониться грек, видимо, жалея о признании, которое сорвалось с его губ. И в свою очередь, недоверчиво глядя на Биболэта, спросил:

— А ты кто такой будешь?

Секретарь неторопливо отрекомендовал Биболэта, и грек мгновенно оживился.

— Тогда тебя-то мне и нужно. Пойдем-ка туда, ближе к парникам, — сказал он более миролюбиво и таинственно понизил голос. — Мне подкинули записку: «Что хочешь делай, как хочешь делай, только чтобы рассаду испортить и табак совсем не посадить. Если это сделаешь, получишь много денег, а если не сделаешь, куда бы ни скрылся, все равно найдем и убьем». Такие записки три раза мне подкидывали. Я никогда нечестно не работал, а теперь — чтобы я сам испортил рассаду! Не хочу, чтобы меня убили, и не хочу рассаду портить. Решил уйти от этого кляузного дела. А ты, хозяин, собираешься отнести парники к лесу!

— Дай мне эту записку, — попросил Биболэт.

— Дам, когда отсюда уеду, но пока я здесь, боже упаси. Отдать для того, чтобы меня потом убили!

— Ну, хорошо, это неважно, — прикинулся равнодушным Биболэт. — Нетрудно догадаться, кто может подбросить такие записки. Они занимаются вредительством не только на парниках. Лучше посоветуй нам,

как обеспечить водой парники. Что, если мы выроем колодец?

— Колодец здесь слишком глубоко придется рыть, вода будет холодная; ее надо сначала разливать по чанам, греть на солнце, а потом только поливать. Легче, пожалуй, в бочках с реки возить. Да, кроме того, здешняя колодезная вода не подходит для рассады, она жесткая.

— Тогда скажи вот что: сколько дней еще можно промедлить с посевом семян в парниках? Каков окончательный срок?

— И сейчас мы уже запоздали. Теперь уже можно рассчитывать только на хорошую, сухую осень.

— Но если ты в такой момент бросишь дело и уйдешь, тогда и тебя придется считать врагом! А сделать так, чтобы тебя никто не мог тронуть, это наше дело. С этим я согласен. Обеспечить через пять дней парники водой каким бы то ни было способом — тоже наше дело. Это мы берем на себя. А выращивание рассады и хороший уход за табаком — это твое дело. После того, как рассада будет удачно высажена в грунт, — обещаю тебе благодарность и премию. Я верю, что ты честный человек. Длинного разговора и спора здесь не нужно. Давай руку: заключаем с тобой договор на честное выполнение условий каждой стороной!

Биболэт протянул руку греку, тот с опаской, неуверенно и медленно протянул свою и сказал:

— Мне-то что, я люблю табачное дело. Если дадите возможность работать — я работу люблю. Но боюсь, что за пять дней в этом ауле не обеспечишь воду. И наш честный уговор окажется напрасным. Но я все-таки буду надеяться на тебя.

Лицо грека просветлело.

После этого Биболэт расстался с ним и один направился в сторону огородов, к реке.

Глава четвертая

Вечером, вернувшись в сельсовет, Биболэт увидел в коридоре Доготлуко. Оба бросились друг к другу, крепко обнялись. Пока они сыпали обычные при неожиданной радостной встрече горячие слова и вопросы, из сельсовета вышла Нафисет.

— И Нафисет приехала!.. — вырвалось у Биболэта.

— Я имела возможность уехать раньше срока, и вот мы здесь. Приехали, чтобы помочь организовать праздник Первое мая, — сказала Нафисет, просто и непринужденно подавая руку Биболэту.

Это ее спокойствие, холодок и некоторая официальность мгновенно погасили вспышку радости у Биболэта.

Не находя что сказать, он некоторое время стоял и молча рассматривал Нафисет. Отражение радости как бы застыло в его глазах, и в эту минуту он имел странный вид.

Он машинально рассматривал новое одеяние девушки: модный коротенький жакет, белый берет, желтые туфельки. «Студенческое обличье идет к ней», — отметил он про себя, но боялся заглянуть в ее глаза. Впрочем, он быстро оправился и с заметной наигранной веселостью произнес, обращаясь к обоим:

— В таком случае вы приехали вовремя, сейчас вы очень нужны здесь. Пойдемте поговорим. Погодите: когда же Первое мая, сколько дней осталось? Я здесь закружился совсем...

В голосе Биболэта зазвучала нотка искусственной дружеской непосредственности. Но глаза его пристально следили за Нафисет. Вот она взглянула на него прямо, просто, чуждо. Это возвратило ему способность видеть и рассуждать трезво. И теперь он заметил в ее взгляде затаенные обиду и грусть. Такое выражение у нее было, когда они пришли к ней наутро после ее похищения: этого никогда не забыть Биболэту! Часто думал он и до сих пор не мог понять странного ее взгляда... И теперь, когда он разговаривал с нею, мысль его все кружилась вокруг этого же вопроса. Внезапно блеснула у него догадка: «Если она может держать так долго обиду в сердце, у нее не так скоро пройдет и любовь. Но было ли у нее чувство к нему? Прошло уже три года...»

— До Первого мая осталось только два дня, — произносит Нафисет с еще более заметным холодком. Но глаза ее встречаются с глазами Биболэта: он смотрит на нее с обидой, укором и нежностью, старательно ищет желанной ответной искорки участия. Нафисет не выдержала и робко отвела взгляд.

Горячая волна радости вновь хлынула в душу Биболэта: «Нет, не ошибся, она любит! Но за что же она так крепко обиделась на меня? Может быть, моя невнима-

тельность, недогадливость заставляют ее так страдать?»

— В комсомол вступила? — дрогнувшим голосом мягко спросил он.

— Да...

В сельсовет вошел Халяхо. Все такой же кругленький мохнатый старичок, и палка впереди него идет. Но сегодня он необычайно встревожен. Несмотря на то, что они три года не виделись, у Халяхо не находится обычного старческого приподнято-витиеватого саляма и туго скрученной многозначительной шутки. Видно, ему не до саляма теперь: он поспешно подошел, тревожно сказал:

— Биболэт, я к тебе. По одному делу надо поговорить. И ты тоже, Доготлук, послушай.

Халяхо вывел их из сельсовета и, когда они зашли за угол здания, начал тревожным шепотом:

— Очень хорошо, Биболэт, что ты приехал. Я слышал, что ты работаешь в городе, и сам собирался к тебе. Беспокоит меня то, что творится тут у нас. Главное — это компания Бехуковых и Аликовых. Они что-то готовят. Собираются под видом пиршества. На эти их вечеринки не попадает никто, кроме их компании. Я давно пытаюсь проникнуть в их замысел, хоть это не удается. Но сейчас я узнал кое-что. И вот пришел сюда. Они замышляют против тебя недоброе. Как только ты появился в ауле, то стал у них бельмом на глазу. О словах, сказанных тобою вчера в колхозном правлении, весь аул говорит. Твоя хватка сразу напугала эту компанию! Так вот, сын мой, оставаться тебе в этом ауле опасно. Лучше было б тебе уехать. А если нельзя дело оставить, то будь осторожен. Хорошо, что Доготлуко приехал. Но и он тоже должен быть осторожным. Его тоже ненавидят они.

— Спасибо, что предупредил нас, Халяхо, — проговорил Биболэт после некоторого раздумья. — Мы тоже не ожидаем от них ничего хорошего. Надо будет предупредить и Амдехан, и Нафисет, да и всех активистов.

— В компании у них старые злодеи, — продолжал Халяхо. — Один Измаил чего стоит!..

— Каким образом Измаил тут? — спросил Биболэт, обращаясь к Доготлуко.

— За попытку похищения Нафисет он получил пять лет. Отбыл три года и не так давно вернулся досрочно, — ответил Доготлуко. — Растерял всех дружков-бандитов..

Конокрадством тоже не дают заниматься. Так он и прибил к этой группе. Уж слишком Советская власть добросердечная, разве можно таких, как Измаил, отпускать досрочно? Сколько у него дел, за которые он мог бы получить высшую меру наказания. Но не удалось до сих пор поймать его с поличным...

— Так вот, Халяхо, — обратился Биболэт, продолжая вслух свою мысль, — надо нам встретиться с тобою и более спокойно и обстоятельно поговорить. Твоя помощь будет нам очень нужна. Сейчас у нас собрание. Завтра увидимся. Будем крепко на тебя надеяться!

Когда они вернулись в сельсовет, члены ячейки были уже в сборе. Пришел и Мхамет.

Биболэт поделился с коммунистами своим планом обеспечения парников водою. По его мнению, надо было прорыть канаву и по ней подвести воду из речки.

— О-о-о! — разочарованно и насмешливо воскликнули собравшиеся — такой нелепой фантазией показалось им предложение Биболэта.

— Это — единственный выход, — настойчиво сказал Биболэт и, вынув свои записи, привел точные цифры и подсчеты. Коммунисты задумались, никто уже не смеялся. Прошел первый момент безотчетного страха перед сложностью неначатого дела. Тогда Биболэт нарисовал перед ними еще менее выполнимый вариант — подвоз воды в бочках.

— Если бы колхоз был более окрепшим, возможно, этот вариант оказался бы не столь трудным. Но представьте себе, что получится: на подводах широкогорлые домашние чаны, половина воды по дороге расплескивается, крики, ругань. Рвется неисправная сбруя. Разбитые казаны, недовольство хозяев, нехватка в возчиках... И это ведь — не день-два, а целый месяц, полтора месяца... Если же мы дружно возьмемся за канаву, — через четверо суток, как я вам показал в подсчетах, водою будет заполнен не только водоем, но и вся ложбина возле парников. Хватит даже и для телят, и для гусей...

Мало-помалу Биболэт убедил собрание в том, что план его вполне выполним.

Собрание кончилось очень поздно. Биболэт и Доготлуко пошли провожать Нафисет.

Пока прохлада весеннего вечера не остудила их раз-

горяченные головы, все трое шли молча. Разговор начал Биболэт.

— Расскажи, Нафисет, как у тебя с учебой? Ты учишься в Ростове? — спросил он.

— Да.

— На рабфаке?

— Да. Кончила уже.

— И неужели, после такой науки, ты до сих пор не убедилась в том, что пора уже простить меня...

— В чем же ты провинился? Я не знаю никакой вины за тобой... — Голос Нафисет зазвенел надломленно и грустно.

— Разве я не вижу, что твое отношение ко мне внезапно изменилось. Я это заметил в то утро, когда мы встретились в доме у Куляц. И вот с тех пор я ломаю голову и не могу понять, в чем же заключается моя вина, за которую ты осудила меня навеки?

— Я совсем не думаю так о тебе. Но нечто замеченное мною тогда вынуждает меня быть недоверчивой к тебе...

— Ну, скажи же, что заметила? Этого только я и хочу. Если это раскроешь, мы оставим в стороне подозрения и найдем настоящего виновника.

— То, что я заметила, больше всего известно тебе самому.

Биболэт вздохнул, досадливо пожал плечами.

— А чем объяснить, что ты, будучи в Краснодаре, не захотела дать знать о себе?

— Зачем беспокоить людей из-за того, что я сама легко могла устроить. В учебе многие готовы были помочь мне... — возразила Нафисет.

— А почему мое письмо осталось без ответа?

— Ты же сам, кажется, когда-то объяснял мне, что с человеком, серьезно занятым учебой, легко может так случиться и что это можно ему простить. Так вот я и решила, что ты великодушно меня простишь.

— Это ты припомнила мне вполне по заслугам. Я не ответил на твое письмо, но... я это допустил действительно без умысла. А ты не так: с умыслом, в отместку мне не ответила. И вот оказывается — ты виновна.

— Ты мастер перекладывать вину на других...

— Нет! Я вовсе не собираюсь тебя обвинить, а себя оправдывать. Я же с самого начала признал свою вину, первую вину, — в том, что я не ответил тебе. Я толь-

ко хочу знать вторую, не известную мне вину, за которую ты так жестоко наказала меня.

— В том, что ты не ответил на мое письмо, я не особенно винила тебя... Но после, когда я своими собственными глазами увидела причину, которая побудила тебя не ответить на письмо, я не могла не осудить тебя. Но опять-таки и в этом я больше обвинила себя, чем тебя...

— Так скажи мне, Нафисет, что это ты собственными глазами увидела?

— Может быть, я и ошиблась... Зачем вспоминать прошлое... — тихо произнесла она. Но в ее голосе не было уже прежнего холода.

— Это стало прошлым по твоей вине, а не по моей... — возразил Биболэт, вснец разобиженный.

Здесь вмешался в разговор молчавший до того Доготлуко.

— Слушаю я вас, оба вы виноваты. Оба, как капризные дети. По-моему, ни один из вас не заслужил упреков, которые вы бросаете друг другу. Я не хотел вмешиваться в дело, которое скрывают от меня, но, право, я не знаю, что это за «прошлое»... Боюсь, что вы несправедливы друг к другу.

— Легко и часто обижается, говорят, тот, кто любит, в чем, кажется, никак нельзя заподозрить Нафисет... — все так же угрюмо бросил Биболэт.

— Ну, уж если так, то тебя меньше всего можно заподозрить в этом... — ответила Нафисет.

Доготлуко расхохотался.

— Я им говорю: не капризничайте, а они пуще прежнего! Если действительно обидчивы бывают влюбленные, то, аллахом клянусь, более влюбленных, чем вы, и на всем свете не сыскать!

— Скажи, Нафисет, как ты смотришь на это заявление? — спросил Биболэт еще недоверчивым, но уже смягченным голосом.

Нафисет шла некоторое время молча, почти не дыша.

— Я смотрю на это... — начала она и сделала паузу.

— Ну скажи, скажи!

— Я смотрю на это так, — повторила Нафисет уже серьезно и твердо, — сколько бы мне ни пришлось пережить, какие бы трудности ни пришлось перенести, а все же лучше, что я, не рассчитывая ни на кого, вступила на путь самостоятельной жизни. Это для меня боль-

свое счастье. Многие адыгейские мужчины еще не доросли до того, чтобы смотреть на женщину, как на человека. Биболэта я не относил к таким, но то, что я сама своими собственными глазами увидела, заставило меня усомниться...

— Скажи, Нафисет, что же ты видела? Скажи, разберемся... Увидишь, что ты ошиблась.

— Если бы сама не видела, то охотно согласилась бы, что ошиблась...

— Ну, скажи же!

Дошли до ворот Устаноковых и остановились.

— Скажу! — Нафисет остановилась, выпрямилась и вдруг со счастливым смехом произнесла обычную формулу гостеприимства:

— Пожалуйста в наш дом, будьте желанными гостями! — и всерьез прибавила: — На самом деле, зайдите, посидим.

— Нет, спасибо, уже поздно. Но помни, Нафисет, что ты тогда была так же несправедлива ко мне, как и сегодня, — сказал Биболэт, сожалея, что так скоро дошли. — В этом и Доготлуко свидетель, — прибавил он со вздохом. — Но что будешь делать, дать тебе взыскание по комсомольской линии не могу. Смотри же, если ты плохо выполнишь задание по подготовке к Первому мая, отплачу сразу за все страдания, которые ты мне причинила.

— Есть подготовиться к празднику Первое мая! — с внезапно охватившей ее веселостью произнесла Нафисет.

Биболэт подошел ближе к Нафисет и, уже не шутя, понизив голос, сказал:

— А насчет работы среди женщин надо быть очень осторожной. Прежде всего постарайся разузнать настроение женщин и характер слухов, которые распространяют кулаки среди женщин.

— Хорошо! — сказала Нафисет.

Утренняя мгла еще держалась в домике Айшет. Биболэт достал свой блокнот и стал просматривать накопившиеся за вчерашний день записи: «Проверить колхозные амбары и семфонд. Подготовиться к собранию бедноты. Распределение обязанностей между членами правления колхоза. Помочь Мхамету. Вода для парни-

ков. Семена огородных культур. Вспашка приусадебных огородов. Проведать трех больных колхозников. Лошадь с седлом для агронома. Подготовиться к докладу на 1 Мая. Ссуды под технические культуры и под табак...»

Пробежав все эти записи, Биболэт озабоченно запустил пальцы в курчавые черные волосы. Тотчас же отодвинулась от него и мысль о Нафисет, и непонятная радость, заполнявшая его в это утро, и надежды и сомнения стали далекими...

На улице стоит утренняя прохлада и сизый дымок. Глубокий слой пыли на дорогах, прибитый росой, мягко уминается под ногами. С окраины доносится рев скота, выгоняемого на пастбище, аул оглашается ответным мычанием телят. Свежие кучки помета на улицах дымятся, точно подоженные.

Впереди, по улице, навстречу Биболэту идет женщина. Вот она сошла с дороги, уступая дорогу мужчине, а затем вернулась и стала с краю дороги.

Биболэт ускорил шаг, догадываясь, что женщина не хочет пересечь ему дорогу. Но когда приблизился, она пошла к нему навстречу — пожилая, с отметинами бедности и постоянных забот на морщинистом лице. На платье видны еще не высохшие пятна от молока и воды. В глазах и на губах — мольба и застенчивость.

— Милый, не ты ли будешь тот, который из города приехал сюда по колхозным делам? — спросила женщина.

— Я самый, мать. Скажи, что беспокоит тебя! — приветливо ответил Биболэт.

— А нынэ¹, я слышала хабар о твоей разумности и твоей человечности и хотела спросить у тебя о чем-то.

— Говори, говори, мать! Скажу так, как у меня на сердце.

— Наш-то, послушавшись людей, подал заявление о выходе из колхоза. Я не хотела, чтобы он уходил, но пугают нас всякими страшными карами, которые, мол, обрушат на нас ушедшие за море и будут кромсать всех колхозников. Я хотела услышать от тебя правильное слово об этом.

Биболэт был изумлен и обрадован необычайной встречей.

¹ Нынэ — ласковое материнское обращение.

— Мать, — сердечно сказал он, — я имею старых родителей. По моему совету и по моему настоянию они первыми вошли в колхоз. И тебе я говорю так же, как своим старым родителям: только в колхозе ваша дорога счастья. Не пугайся всяких хабаров. Люди, которые распространяют такие лживые хабары, сами из всех сил стараются попасть в колхоз, но их туда не пускают. А если попадут, то все равно выбросят. А тех, которые ушли за море, им уже не увидеть, как своего затылка...

Женщина внимательно выслушала Биболэта и спросила с верой и сомнением:

— Увидим ли мы когда-нибудь налаженной эту колхозную жизнь, как ты думаешь, сынок?

— Скоро увидим!

— Тогда лучше будет, если мы возьмем обратно свое заявление.

Женщина помолчала в раздумье и прибавила уже успокоенным тоном:

— Мы тоже с большими надеждами вошли в этот колхоз, очень многого ожидали от него. А теперь выйти из колхоза нам тоже невозможно: две лошадки, которых мы отдали туда, загублены. Чьих лошадей возьмем, выйдя оттуда? Несчастливого, как говорят, и на верблюде собака достанет: раньше всех подошли лошади именно наши, бедняцкие. А лошади богатых сохранились и в колхозе... Спасибо тебе, сынок! Ты успокоил меня. Да сделает аллах твою жизнь счастливой!..

Глава пятая

Биболэт уже научился под любимыми покрывалами разглядывать затаенные помыслы врага.

Раньше, когда, закончив учебу, он сразу попал в самое пекло классовой борьбы за колхозы, его еще можно было обмануть. Но каждый такой обман оставался в нем незабываемой зарубкой опыта. Он научился чутко различать разницу между словами, исходящими от искреннего сердца, и обманчивой сетью лстивых слов. Теперь уже его не мог провести благообразный вид седобородого старика и слащавый поток набожных, лицемерных слов. Под серябряной оправой бороды и солидной внешностью стариков острый глаз Биболэта разглядывал лицо врага, и не смягчалось уже его сердце перед заскорузлыми ладонями кулака, который не жа-

лел самого себя и выжимал кровь и пот из наемных батраков.

Как опытный и страстный охотник, Биболэт шел в ауле Шеджерий по следу врага, выслеживал его логовища, тайные собрания, провокационные слухи, старался сразу же раскрыть новые и новые вражеские маневры и обезвредить их. Коммунисты, комсомольцы, беспартийные активисты рассыпались по всему аулу. Они пользовались малейшим поводом для разоблачения врага перед всеми. Беседовали с людьми. Вели горячие споры по кунацким. Присаживались возле плетней, ввязываясь в беседы крестьян. Всюду беспощадно отсекали ядовитое жало вражеской агитации. Борьба шла на улице, в степи, в каждом доме, в каждой кунацкой. Она проникла даже в запретные женские половины домов.

В ауле Шеджерий враг был уверен в своей силе. На первых порах ему удалось причинить значительный вред колхозу. Теперь враги ждали общеаульского собрания: на нем они собирались окончательно похоронить колхоз. Но пока враги ждали, маленькая армия Биболэта без усталости, день и ночь подкапывалась под них, перегрызая хитросплетенную провокационную сеть.

На первых порах действия Биболэта были непонятны кулакам. Биболэт не созвал общего собрания крестьян, как это делали до сих пор все уполномоченные. Враг видел, что коммунисты и комсомольцы ведут усиленную агитацию в ауле, но не очень-то беспокоились: и раньше ведь коммунисты агитировали крестьян, в этом не было ничего нового. «Если новый уполномоченный и дальше будет так действовать, — рассуждали кулаки, — то это беда небольшая: все равно ему когда-нибудь придется устроить аульское собрание, и тогда мы перепутаем все карты!»

Но прошло немного времени, и враг стал обнаруживать ощутительные прорехи в своей провокационной сети. Некоторые крестьяне, казалось, крепко-накрепко пойманные в сеть врага, внезапно стали отворачиваться от него. Все чаще повторялись случаи, когда люди забирала обратно заявления о выходе из колхоза. Враг забеспокоился. «Почему уполномоченный так долго медлит с общим собранием? Скорее надо определить — кто хочет и кто не хочет быть в колхозе, развязать руки аулу, — раздавались голоса из его стана. — Надо сеять, пахать, год проходит! В конце концов, если он не собирает-

ся устраивать собрание, то мы сами устроим. Чего ждать — сев не ждет!»

Но вот по аулу пронесся слух, что вечером под Первое мая будет общее собрание крестьян. Враг вознамерился воспользоваться собранием, чтобы по-своему решить судьбу колхоза.

Однако партиячейка нашла целесообразным не поднимать вопрос о колхозе на первомаяском собрании, а использовать этот вечер для разъяснения трудящимся общей задачи борьбы с классовым врагом.

— Пусть посмотрят на нашу борьбу в ауле с мировой точки зрения, — так формулировал Тыхуцук задачу собрания...

После полудня Биболэт пошел в школу — первомаяское торжественное собрание предполагалось провести там. Он решил проверить, как идет подготовка к празднику. Кроме того, ему очень хотелось повидаться с Нафисет. Его томило желание узнать, что таит Нафисет в своем сердце. В душе его боролись гнетущее сомнение и неугасающая надежда.

На полу в зале лежали полосы красной материи, расписанные лозунгами. Наверху лестницы, приставленной к стене, стоял учитель. Он держал конец красного полотнища, другой конец поддерживала внизу Нафисет. Она следила за тем, что делал учитель, и говорила ему:

— Довольно, довольно! Вот так, прибывай!

Отовсюду раздавались звонкие голоса и смех школьников, помогавших им.

Нафисет не сразу заметила Биболэта.

— До вечера кончите, Нафисет? — спросил Биболэт, поймав наконец ее взгляд.

Нафисет передала конец полотнища одному из школьников и пошла навстречу Биболэту.

— Осталось только лозунги прибить.

Биболэт заметил в глазах Нафисет тревогу.

Легким жестом она показала, что им нужно выйти из школы. Сердце у Биболэта упало: он подумал, что сейчас последуют объяснения и все решится сразу.

— Хорошо, что ты пришел, — тихо сказала она, когда они отошли от школы. — Я искала тебя. Ты знаешь, наверное, как в соседнем ауле взбудоражили женщин провокационными слухами. Вот оттуда приехала одна старуха. Она сейчас живет у Хаджирета Шумытля.

Не родственница его и даже до сего времени не знакома была с ним. Я это точно узнала. Но сам Хаджирет объявляет ее родственницей. Так вот, эта старуха распространяет по аулу всякие невероятные слухи. Каждый день вереница аульских женщин тянется к дому Хаджирета. Она им вот что говорит: «Коммунисты у нас в ауле приготовили одеяло размером как раз с общественный амбар. Туда, в амбар, поместят всех женщин-колхозниц и под музыку пускать будут к ним ночевать мужчин. Если бы наши женщины не подняли крик, это свершилось бы. И вам надо, пока не поздно, сообща выступить. Иначе будет беда... Конец мира настанет...» Вот какие слухи пускает по аулу эта старуха. И кулацкие жены подпевают ей. «Пришел конец мира и наша гибель...» — вопят они и льют лицемерные слезы. Они подбивают женщин организовать всеобщее молебствие...

В первую минуту в сердце Биболэта поднялась бурная волна радости — значит, он ошибся в своих предположениях о Нафисет! Но вслед за этим до его сознания дошла вся серьезность опасности, о которой сообщила Нафисет.

— Кто тебе сказал об этом? — спросил он, помрачнев.

— Наша соседка, старуха Дарихан. Я к ней привязана больше, чем к матери. Она не обманет меня. Сама Дарихан по моей просьбе ходила к Шумытлям.

Нафисет смотрела на него с тревогой и участием. Она позабыла о девичьей робости, о своей обиде и уже не пыталась скрыть нежности к нему, ее любимому, на которого обрушиваются все трудности напряженной борьбы. Да, это была новая, большая и неожиданная для Биболэта опасность.

— Они нащупали у нас самое слабое место, — озабоченно сказал он. — С женщинами до сих пор не велось никакой работы, и теперь мы будем расплачиваться. Но и женское собрание созвать сейчас невозможно — пока не сдвинем сев и не организуем бедняков и середняков. К тому же, к такому собранию надо очень хорошо подготовиться.

Он задумался и потом прибавил:

— Пока мы подготовим как следует женское собрание, тебе, Нафисет, вместе с Амдехан придется крепко поработать среди женщин. Сейчас вам надо выявить наиболее сознательных, активных женщин, которым можно доверять, и организовать их в противовес этой старухе.

Биболэт умолк и некоторое время ласково смотрел на девушку. Видя ее тревогу, Биболэт взял ее за руку и мягко сказал:

— Тревожиться так незачем — одолеем, конечно, и эту трудность. Но, Нафисет, надо быть осторожной. Враг, как бешеная собака, он способен на все. По ночам одна не ходи. Не доверяйся ненадежным спутникам. Хорошо?

— Хорошо... — тихо ответила Нафисет.

Глаза большинства сидящих в зале горели напряженным вниманием. Люди позабыли о своих житейских невзгодах и о первоначальном угрюмом недоверии к новому уполномоченному. Они силились глубже всмотреться в сложный и непонятный мир, который старательно раскрывал перед ними Биболэт.

Но в зале присутствовали и другие слушатели: они смотрели на докладчика враждебно и то и дело общинчески переглядывались. Они не слушали того, что говорил Биболэт, и явно выжидали момента, чтобы осуществить свой замысел...

— Эй, наш гость! — крикнул, наконец, один из них. — Ты так долго мелешь, давай лучше поговорим о нашем колхозе.

Вслед за тем раздались выкрики:

— Довольно! Это мы все слышали!

— Надо решать вопрос о колхозе.

— Мы и так знаем, что ты умеешь говорить, но сейчас некогда нам слушать тебя! Говори о колхозе! Вот окончим сев, тогда уж и будем слушать все остальное...

Биболэт, мысль которого не успела еще оторваться от доклада, оторопело замолчал. Когда же его сознание вернулось к действительности, кровь в нем вскипела от ярости. Но уже в следующее мгновение он сообразил, что это и есть выступление врага. Си быстро взял себя в руки и спокойно поднял ладонь. Когда шум в зале немного утих, он твердо сказал:

— Не шумите, успокойтесь! Я и сам знаю, что на этом собрании есть люди, которым неинтересно слушать мой доклад. Я вовсе и не надеялся, что они одобряют мои слова. Я обращаю свое слово к тем честным труженикам, которых здесь большинство и которые ищут правду жизни. Уверен, им интересно знать, что проис-

ходит на земле, как живут и борются труженики всего мира. Но если я ошибся, тогда пусть скажет большинство сидящих здесь, и я замолчу. Труднее ведь говорить, а молчать легче.

Биболэт умолк и некоторое время рассматривал притихшее собрание. Затем прибавил:

— Говорите, честные труженики! Как скажете, так и поступим. Предпочитаете ли вы слушать тех, кто сейчас поднял такой гвалт, и тех, кто за ними стоит? Предпочитаете ли услышать такие «новости», будто «коммунисты собираются сшить стометровое одеяло и устроить общее ложе для мужчин и женщин», — хотите ли вы слушать эти гнусные выдумки врага? Или предпочитаете узнать, что творится в мире, какая борьба идет в нем, и собственным умом выбрать свой жизненный путь? Говорите, я жду.

Одну минуту люди хранили глухое молчание. Затем в середине зала поднялся старик в мохнатой папахе. Он заговорил, видимо, пытаясь подавить в себе клокочущий гнев, глухим, прерывающимся от волнения голосом:

— Говори, сын мой! Говори именно то, что ты находишь уместным. И человеческое слово нам нужно и руководящая нить правды нам нужна! То, что мы не умели видеть правды, тяжело сказывалось на всей нашей жизни. До сих пор мы шли точно с завязанными глазами: не видели дальше своей околицы и не знали, что творится в мире. Из-за этого мы часто спотыкались, поддавались обману людей с непрямыми сердцами. Если же среди нас есть потерявшие всякое уважение к человеку, они вольны покинуть нас. Говори, сын мой! Продолжай свое слово! — гневно закончил старик и обратился к собравшимся:

— Правильно говорю я, аул?

— Правильно, правильно!

Биболэт прислушался к разгоревшемуся спору. Вот сцепились два старика:

— Разве я уже не слышал то, что он здесь говорил?

— Если бы слышал, то не говорил бы так. Что ты понимаешь в том, что в мире творится?

— Все же немного больше тебя понимаю!

— Валлахи, ни черта ты не понимаешь!

А вот двое бородатых даже поднялись с места и ожесточенно машут кулаками.

— Вы запрещаете нам слушать? Но от вашей-то

Брехни оскомина набилась, мы хотим услышать новое слово.

— Слушай, если хочешь, а я не хочу!

— Так убирайся отсюда, не мешай!

— Почему я должен убираться, разве я не в ауле живу?!

— Если ты в ауле, почему не уживаешься с аулом? Точно сумасшедший какой!

— Сумасшедшим стал ты: потерял всякий разум и не видишь, как тебя одурачивают!

Биболэт старался определить настроение в зале. Как моторист по стуку мотора определяет его исправность, так и он по этим отдельным голосам улавливал, куда клонилось большинство собрания. И чем дальше, тем больше его сердце наполнялось ликованием победы.

Он нагнулся к Доготлуко, который сидел в президиуме собрания, и тихо спросил:

— Кто этот старик, который только что выступал? От души он говорил или гнул обычную адыгейскую дипломатию?

— Это Исхак. О, это у нас бедовый старик! Он говорит именно то, что лежит у него на сердце. Вчера он взял обратно свое заявление о выходе из колхоза, — ответил Доготлуко.

Когда Биболэт выпрямился, он увидел старика в высокой папахе, протискивающегося к президиуму. Спина у старика была согнута, как серп, полы его шубы падали до самой земли. Под надвинутыми серебряными зарослями бровей не было видно глаз. Длинная палка движется далеко впереди, словно палка ведет его.

Собрание умолкло, все глаза обратились к старику. А тот хмуро, не спеша пробирался вперед.

Доготлуко шепнул Биболэту:

— Устаноко Карбеч, дедушка Нафисет...

Карбеч стал перед президиумом, лицом к собранию. Минуты две он простоял в молчаливом раздумье, опершись на палку. Затем поднял голову:

— Если разрешите, хочу сказать несколько слов.

— Говори, говори, Карбеч! — раздалось несколько старческих голосов.

— Какое тут разрешение, говори! — добавил кто-то.

— А кто знает: может быть, те из вас, которые сейчас вот не дают человеку говорить, не хотят слушать человеческого слова и оголтело кричат здесь, — может

быть, они и мне не разрешат говорить! — бросил Карбеч ядовитый упрек собранию и умолк. Он постоял, рассматривая зал с тем же суровым укором в глазах, и начал на абадзехском наречии:

— В одной адыгейской сказке говорится так: «В логове великана, в темном подземелье дерутся два барана — белый и черный. Если подойдешь к черному барану, он забросит тебя на семь слоев земли ниже преисподней. А если подойдешь к белому барану, тот поднимет тебя обратно в светлый мир». Так сказано в адыгейской сказке. Подобно этому, в сознании у нас, у крестьян, борются два начала: злое и праведное. Если отдашься злему началу, оно поведет тебя к той жизни, где нет правды и любви к человеку. Если отдашься праведному началу, придешь к жизни, построенной на справедливости, на любви к человеку, на честности. Я прожил на свете больше ста лет. Жизнь, которую я видел до сих пор, была основана на зле, а честный труд не почитали: почетом пользовались лишь грабители, князья и орки. Хорошо и сытно жилось не труженикам, которые своими руками добро добывали, а насильникам и грабителям, которые никогда не трудились в поте лица. Теперешняя жизнь, какую я вижу, построена на праведном начале. Мир, в котором выше всего ставят трудящегося человека, — это справедливый мир. И слова нашего правительства, которые доходят до нас, справедливые слова. Уже двадцать лет, как я не говорил перед собранием аула. Одна моя нога уже в могиле. Ни жажда наживы, ни забота о жизни уже больше не занимают меня. Но, видя, как жизненный путь аула уперся в большое распутье и аул стал переживать беспокойство, я тоже не мог не обеспокоиться. И пришел сюда, на собрание, для того, чтобы сказать вам свое мнение, мнение человека, прожившего больше ста лет, продумавшего и повидавшего многое. И я говорю аулу: изберите жизненный путь, основанный на праведном начале!

Карбеч окончил. Его последние слова прозвучали, как завещание. Он направился к своему месту, согбенный, ставя палку впереди себя.

В зале стояла тишина.

Глава шестая

На следующее утро аул был поражен непривычным зрелищем: в ранний час от сельсовета отделилась группа человек в двадцать, с лопатами на плечах, и зашагала по улице. Впереди военным строем, по четыре в ряд, шли коммунисты и комсомольцы с Биболэтом и Доготлуко во главе. Среди группы, возвышаясь над всеми на целую голову, двигалась гигантская фигура Шумафа. В рядах не было слышно ни разговоров, ни шуток. Словно передовой отряд, занявший с боем аул, шли они, серьезные, настороженно подобранные, готовые встретить любую неожиданность.

Люди, высыпавшие к воротам, не окликали проходивших и не заводили с ними обычного разговора, а только провожали их долгим взглядом.

Никто не знал, куда и зачем идет эта группа. Немой вопрос был написан на лицах всех глазающих аульчан. Однако ни один из них не решился перекинуться шуткой даже с веселым и добродушным Шумафом.

Впрочем, не все взгляды были просто любопытными. Хозяева некоторых дворов тревожно застывали при виде группы, а затем, почуввав недоброе, быстро уходили в дом. И только в щелях занавесок можно было заметить тайный враждебный взгляд, зорко смотривший вслед группе.

Пройдя улицу, группа спустилась в ложину около парников и скрылась с глаз аульчан.

Зеваки, стоявшие у плетней, сходились по два, по три и осторожно выпытывали друг у друга, — куда эти люди могли пойти? Но никто ничего не знал. Может, то были похороны? Но кладбище совсем в другой стороне, да и зачем столько лопат? Может, они пошли строить плотину? Но ведь стоит такая страшная сушь...

Мужчины немногословно переговаривались, долго, с любопытством посматривали в сторону парников и потом разошлись. Те же из них, кто имел особенное пристрастие к новостям, нерешительно, точно желая скрыть от аульчан свое неумеренное любопытство, направились в сторону парников.

Постепенно на пригорке, около парников, собралась порядочная группа любопытствующих. У реки, возле огородов, в молочко-сизой дымке, переливающейся под солнцем, смутно шевелились люди, ушедшие из аула.

Но что же все-таки они там делали? Любопытство снедало всех. Послали быстрого мальчика, и тот принес весть: «Роют канаву от самого края огорода». Лица стоявших на пригорке вытянулись в недоумении. Высказывались десятки догадок. Особенно неловко чувствовали себя те, которые не подали заявления о выходе из колхоза: им-то надо было бы по-свойски пойти и узнать, в чем дело.

Люди на пригорке уже собирались расходиться, когда мимо них вдруг пронеслась подвода с председателем колхоза Мхаметом и механиком мельницы. На подводе тархтели какие-то инструменты и нефтяной бак...

Любопытство зевак всныхнуло еще ярче.

— Да помилует аллах, что ж они там затевают? — вскрикнул кто-то из наиболее нетерпеливых. Не двинулись с места и те, которые уже собрались уходить. Все уселось на пригорке, решившись дождаться разъяснения тайны.

Между тем слух о группе, роющей канаву от реки, проник в аул, рождая самые невероятные предположения. Разговоры о канаве заполнили все улицы.

Враг, растерявшийся в первую минуту, быстро опомнился и пустил в ход свой ядовитый язык.

— Хотят реку отвести, чтобы она мимо аула протекала, — сказал кто-то, и новый слух мгновенно обежал все улицы. Аул заволновался.

— Разве можно так делать? — говорили крестьяне. — Прежде надо спросить аул, хочет он этого или нет? Накличут они беду на аул с этой канавой!

Враги всячески умножали и подогревали эти страхи, будоражили аул.

— Эта компания совсем взбесилась! — говорили они о коммунистах. — Надо связать их, иначе они принесут аулу несчастье...

Вечером коммунисты принесли в ячейку все эти слухи. Халяхо, встревоженный, тоже прибежал с кучей новостей.

Биболэт понял опасный маневр врага. Если сразу же не парализовать вражескую агитацию, она сильно затруднит выполнение плана. Провокация была нелепой, но люди все же верили ей!

Устроили летучее совещание в ячейке, обсудили положение. Собрание бедноты, которое намечал Биболэт

дня через два, решили сделать в тот же вечер и позвать на него и тех середняков, которые не подали заявления о выходе из колхоза или взяли свои заявления обратно. Составили список; коммунисты и комсомольцы рассыпались по аулу оповещать людей.

Тем временем Биболэт с помощью Доготлуко принялся изучать состав предстоящего собрания. Примерно двадцать семейств состояли ранее членами ТОЗа, организованного когда-то Мхаметом и Доготлуко. Уже отдававшие преимущества совместного труда, они крепко держались за колхоз.

Другая группа, середняки, не решила еще, куда вернуться. Они желали остаться в колхозе, но неполадки пугали их, и они говорили: «Поступим так, как аул поступит». Затаив в себе такое решение, они носили в кармане готовые заявления о выходе из колхоза. Были и такие колхозники, кони которых были загублены, и выходить из колхоза без тягла им уже никак нельзя было.

Вся беднота тоже стояла за колхоз, редкие из них подали заявления о выходе. Но среди них были безлошадники, считавшие себя не вправе решать вопрос о колхозе наравне с середняками, которые обобществили лошадей. Они тоже занимали выжидательную позицию..

Все собрания проходили в школе. Туда раньше всех и направились Биболэт и Доготлуко. В зале еще сохранилось праздничное убранство. Стол учителя стоял в обрамлении венков и зелени, словно торжественное заседание не прекращалось. На стенах пестрели лозунги, написанные рукой Нафисет. Во всем опрятном и красивом убранстве зала чувствовались ее заботливые, избретательные руки. И в том, как расположены флаги и гирлянды зелени, и в легком изяществе живых цветов у стола проявился необычный для старого аульного быта взлет молодого, ищущего сознания.

Биболэт ловил себя на желании погладить все эти предметы, хранившие на себе следы милых рук. В его сердце смешивались сладостное томление по счастью и озабоченность за исход предстоящего собрания, которое требовало от него крепкой воли и уверенности в победе. Думая о деле, он рассеянно слушал то, о чем в это время говорил ему Доготлуко. Но когда Доготлуко упомянул о членах ТОЗа, Биболэт оживился и спросил:

— Скажи-ка, Доготлук, как вы ТОЗ организовали с Мхаметом? Я все забываю спросить об этом.

— Э, с большим трудом нам досталось, — усмехнулся Доготлуко. — Раньше всего Хаджи Бехуков и компания пытались организовать какое-то подобие ТОЗа. Это был кулацкий «ТОЗ», счень удобная для них скрытая форма эксплуатации. Объединились несколько кулацких семейств, свезли все молотилки и сельскохозяйственные машины аула во двор Бехуковых, заполучили из области один трактор «фордзон» и начали зазывать в свой «ТОЗ» наиболее работающих парней аула, с расчетом, что те будут работать на них.

— Таких, как Мхамет и Шумаф, да?

--- Мхамета и Шумафа они тоже усиленно заманивали, но те не пошли. К беднякам же, которые захотели присоединиться к ним, они предъявили требование — внести вперед триста рублей взноса. Я сам подсылал к ним бедноту аула, хоть и знал, что не примут. Постепенно я накопил достаточный материал и свидетелей для доказательства кулацкого характера ихнего «ТОЗа». Тогда уж я начал прямо наступать на них: если, мол, ваш «ТОЗ» не фальшивый, а настоящий, советский ТОЗ, принимайте всех бедняков или верните нам трактор, который Советская власть отпустила для аула. И тут я, Мхамет и с нами еще Халяхо взяли да организовали свой ТОЗ из бедняков и середняков, а тех распустили. Больше того, Бехуковых, Аликовых и еще нескольких кулаков лишили права голоса, как эксплуататоров. Но они поехали в область, и там их восстановили в правах, как владельцев «культурных и образцовых хозяйств». И у кого только находят они там поддержку? — задумчиво заметил он.

Когда зал наполнился, Биболэт встал и заговорил. Оглично зная, с кем имеет дело, он не уговаривал собравшихся, а резко бичевал их за ошибки и промахи.

— Собравшиеся здесь, — говорил он, — уже знают преимущество колхозной жизни и крепко стоят на пути, указанном Советской властью. За это хвала вам! Однако, показав свою сознательность, вы не проявили умения бороться за свое дело. Классовый враг распоясался в ауле, вредительствует вовсю, а вы «человечно» к нему относитесь! Они обманывают вас, а вы покорно их слушаете! Половину обобществленного имущества они уже загубили. Теперь они срывают весенний сев! И в это время вы, советские люди, честно преданные де-

лу, сидите и говорите: «Поступим так, как аул поступит». Разве так борются за свой колхоз?

Далее он начал рассказывать им, какими нелепыми, смехотворными провокационными слухами питает их классовый враг. И напоследок в острой саркастической форме преподнес им сплетню врага по поводу канавы.

Но собравшиеся и не думали смеяться. Они сидели грустные и сконфуженные. Иногда их лица озарялись смущенной улыбкой, но улыбка эта тотчас же угасала.

Биболэт был доволен: он добивался именно такого состояния стыда и смущения у собравшихся. Но он также знал, что нельзя и перегибать. Наступит такой предел, дальше которого может вспыхнуть в их душе реакция — озлобление против него: «Ты, мол, тоже пытаешься взвалить всю вину на нас!». Поэтому Биболэт напряженно следил за их настроением и, когда замечал, что в своей критике дошел до этого предела, — круто поворачивал свою речь.

— Но в этом виноваты не вы одни. Прежде всего и больше всего виноваты руководители аула. И сегодня мы собрались не для того, чтобы найти виновных и на этом успокоиться, а для того, чтобы, осознав свои ошибки, тотчас же сообща взяться за исправление их. Самая главная задача, не терпящая ни одного часа отлагательства, — это сев! Убить сейчас время на разбор заявлений и на выдел пая вышедшим из колхоза — это значит обречь аул на голод. Каждый день невозвратно дорог. Кончим сев, тогда можно будет и разговаривать. Немедленно, завтра же надо приступить к севу — всеми силами, всеми способами.

В заключение Биболэт не преминул сказать собранию, что обеспечение парников водою уже организовано: через три дня у парников будет вода, и семена будут высеяны.

— Вот что я еще забыл сказать, — добавил он, помолчав, — для того, чтобы ускорить подведение воды к парникам, надо выделить в помощь еще десяток надежных парней. Кроме того, дайте одного старика, который своим авторитетом спаял бы молодых.

В зале установилась настороженная тишина. Биболэт тревожно рассматривал ряды сидящих: не то пристыженно, не то осуждая его, Биболэта, они отводили смущенные взгляды. В этом молчании словно затаилась буря, готовая вспыхнуть от малейшей причины.

Что же скрыто в этой напряженной тишине?

Когда он говорил, ему казалось, что все клонится к лучшему. Теперь же люди молчат и отводят взгляд.

Биболэт чувствовал, что наступает решительный момент. Бесконечно медленно, мучительно текли минуты. Наконец молчание было нарушено: из рядов поднялся аульчанин, одетый в выцветший, заплатанный бешмет, с кушаком из пестрой материи. На голове у него — низкая барашковая папаха со слипшимися пучками шерсти, щеки выбриты, темнеет только острый пучок козылиной бородки.

Он окинул зал вопрошающим взглядом, кашлянул и заговорил:

— Наш гость, хоть ты и молод, но пристыдил нас по заслугам. Мы дали одурачить себя тому, кто всю жизнь обманывал и обирал нас. Мы болели душой за неполадки в нашем колхозе, но сознание наше дальше этого не пошло. Если спросишь, есть ли у нас обида в душе, то, надо признаться, — есть. Я уже отчаялся было когда-нибудь увидеть наше дело налаженным. Я расскажу печаль моего сердца. Некоторые из тех, кто подал заявление о выходе из колхоза, теперь говорят, что их насильно принудили войти в колхоз. Я лично охотно, одним из первых вступил в колхоз. Я прожил больше шестидесяти лет. Всю жизнь царял землю как мог, но от этого неустанного труда не видел проку. Я не мог подняться выше радости иметь кусок хлеба на пропитание, и то не вдоволь. Когда мы в позапрошлом году увидели урожай объединившейся группы аульчан, сердце мое склонилось к такому порядку жизни. И как только начали объединяться в колхоз, я с радостью раньше всех вступил туда.

Я имел одну лошадку, невзрачную, вислобрюхую, круглую, как арбуз. Мы со старухой привыкли к этой лошадке, и сама она полюбила нас. С ладони я кормил ее. Когда выходил из дому, она радостным ржанием встречала меня, — как член семьи стала она у нас, сроднились мы с ней. Когда решили объединиться в колхоз, я почистил хорошенько свою лошадку, смазал дроги, починил упряжь, все приготовил честь честью, привел в колхоз и отдал от чистого сердца — нате, мол, на наше счастье, на совместную счастливую работу. О дорогой наш гость! По твоим поступкам, по твоим словам мы чувствуем, что в твоём сердце нет зла

против человека. Аллахом заклинаю тебя, пойдй хоть раз взгляни на мою милую лошадку — во что ее превратили! Один скелет остался. С болью в сердце я терпел, выжидал — может, еще наладится — и, наконец, не выдержал и приготовил заявление о выходе из колхоза. Однако старый путь, куда мне предстояло возвратиться, не сулил мне ничего хорошего. И новый путь, который я избрал, тоже казался мне безнадежным. И вот я не знал уж куда и повернуть. Носил и ношу до сих пор свое заявление в кармане. Бумажку уже истер. Вот она! — он достал из кармана истрепанный клоч бумаги и потряс им перед собравшимися. — Теперь же, когда ты внушил нам надежду, что дело все же наладится, я свое заявление уничтожаю. Я готов по мере сил делать все, что могу. Другие пусть скажут за себя. Ты просишь старика, который бы доглядывал за молодыми, подводящими воду к парникам. Я готов туда пойти, если пригожусь. Не потому у нас разладилось дело, что мы не хотим колхозной жизни, а потому, что мы не умеем ее строить. Если вы, грамотные, опытные люди, поможете нам, мы готовы работать, не жалея сил. Вот что я хотел сказать, наш гость! — окончил старик и сел.

Выступление старика словно прорвало плотину молчания. После него аульчане стали подниматься один за другим. Откровенно, не щадя ни себя, ни других, они выкладывали свои обиды, горечь, стыд и недовольство. Заканчивали почти все одними и теми же словами: «Если колхозное дело можно как-нибудь наладить — мы готовы наладить его».

Неожиданно в зале поднялась суматоха. Группа новых посетителей протискалась сквозь толпу у входа. Она прошла и гуськом остановилась среди зала. Во главе странной делегации стоял старичок в изношенной шапке, которая когда-то была каракулевой. Из-под пиджака у него виднелась рубаша. Адыгейские штаны, наподобие галифе, сужаясь книзу, плотно облегал тонкие, как палки, ноги. Бритый, морщинистый, с длинными, когда-то выкрашенными, а теперь выцветшими усами, в широком пиджаке и в узеньких штанах, он был похож на старого озябшего воробья. Один глаз у него постоянно щурился, что придавало ему шельмоватый вид.

Биболэт с невольным удивлением рассматривал ста-

рика, пытаюсь определить, что тот должен собой представлять. Это не труженик. И не обедневший уорк. Не принадлежал он, конечно, и к привилегированной или богатой семье. Может быть, это один из картежных игроков и бездельников аула? Но по возрасту трудно было бы ему это приписать. Скорее всего черты всех этих групп соединены в странном старичке. Одно было ясно для Биболэта: старик не принадлежал к людям с чистым сердцем.

Биболэт ждал, что старик заговорит первым. Неожиданно он услышал голос крепкого черноволосого мужчины, стоявшего сзади старика:

— Мы слышали, что вы, отделившись от аула, тайно обсуждаете вопрос о колхозе. Мы хотим знать, к какому решению вы придете. Можно ли нам послушать?

— Кто вас прислал? — спросил Биболэт.

— Кто же может прислать! Аул прислал.

— А собравшиеся здесь — не аул?

— Разве это аул! И половины аула здесь нет.

— Так вас прислал целый аул?

— Нет, прислало большинство аула.

— Большинство аула, пославшее вас, сейчас где-нибудь собралось?

— Не собралось, но обменялось мнениями и решило послать нас...

— Как же это они могли обменяться мнениями, если сидят по домам? Вы, что же, обошли весь аул?

Черноволосый замялся:

— Да... мы обошли... и они сами тоже обошли.

— И вы ходили, и они ходили. Оказывается, по аулу была большая беготня. Но как же эти бегающие, мечущиеся аульчане могли встретиться, обменяться мнениями и послать вас сюда?

— Как бы там ни было, выявилось общее мнение аула... — недовольно сказал черноволосый. — Мы пришли сюда не шутки шутить! Вы без ведома аула обсуждаете дела колхоза, которого уже не существует. Вот аул и хочет знать, что вы тут затеиваете.

Биболэт обратился к собранию:

— Какой же ответ вы дадите им? Вы, наверное, уже поняли, какой «аул» прислал их. Вы слышали — они из тех, которые хотели бы считать колхоз несуществующим. Пусть кто-нибудь из вас ответит им!

Собрание молчало в замешательстве, пока не поднялся старый Исхак.

— Биболэт, я скажу то, что, по моему мнению, приличествует ответить им, — начал он. — Мы знаем, какой «аул» прислал вас сюда. Если б они сами пришли сюда, может быть, мы и не допустили бы их, но вы можете, если хотите, послушать нас. Почему же нет? Может быть, и вы ума наберетесь? Колхоза нет для тех, кто уже вышел из него, а для нас он существует и будет существовать. Мы сейчас разговариваем о наших колхозных делах, о воде для парников. Но если вы пришли не за новостями, а для того, чтобы мутить воду, тогда вам делать здесь нечего. Достаточно вы мутили нас.

Биболэт между тем не сводил глаз со странного старика. Вначале старик стоял, заносчиво напыжившись, будто проглотил кол, и накрашенные усы его горделиво торчали — словно он был важным послом могущественной державы. Когда же их «посольство» стало приобретать смешной и нелепый оттенок, старик сделал вид, что не имеет ко всему этому никакого отношения. С деланным равнодушием смотрел он в потолок, рассеянно озирался и пробовал даже подмигивать кое-кому из сидящих в зале.

— Мы пришли сюда не для того, чтобы мутить вас, и не для того, чтобы бороться с вами, — хмуро ответил Исхаку черный мужчина. — Но если вы решили не считаться с аулом и не желаете пускать никого на ваше собрание, то и вправду нам нечего здесь делать. Пойдемте! — гневно закончил он и первый повернул к выходу.

Странный старик последовал за ним, но затем задержался. Он постоял, потупив глаза в землю, словно решал в тягостном раздумье, как ему быть, затем высоко поднял плечи, развел руками, удрученно произнес: «Не понимаю!..» и поспешно направился вслед за своими спутниками. Взрыв хохота проводил его. У двери он еще раз оглянулся, шутовато подмигнул собранию и, махнув рукой, скрылся.

Глава седьмая

Утром, проследив выход пахарей на поля, Биболэт поспешил к парникам.

Старик Бат, выделенный вчера на собрании в ка-

честве «глаза над молодыми», роющими канаву, был уже на месте. Он встретил Биболэта добродушной шуткой, как старого знакомого.

— А, Биболэт, просим пожаловать! По нашим обычаям, когда гость пробудет трое суток, он перестает быть гостем. И ты, коль явился, — берись за лопату. Биболэт принял шутку.

— Очень хорошо! Ты самый старший из всех, поэтому дай мне свою лопату, а сам отдыхай. Я с удовольствием поработаю.

— Но одной лопатой ты не удовлетворишь нас. Биболэт, — продолжал Бат. — Мы тебе предъявим еще одно требование. В ауле совсем забыли старые адыгейские обычаи. Ты, как уполномоченный, должен был там напомнить, чтобы прислали нам кое-какое угощение.

— На этот счет я не знаю, что и сказать тебе. В ауле не только не собираются присылать угощение, но, наоборот, судя по слухам, вот-вот выйдут с палками и разгонят нас.

— И это правда. Сейчас говорить с аулом очень трудно, — ответил Бат, сразу оставив свой шутливый тон. Он сел на корточки, вынул свой кисет, свернул цигарку и продолжал:

— Аул мало-помалу успокоится. Человека ведь очень трудно свернуть с привычной борозды. Сегодня я крепко задумался над колхозным житьем. Смотри, какую длинную канаву прорыла маленькая кучка людей всего за полтора дня. Раньше нам всегда казалось, что от аула до речки очень далеко. А теперь, когда сообща взялись за работу, сразу же прорыли канаву более чем в половину этого расстояния. Надеемся завтра закончить. А вчера, когда ты сказал нам на собрании, что пророешь канаву и подведешь воду из речки к парникам, — я, признаться, не поверил. Е-е, когда люди сообща берутся за дело, они способны, оказывается, совершить невозможное. Если и в колхозе мы так будем работать, то, аллахом клянусь, через три года не узнаешь наш убогий аул. Но среди нас еще много недобрых людей...

Бат прекратил свои размышления вслух. Некоторое время он иронически наблюдал, как Биболэт, не экономя сил, яростно работал, затем сказал в том же шутливым тоне:

— Наш гость, мы тебя не стали бы обвинять ни за

то, что не работаешь с лопатой в руках, ни за то, что аул не присылает нам угощение. Но есть одно дело, из-за которого мы непременно с тобой поссоримся...

Биболэт остановился, опершись на лопату.

— Я не знаю никакого дела, из-за которого мы могли бы поссориться с тобой, Бат. Чего только не сделаю я для такого, как ты, честного труженика! — искренне сказал он.

— Так-то оно так. Но все-таки мы неизбежно с тобой поссоримся... У меня на сердце, видишь ли, легло большое желание... — Бат хитровато улыбнулся. — У меня появилось неоступное желание поддеть своим ножом какого-нибудь теленка.

— Е-е, это совсем не годится! Вот тут мы на самом деле поссоримся! — протянул Биболэт не шутя. Он догадался, что старик в шутливой форме подъезжает к нему с просьбой зарезать какую-нибудь скотину, и косо посмотрел на большой нож в кожаном футляре, что висел у пояса Бата. — И так уж достаточно скотины в ауле порезано. Половина аула осталась без дойных коров.

Но Бат и не думал сдаваться.

— Я и сам знаю, что это нехорошо, потому и говорю, что мы поссоримся... — сказал он, впрочем, несколько разочарованно. — Но, повторяю тебе, это желание так захватило мое сердце, что я не могу удержаться: если я не зарезу, мой нож сам выскочит из ножен и вонзится в горло какого-нибудь теленка... — Он добродушно засмеялся, и Биболэт успокоенно подумал, что Бат и в самом деле шутит.

К ним подошел Шумаф — его участок был рядом. Он, приложив ладонь к глазам, пристально смотрел на дорогу. Все обернулись в ту же сторону.

Группа ребятшек шла из аула по направлению к канаве. Трое передних несли что-то, покрытое белым.

— Да помилует меня аллах, что это такое? — с любопытством сказал Бат, напряженно щура глаза. — Неужели в ауле вспомнили старый обычай и посылают нам угощение?..

Все недоумевали и, прекратив работу, смотрели на приближавшихся. Те подошли и поставили принесенные ими подносы перед одним из тех молодых людей, что работали впереди. Тот заставил их снова поднять ношу

и показал на Бата, как на старшего в группе. Сам же не спеша направился вслед за малышами.

Этот широкоплечий, густобровый парень ступал уверенно и мягко, видимо, он принадлежал к породе тех молчаливых, крепких людей, мужество и твердость которых бывают спрятаны глубоко внутри. Подойдя к старшим, он остановился, немного смущенный.

— Что это такое, Довлетчерий? — обратился к нему Бат. — Какая новость сопровождает эти подносы?

— Что принесено, вы видите сами, — сдержанно ответил парень. — Но к этому присоединены еще кое-какие слова. Послушайте их и дайте, как старшие, должную оценку.

По лицу Довлетчерия видно было, что здесь таилась какая-то неприятность.

— Скажи же, какие слова присоединены к этому? — сказал Бат нетерпеливо. — Каковы бы ни были слова, но это единственный человеческий поступок аула по отношению к нам, работающим здесь, — добавил он.

Глаза у Бата загорелись, в голосе его слышалась стариковская медоточивая благодарность тем, кто прислал угощение. Он весь оживился, ему хотелось как можно скорее обойти традиционные формальности и воспользоваться правом старика отведать угощение первым. Однако права старшинства обязывали Бата и к сдержанности, которая давалась ему сейчас с трудом.

А тут еще Довлетчерий, с обычной своей медлительностью, намекал на какие-то обстоятельства, которые угрожали осложнить и затянуть процедуру угощения!

— Вели малышу повторить слова, которые были сказаны при посылке этого угощения, — повторил Довлетчерий все с той же таинственностью.

— Кто, сынок, прислал это? — спросил Бат старшего из ребят, принесших угощение.

— Прислала Кутас.

— Кутас — дочь Моса Пченитлеко. Не так ли, малыш? — сказал кто-то из взрослых.

— Да, она, — ответил мальчик.

Тем временем сюда подошли и все остальные парни, рывшие канаву, и с ними Тыху, работавший на самом отдаленном участке.

Когда назвали имя девушки, приславшей угощение, Тыху подошел к Биболэту и, тихо дернув его за рукав, шепнул:

— Дочь кулака, невеста Довлетчерия...

Бат между тем продолжал допрос малыша:

— Что же ты должен передать на словах?

— Про это мне велели сказать Довлетчерию наедине.

— Тогда мы не должны слышать слова, которые предназначены для одного Довлетчерия, — сказал Бат, оборачиваясь к парням.

— Нет, вели ему сказать, — настойчиво требовал Довлетчерий. — Эти слова я уже слышал. Пусть теперь повторит, чтобы все слышали.

Обратившись к мальчику, он добавил:

— Скажи, малыш, скажи при всех те самые слова, которые она передала мне.

Мальчик немного помялся и сказал:

— Кутас мне велела, чтобы я вот что передал Довлетчерию: «Жалею тебя за то, что тебя заставили, как арестанта, рыть канаву. Я не знала, что у тебя так мало мужества и сознания собственного достоинства. Пошла бы выручать тебя, но женское мое платье сковывает мою волю...».

Присутствующие переглянулись. Установилось длительное молчание. Первым его нарушил Бат.

— Я уж не знаю, что на это и сказать. Тут, мне кажется, запрятан какой-то таинственный смысл... — произнес он разочарованно. Все его оживление в предвкушении приятного угощения мгновенно пропало, он как-то сразу потускнел и даже опасливо отодвинулся от подносов с едой.

— Ты как думаешь, Биболэт? — нерешительно спросил он.

— Я думаю, в этих словах есть не только тайный смысл, но и яд, — ответил Биболэт с многозначительной усмешкой. — По-видимому, у наших врагов дела неважны, если они вынуждены прибегать к помощи девиц...

— Какого же ответа удостоим мы эти слова? — снова спросил Бат, ища выхода из неприятного положения.

— Нам неудобно вмешиваться. Я думаю, Довлетчерий сам сможет дать достойный ответ, — сказал Биболэт уже серьезно.

— Верно, я согласен! — Бат явно обрадовался возможности переложить эту неприятную миссию на чьи-

нибудь плечи. — Говори, Довлетчерий! Передаем тебе дело. Как рассудишь, так мы и порешим.

— Я скажу, насколько хватит моего разума. Но если не хватит ума, надеюсь на вас, старших, что не дадите мне ошибиться, — начал Довлетчерий. — Я считаю уместным такой ответ: «Хотя ты и женщина, но действуешь языком, начиненным зменным ядом. Тебе неприятно дело аула, над чем мы здесь трудимся, — а нам неприятно ты сама и твоё угощение. Можешь предложить своё угощение кому-нибудь другому, кто тебя, может быть, поддержит в твоих неблагоприятных замыслах».

Парни одобрительно зашатались.

Бат спросил Биболэта:

— Ты на это как смотришь?

— Смотрю так, что лучшего ответа и искать не надо.

— Я тоже смотрю так, — согласился Бат и, обратившись к мальчику, заявил: — Иди, сынок, отнеси все это обратно той, которая прислала тебя. Только смотри, чтобы ничего не трогать! Если тронешь, я непременно узнаю и выдеру за уши. Передай Кутас слова Довлетчерия. Запомни их хорошенько.

Он пересказал несколько раз слова Довлетчерия, пока малыш не запомнил их и не повторил в точности.

Однако, когда мальчики подняли с земли подносы и тронулись в обратный путь, Бат не выдержал и сделал добавление от себя:

— Скажи, мол, спасибо, но некогда было отведать её угощения...

Он проводил печальным взглядом подносы с едой и задумчиво пробормотал:

— Эта девица, как я вижу, имела намерение совсем расстроить нашу компанию. Хотя это ей и не удалось, все же она задержала нас на целых полчаса.

Он торопливо схватил свою лопату и строго скомандовал:

— Ну, ребята, по местам! Живее, живее!

Когда парни разошлись и старшие — Бат, Шумаф и Биболэт — остались одни, Бат с силой вонзил лопату в землю и в сердцах воскликнул:

— И что же я сделал этой негоднице, что она отравила своё угощение ядом таких слов и лишила нас приятного завтрака!

Он достал кисет и огорченно покачал головой:

— Ишь ты, куда метила! Недаром говорят, что желудь недалеко падает от дуба, — дочь пошла в отца. Даже адыгейские обычаи они всегда обращают в свою пользу...

Глава восьмая

На собрании колхозников и бедноты было вынесено решение — устроить товарищеский суд над бывшими конюхами колхоза. Суд проходил во дворе колхозного правления, где собрался почти весь аул. Исхак, Халяхо, Бат, Шумаф и Биболэт были избраны судьями. Общественным обвинителем назначили Доготлуко.

Биболэт начал опрос с тех, которые, как он знал, были обманым путем вовлечены на путь вредительства. Конюхи один за другим рассказали о том, что они сделали. Теперь перед всеми была раскрыта картина уничтожения колхозного имущества.

Но Биболэт упорно добивался, чтобы названы были имена тех, от которых исходили все нити вредительства. Это было труднее. Старый обычай гласил: «Не быть первым доносчиком!» Многие из опрашиваемых предпочли бы понести наказание, чем нажить позор, выдав другого, хотя бы тот был явным негодяем. Биболэту пришлось затратить много усилий, прежде чем он заставил одного из конюхов назвать имя Лыхужа Короткого, известного подручного Изманла. А когда это имя уже было произнесено, все остальные, словно обрадовавшись и избегая произносить другие имена, стали валить всю вину на одного Лыхужа. С трудом Биболэт добился признания, что Лыхуж был не один. Да, еще кое-кто действовал с ним заодно. Кто же это был? В ответ следовало упорное молчание.

Тогда Биболэт встал и обратился с речью ко всему собранию.

— На суде достаточно выяснилось, какой вред нанесен колхозу. Мы, кроме того, располагаем и другими материалами, которые пока не следует оглашать. Виновны здесь не только конюхи. Виновны враги, которые воспользовались темнотой конюхов. Мы должны во что бы то ни стало добиться, чтобы здесь были названы их имена. Нам важно отделить настоящего врага от тех, кто им обманут. Пусть люди, бессознательно помогавшие врагу, докажут здесь, на суде, что их сердце чисто

перед аулом. Каждый из подсудимых должен помнить вот о чем: сейчас он волен или скрыть врага, и значит стать с ним рядом, или же помочь нам уничтожить его, и таким образом доказать свою чистосердечность в отношении аула. Это дело совести каждого. Но мы заявляем тем, которые станут рядом с врагом, что отныне они уже не могут отговариваться — ни незнанием своим, ни ошибками. Если сегодня они не станут на сторону аула, они будут нашими врагами, и мы поступим с ними, как с врагами.

После этого языки подсудимых развязались. Пораженные аульчане слышали имена злодеев, среди которых наряду с известными кулаками были и имена некоторых седобородых, почтенных стариков.

Когда главные имена были уже произнесены, опрашиваемые поперебой с жаром и горечью стали рассказывать о самых мелких деталях печальных событий, которые происходили примерно так: почтенный старец как бы случайно встречал кого-нибудь из них на улице и, сокрушаясь о несчастье, грозящем аулу, говорил с благочестивым видом: «Все равно колхоза не будет. Так зачем же нам мучиться? Пусть гибнут и лошади, и инвентарь, лишь бы люди избавились от этого бедствия — колхоза...» И после того как проведена была такая первоначальная «обработка», людям, которых легче было обмануть, враг стал давать прямое задание: «Первыми должны погибнуть лошади именно тех, кто с большей охотой вступил в колхоз». Еще более покорным и податливым они раскрывали свои планы. Таких приглашали даже на тайные совещания, что происходили в кунацких Бехуковых, Аликовых, у Измаила. Те же, которые почувствовали неладное и отказывались выполнять поручения врагов, отстранялись от работы под всякими предложениями председателем колхоза Юсуфом Бехуковым...

Огромное впечатление произвел на всех рассказ о поступках Лыхужа. Один из конюхов рассказывал, как Лыхуж с пучком сена в руках переходил от сапной лошади к здоровой и с едкой улыбкой совал зараженное сено в ноздри несчастных животных, приговаривая: «Мои бедняжечки, вы жертвы для спасения аула!»

Сначала собравшиеся слушали эти рассказы, цепенея от изумления. Потом их охватил гнев, который они не в силах были сдержать. «Зачем столько разговоров с

этими негодьями! — послышались крики. — Надо их вывести за аул и самих, как сапных, прикончить!» «Вилами заколоть, как бешеных собак, да и весь разговор!»

Опрос Лыхужа Биболэт оставил напоследок. Ему уже ясно было, что к Лыхужу сходятся все нити вредительства. Если бы удалось развязать Лыхужу язык, то это привело бы к еще более важным разоблачениям. Но он чувствовал, что этот злодей крепок, как сучковатый пень. Единственную надежду он питал на то, что Лыхужа припрут к стене многочисленные показания свидетелей.

Но Лыхуж оказался еще более неподатливым, чем предполагал Биболэт. С ледяной невозмутимостью, уверенный в своей неуязвимости, чужой и враждебный всему аулу, предстал он перед судом. «Оттого, что несчастные люди, запуганные вами, лепечут невесть что, я не могу брать на себя того, чего я не делал!» — твердо заявил он и окончательно уперся на этом.

Грозный ропот пробежал по рядам слушателей, гневное возбуждение их достигло предела, люди вскопчили с мест, послышались крики:

— Можно его не спрашивать больше, и так все ясно!

— Разве можно столько возиться с этим шакалом!

— Надо прикончить его самого так же, как он приканчивал нашу скотину!

Биболэт встревожился — как бы дело не дошло до самосуда. Он решил поскорее закончить разбирательство. Посоветовавшись с членами суда, Биболэт поднялся и объявил:

— Суд тоже находит, что нет необходимости дальше возиться с Лыхужем, — лицо его достаточно здесь выявлено. Мы направим его дело куда следует.

При помощи общественного обвинителя Доготлуко собрание вынесло единодушное решение:

«За контрреволюционную вредительскую деятельность против Советской власти, против народа кулацкие семьи предать суду, предъявив иск колхоза к ним за нанесенный их вредительской деятельностью материальный ущерб. Просить Советскую власть изъять этих несправимых злодеев из нашей среды, выселив их за пределы нашей области».

В приложенном к этому решению списке перечислялись Бехуковы, Аликовы и Шумытли — всего тринадцать кулацких семей.

Перед закатом солнца кончили рыть канаву и пустили водонасосный мотор. Небольшая струйка воды двигалась, наворачивая на себя пылинки, по дну канавы. торопливо искала прохода, извивалась, а в некоторых местах совсем останавливалась, не в силах преодолеть какой-нибудь бугорок. Как за живым новорожденным существом, следили люди с фонарями в руках за первым движением воды и заботливо расчищали ей путь.

У мотора и возле парников была поставлена охрана. Только в полночь довели воду до парников.

А на следующее утро вода уже до краев заполнила водоем и всю ложбину. Гуси и утки окраинных домов аула плавали, тихо раскачиваясь, на поверхности воды. Женщины и ребятишки, выгнавшие телят на толоку, глазели на образовавшийся за ночь водоем, как на чудо.

На восходе солнца Биболэт тоже пришел взглянуть на воду и встретил здесь в полном сборе всю группу людей, рывших канаву. Усталые, но довольные, радостные, стояли они перед результатом своего труда. Их молчанье значило больше, чем самый оживленный разговор. Эти парни были спаяны великой радостью труда.

— Ну, герон, как вам нравится дело ваших рук? — весело приветствовал их Биболэт.

Бат выступил вперед и со стариковской торжественностью ответил от имени группы:

— Такое содружество в работе понравилось моим ребятам, Биболэт. Дело с водой для парников закончено. Теперь укажи нам новую работу. Мы хотим работать так же дружно и дальше. Вот желание моих ребят.

Такой оборот дела был неожиданным для Биболэта. До сих пор он был озабочен только канавой для парников и не задумывался над дальнейшим использованием этой спаянной группы. Слова Бата раскрыли новые возможности. Мысль восторженно метнулась к широким горизонтам будущего, и планы, один другого заманчивее, затеснились в голове Биболэта.

— Если вы, тридцать дружных ребят, захотите, мы можем поставить вас на участок огородов и табака, — ответил он с волнением. — Овладевайте возделыванием новых культур, которые впервые появились в севообороте адыгейских крестьян вместе с новой колхозной жизнью! Начинайте это большое дело — вот так, как вы есть, во главе с вашим тамадой Батом!

Ребята переглянулись, вполголоса переговорили меж-

ду собой, и Биболэт увидел в их глазах загоревшийся порыв.

Так в ауле Шеджерий возникла коллективная форма труда, зачаток будущих колхозных бригад. Впрочем, тогда в ауле даже не слышали этого слова — «бригада», под началом Бата организована была группа огородников.

В приподнятом настроении Биболэт направился в колхозное правление и там встретил Мхамета, разгоряченного, вспотевшего, с шапкой в руках.

— Уйу-уйу! Кто же столько пота выжал из бедного младенца Мхамета? — воскликнул, смеясь, Биболэт.

— Беда с этими пахарями! Никак не сможем сделать так, чтобы они самостоятельно поднялись и выехали. Сегодня кос-как удалось выпроводить их раньше.

— А как идет пахота?

— Им трудно только выехать в поле, а там они работают горячо, даже соревнуются друг с другом. Некоторые из них одиослемешным плугом вспахивают больше гектара в день! Но, Биболэт, ты совсем забываешь пахарей. Надо тебе поехать к ним.

— Видел, сколько воды привалило к парникам? — живо спросил Биболэт, не скрывая своей радости.

— Как не видел! Я уже на рассвете был там. Каравального разбудил — спал паронь. И перед восходом солнца еще раз был. Валлахи, удивительно, что совершили за несколько дней эти тридцать человек! Но теперь надо взяться за пахарей, Биболэт.

— Давай сегодня же выедем к ним.

— Очень хорошо. Но когда приедешь... — начал Мхамет и запнулся, хитровато усмехаясь. — Ну, приедешь, увидишь, как там дела идут... — закончил он, с хитрой улыбкой глядя на Биболэта.

Биболэт погрозил ему пальцем:

— Уж не готовишь ли ты мне какой-нибудь сюрприз?

— До сюрприза ли мне теперь! Новость одну услышал, но это неважно, после расскажу... — увернулся Мхамет, закручивая усы все с той же улыбкой. Впрочем, тотчас же став серьезным, он перевел разговор на другую тему: — Нехорошие разговоры пошли среди пахарей. Они говорят так: тех, которые не вступили в колхоз до сих пор, и тех, которые вышли обратно, мы больше никогда не примем в колхоз. «Попробуем, — гово-

рят, — кому лучше будет житься: им без колхоза или нам в колхозе».

— Э, это совсем не годится! — помрачнел Биболэт. — Обязательно сегодня поедем. Ты пока запряги линейку и подъезжай к аулсовету. Я буду там.

Мхамет и Биболэт приехали к пахарям в час обеденного перерыва. Завидя их, отдохавшие пахари встали и пошли навстречу.

— Хорошего урожая вам! — приветствовал Биболэт.

— Спасибо, милости просим, наш гость! Тхагаледж¹ требует дара! — произнес высокий мужчина средних лет.

Биболэт, не понимая, о каком даре Тхагаледжу идет речь, вопросительно огляделся. В глазах пахарей, обступивших его тесным кольцом, он приметил тот же хитроватый огонек, что и у Мхамета.

Биболэт обернулся к Мхамету с надеждой, что тот его выручит. Но Мхамет безучастно и самодовольно крутил левой рукой ус, как бы говоря: «Ну, попался же ты теперь».

Правая рука Мхамета была спрятана за спиной, словно он что-то держал там...

— Я признаюсь, что вы меня уличили в незнании какого-то старого обычая пахарей, который я должен был бы знать, как сын крестьянина, — покорно, с напускной торжественностью сказал Биболэт, отвечая на шутку шуткой. — Но даже и приговоренному к смерти преступнику говорят, за что его казнят. Я вправе надеяться, что вы объясните мне, в чем я провинился.

— Это правда, что ты виноват! Ты, который рассказывал нам историю адыгейских крестьян и трудящихся всего мира, ты, умеющий охватывать все это умом, должен был знать древнее правило адыгейских пахарей, — заговорил вновь тот же высокий человек. — У адыгейских крестьян есть такой обычай: чтобы не гневался Тхагаледж и не лишил нас урожая, — от всякого, кто приезжает к нам, мы требуем какого-нибудь дара. Так вот, если ты принес с собой дар Тхагаледжу, то скорее подавай его, а если нет, то, чтобы умилостивить Тхагаледжа, мы должны будем посыпать твою голову свежеснаханной землей.

¹ Тхагаледж — по древним поверьям, бог урожая и изобилия.

— А-а-а... — произнес Биболэт, смутно вспоминая слышанное когда-то в детстве.

Покорный древнему обычаю пахарей, он ответил традиционной фразой:

— На что осудите, того достоин; что скажете, того заслуживаю я. Вот вам моя голова, вот и моя шапка!

— Тогда становись на колени и нагни обнаженную голову, — сказал высокий человек, подходя.

Биболэт, посмеиваясь, стал на колени.

— Где наш старший?.. Исхак! — крикнул высокий.

Исхак тотчас же подошел.

— Тут уж выхода нет, — сказал он участливо, — на шутку надо отвечать шутливой покорностью. Нагни голову, сын мой. Наверное, давно не касалась твоих волос адыгейская свежевспаханная земля. Вреда не будет — лучше будут волосы расти.

Исхак зачерпнул полную горсть свежевспаханного рассыпчатого чернозема и собрался уже сыпать голову Биболэта, но Мхамет выступил вперед:

— Подожди, Исхак! Биболэт не забыл про дар Тхагаледжу. Но сам он, считая этот дар слишком ничтожным, из скромности не хочет показать его. Вот он!

С этими словами Мхамет протянул сверток, который он все время держал за спиной.

— Мало ли, много ли — неважно. Если он, помня обычай, привез что-нибудь — достаточно. Вставай, сын мой! — сказал Исхак и помог Биболэту подняться. Затем взял из рук Мхамета сверток, развернул его. Там оказалось десять пачек папирос. Держа их на ладони, Исхак обратился к Биболэту со словами:

— Сын мой, пожелаем, чтобы там, где ступит твоя нога, поднялся урожай и чтобы счастье твое было велико.

Биболэт, отряхивая колени от пыли, проворчал, смеясь:

— Ну, Мхамет, перехитрил меня!

— Валлахи, Биболэт, и ты тоже победил нас, — произнес высокий мужчина. — Если бы твой прав не оказался таким хорошим, мы могли бы покручнее оштрафовать тебя!

Собрание женщин затянулось за полночь, и Биболэт пошел проводить Нафисет. С ними увязалась и старуха

Дарихан. Расставшись с нею у ее двора, Биболэт и Нафисет пошли одни.

Всю дорогу Нафисет была неразговорчивой и грустной. И Биболэт спросил ее, когда они остались вдвоем:

— Почему ты так грустна?

— Я думаю о том, что никогда, наверное, не научусь находить такой верный подход к людям, как ты — подавленно произнесла Нафисет.

— Если так, то это ничего! Это хорошая грусть. Побываешь в нескольких таких заварухах, какая сейчас в ауле, и научишься.

Они помолчали.

— У меня тоже есть одно дело, в котором я запутался и никак не могу разобраться... — сказал Биболэт.

— Не верю, что есть такое дело, в котором ты не мог бы разобраться, — искренне возразила ему Нафисет.

— И все-таки оно есть, это дело...

— Скажи, я помогу! — пошутила Нафисет.

— Нет. Ты мне в этом не только не поможешь, а, наоборот, постарайся еще более запутать меня и даже, сверх того, безжалостно наказать. Ты уже не однажды так делала...

— Скажи, в чем я оказалась так несправедлива к тебе... — тихо произнесла Нафисет, уже догадываясь.

— Я не могу понять, как твое сердце настроено ко мне?

Нафисет ответила не сразу.

— Если ты обладаешь хоть малейшей чуткостью, это вовсе не трудно узнать... — голос ее звучал глухо.

— Нафисет! Теперь-то уж хоть не шути! — почти угрожающе вскрикнул Биболэт.

Оба остановились, Биболэт схватил девушку за руки. Она не отняла их — покорные, остались они в его ладонях...

— Я вовсе не шучу... — едва слышно выговорила она.

Биболэт повернул ее лицо к себе. Еще не веря, он заглядывал в ее глаза, пытаясь понять их выражение. Потом неуверенно притянул девушку к себе и губами ощутил ее холодные, как льдинки, губы.

— Нафисет! Ты уже дома? — издали раздавался голос недоверчивой Дарихан.

Нафисет рванулась из объятий Биболэта и убежала. Лишь на одну секунду задержалась она, крикнув:

— Да, я уже дома, Дарихан! — и скрылась.

Биболэт возвращался, задыхаясь от восторга, переполнявшего его грудь. У него точно выросли крылья, ему хотелось подняться и полететь к звездам, сиявшим над ним. Поглощенный земной борьбой, он в последнее время совсем не замечал их красоты. С глубоким, отчаянным вздохом он запрокинул голову и шел, смотря на звезды: их непостижимый блеск напоминал ему чистый нежный взгляд Нафисет.

Он немного пришел в себя, когда завернул в узкий, темный переулочек на окраине аула, где стоял домик Айшет. После того как Халяхо сообщил о готовящемся покушении, Биболэт приказал самому себе быть осторожным. В особенности не доверял этому узкому, темному, всегда безлюдному переулочку и, проходя по нему, всякий раз держал наготове наган. Он и сейчас вспомнил, что надо все-таки быть осторожным, и расстегнул кобуру нагана.

Но как он ни призывал себя к благоразумию, все же он не смог не забыть в нахлынувшем неожиданном счастье. Он снял руку с нагана, кобура осталась открытой. Он шел медленно. Ему не хотелось возвращаться домой. Хорошо было бы выйти за аул и побыть наедине с ветром, со звездами, с самим собой!

Вдруг впереди, у стыка двух огородов, в самом пустынном месте, раздался треск переломившейся хворостинки. Биболэт вскинул голову. Ему показалось, что чья-то темная фигура шелохнулась в тени вербы. Значение и смысл этого подозрительного звука еще не успели дойти до его сознания, как он увидел оранжево-красный язык огня, блеснувший в темноте ночи. Потом он услышал звук выстрела и почувствовал толчок в левую руку.

Биболэт и до этой минуты много раз пытался представить себя в таком опасном положении. Он немало раздумывал — хватит ли у него в такой момент храбрости и находчивости. Теперь же, столкнувшись с действительной опасностью, он вдруг позабыл и о мужестве, и о страхе, обо всем на свете. «Не выпустить врага из рук!» — такова была первая мысль, блеснувшая в его сознании, — и это определило все его поведение.

Он бросился на землю, стараясь укрыться в траве под плетнем, выхватил наган и, затаив дыхание, вперил взгляд в непроглядную темноту под вербой, стоявшей метрах в двадцати пяти от него.

Биболэт потерял ощущение времени. Он решительно не знал, сколько минут или часов пролежал в напряженном безмолвии.

Но как ни напрягал он зрение и слух, под вербой не раздавалось ни звука. Лай собак, поднявшийся по всей округе вслед за выстрелом, раздражал его: он боялся, как бы не пропустить шороха, которого он так ждал. Его мысль работала остро и трезво. Он даже вспомнил совет, который дал ему когда-то один командир Красной Армии: при стрельбе следует держать свободно ручку нагана. Он ослабил пальцы и тотчас же почувствовал облегчение. Беспокоила только левая: раненая рука постепенно деревенела.

Наконец Биболэту показалось, что под вербой опять шевельнулась тень, но он решил стрелять только наверняка. Не упустить врага—важнее всего! В тот же момент из-за вербы раздался еще один выстрел, и лицо Биболэта обдало землей. Он не шелохнулся. Теперь он не отрывал взгляда от того места, где вспыхнул огонек выстрела.

Кольцо лающих собак между тем сжималось вокруг них.

Стал слышен и встревоженный говор людей. На повороте в переулок раздался чей-то окрик:

— Здесь стреляют!

Биболэту показалось, что он узнал голос Мхамета. «Еще напорется, и подстрелят его», — подумал Биболэт с тревогой. Он напряг зрение до того, что глаза у него заболели.

Вдруг из-за вербы метнулась большая темная фигура и бросилась на плетень. Биболэт быстро прицелился и выстрелил. Фигура свалилась, и Биболэт услышал гулкий стук о землю, словно упал набитый землей мешок. Человек, очевидно раненый, в бессильном бешенстве карабкался на плетень, ломая и выдирая прутья. Он снова принялся стрелять, но по направлению язычков огня Биболэт догадался, что тот стреляет уже не целясь. Биболэт считал выстрелы. Досчитав до пяти, он быстро вскочил на ноги, перебежал через улицу и, заметив у плетня темную скорченную фигуру, унял на нее всей тяжестью тела.

— Не наваливайся, никуда не уйду. Твое счастье взяло верх, — сказал странно спокойный голос.

Это был голос Юсуфа Бехукова!

Биболэт окаменел от изумления. С того самого мо-

мента, когда раздался первый выстрел, он бессознательно был уверен, что под вербой таится Лыхуж. Даже в тених, сгустившихся под плетнем, мерещилась ему широкая, неуклюжая фигура Лыхужа. Он все-таки никогда не мог бы предположить, что Юсуф, его бывший друг, дойдет до этого...

Биболэт опомнился, когда услышал голос подбежавшего Мхамета:

— Кто это?

— Иди сюда, Мхамет! — произнес Биболэт упавшим голосом.

Вслед за Мхаметом прибежал Тыхуцук и много других людей.

При Юсуфе не нашли револьвера. Он сказал, что забросил оружие в кукурузу. Пошли на огород, и после долгих поисков Мхамет нашел наган.

Раненого Юсуфа подняли и понесли в ближайший дом. Биболэт только теперь по-настоящему ощутил боль в левой руке, пальцы слипались от крови.

Револьвер, из которого стрелял Юсуф, как оказалось, принадлежал Алию Нагоджуко...

Глава девятая

На одной из улиц в Краснодаре, у входа в дом, где жил Биболэт, остановилась Айшет. Она недоверчиво посмотрела на дверь, остановила прохожего и еще раз справилась о номере дома. Робко постучала. Ей пришлось долго ждать. Открыла какая-то женщина и, коротко ответив: «Мозокова нет дома!», захлопнула дверь перед самым носом Айшет.

Растерянная Айшет осталась стоять на улице. Она не знала, что предпринять и куда пойти. Наконец поставила свой фанерный чемоданчик и присела.

Какая-то девушка в коротком светлом пиджачке остановилась у двери, посмотрела на Айшет недоуменно, но приветливо и спросила:

— Почему вы здесь сидите? Кого-нибудь ждете?

Айшет испуганно поднялась, боясь, что сидеть около двери не позволено.

— Мозоко ждем... Дома нету... — произнесла она прерывающимся голосом.

— Вы его сестра?

Девушка вошла в дом и спустя минуту вернулась.

— Заходите.

Айшет, словно боясь, что ее заманивают в ловушку, робко пошла за ней. Она очутилась в общем коридоре. Двери с обеих сторон стали открываться. Из них выглядывали женщины разных возрастов. Айшет показалось, что все они как-то недружелюбно и недоверчиво смотрят на нее. Айшет тоже почувствовала к ним некоторую неприязнь и, потупившись, стала у входа.

Ей особенно не понравилась красивая женщина, стоявшая у второй двери направо. — изнеженная, белотелая, завитая, с пухлыми плечами. «Наверное, она никогда не была на солнце», — подумала Айшет. Все движения женщины дышали ленью. Она разговаривала с соседкой, капризно надувая огненно-красные губы. Женщина окинула Айшет холодным, брезгливым взглядом.

Девушка, которая ввела Айшет, постучала в одну из дверей налево. Дверь немного приоткрылась, показалась голова старухи. Девушка что-то долго говорила старухе. Та строго, недоверчиво оглянулась на Айшет, выдвинулась из комнаты и не спеша прикрыла за собой дверь. Девушка и старуха долго и возбужденно разговаривали. Айшет даже показалось, что они поссорились. В их разговор постепенно вмешались другие женщины. Всей душой Айшет была на стороне девушки, но чувствовала, что большинство женщин спорит с этой ее единственной защитницей. Однако девушка не отступала, и в конце концов неумолимая старуха вынесла и передала ей ключи. Девушка отперла дверь комнаты, что была рядом с квартирой красивой недружелюбной женщины, и сказала Айшет:

— Заходите, это квартира Биболэта.

Напуганная переполохом, который она произвела своим появлением, Айшет робко взяла свой чемоданчик и пошла вслед за девушкой. Перед тем как скрыться за дверью, она еще раз метнула нугливый взгляд на красивую женщину; та только презрительно скривила губы.

— Вы пока посидите, а я пойду скажу Биболэту, — сказала девушка и оставила Айшет одну.

Для Айшет город был каким-то потусторонним миром. Все было здесь чуждо — и непонятная шумная и сложная жизнь, и люди, которых она встречала на улицах и здесь, в доме. Даже в комнате Биболэта она чувствовала себя непрошеной гостьей. Не верилось,

что здесь может жить Биболэт. Она не сняла свою шаль, и чемоданчик ее стоял перед ней, точно она была на вокзале.

Долго просидела она, объятая сожалением, что приехала, и тревожным раздумьем о том, как ей быть дальше.

Неожиданно в соседней комнате раздалось пение. Сквозь унылую песню Айшет различала звонкое постукивание каблуков.

Мысли Айшет невольно перекинулись к Биболэту.

«Если Биболэту достанется в подруги такая женщина, он погиб...— озабоченно думала она.— Неужели пути Биболэта и Нафисет так и разошлись?..» Беспричинно обвиняла в душе красивую, но неприятную ей женщину в том, что Биболэт не поладил с Нафисет. Если не эта, так другая такая же, наверное, встала на пути Нафисет!

И вдруг увидела под кроватью желтые женские туфли. «Лэт женился!» — едва не вскрикнула Айшет, и у нее перехватило дыхание. Осмотревшись внимательнее, она подметила в комнате и еще кое-какие следы присутствия женщины. Поднявшись, она тихонько открыла гардероб, и тут сомнения ее окончательно рассеялись: там висели платья...

Айшет мгновенно позабыла и о своих тревогах, и о неприветливости города, и о шуме, с которым она вошла в эту комнату,— все выскользнуло из ее сердца, осталась одна тревога за судьбу Биболэта. В невыразимой озабоченности вернулась она на свое место и погрузилась в размышления, строя десятки догадок и предположений.

Сначала она с надеждой отмечала каждый звук открывающейся двери, но дверей в коридоре было так много, что скоро Айшет перестала прислушиваться. Неожиданно дверь комнаты открылась, и смеющийся Биболэт встал на пороге.

— Айшет!

Она поднялась оторопело, Биболэт бросился к ней.

— Моя милая Айшет, как хорошо ты сделала, что приехала! Вот молодчина.

Он схватил ее в охапку и принялся целовать, осыпая ласковыми восклицаниями.

Только после того, как прошел взрыв радости, Биболэт заметил в сестре странную холодность и отчужденность, точно она собиралась предъявить ему какое-то обвинение. На этот раз Айшет не забрасывала его, как

обычно, быстрыми и заботливыми вопросами. А на его вопросы отвечала сдержанно, словно она была озабочена чем-то более важным.

— Что случилось с тобой? — спросил Биболэт.

— Неважно, что случилось со мной. Меня беспокоит то, что с тобой случилось? Чьи это башмаки? — Айшет смотрела на него в упор, точно уличила в каком-то преступлении.

— А-а... вот что, оказывается, тебя беспокоит! — Биболэт добродушно расхохотался. — Ты же говорила, чтоб я женился!..

— На ком ты женился? Почему ты ничего не сообщил нам?

— Той, на которой я женился, сейчас нет дома. Кто она? Она — человек! — Биболэт улыбнулся, дразня Айшет. — Когда она дома распускает свои волосы, они покрывают ее до пят. Вода, которую пьет она, видна сквозь горло, так светла ее кожа. Когда засучит рукава, мы уже не зажигаем лампу — ее светлые руки освещают комнату. Когда я в комнате, она и не подумает сесть при мне — настолько она покорна.

— Ну, ты свое ребячество, наверное, не оставишь! Такая тебе не нужна и нам бесполезна. Но если ты женился на одной из таких, как твоя соседка, — это будет плохо. Та, которую ты обрисовал, на худой конец, была бы покорна тебе. А такой, как эта, — ты должен быть сам покорен. Скажи-ка правду, Лэт, свет очей моих, и вправду ты женился? — взмолилась Айшет, приблизившись к нему и взяв его за локоть.

— Куда мне жениться! До женитьбы ли мне? Башмаки я для тебя заказал...

— Положим, эти башмаки ты заказал не для меня: их порядком потоптала другая. Но ты толком скажи, брось шутить, не мучай меня: что произошло между тобой и Нафисет? Если ты упустил эту девушку, я до самой могилы не прощу тебе этого.

— Нафисет — она стала ученая! И ученые женихи кружатся вокруг нее, не дают ей проходу. Она теперь не посмотрит на такого, как я! — сказал Биболэт, не оставляя тона добродушной шутливости.

Айшет долго, с самым угрожающим видом наступала на Биболэта, но так ничего и не добилась. Под конец она вовсе разгневалась на него. Но тут дверь открылась снова, и на пороге показалась молодая женщина.

— Заходите, заходите, милости просим! — поспешил Биболэт навстречу женщине, подмигнув ей. — Кого вам нужно?

Женщина похожа на русскую, но странно, Айшет чудится, что она улавливает в этом лице черты адыгейки. Робко войдя в комнату, женщина вся зарделась и остановилась, глядя на Айшет с улыбкой.

Айшет в свою очередь растерянно и недоуменно разглядывала ее белоснежный костюм, красивую прическу, вязаную шапочку из белого пуха и всю ее прямую и стройную фигуру.

«На такую я бы согласилась...» — мельком подумала Айшет.

— Неужели ты не узнаешь меня, Айшет? — сказала вдруг женщина по-адыгейски.

Айшет в смятении оторвала взгляд от белого платья, белых туфель, к которым до сих пор были прикованы ее глаза, и внимательно всмотрелась в лицо женщины.

— Нафисет! — радостно вырвалось у нее.

Они бросились в объятия друг другу.

Айшет то восторженно рассматривала Нафисет, то порывисто обнимала. Исхудалые и бледные щеки ее горели болезненным румянцем.

— Вы меня обрадовали, — сказала она, улыбаясь. — Но и у меня есть новость, которая обрадует вас! Почему вы не спросите меня, как и зачем я приехала?

— В самом деле! — вскрикнул Биболэт. — Ты всегда боялась выбраться даже из аула...

— Я догадываюсь: на съезд черкешенок приехала, да? — спросила Нафисет.

— И это не то. Я, правда, приехала на съезд, но сама я собралась шагнуть подальше.

Биболэт взглянул на нее с недоумением. А Нафисет не выдержала и стала умолять:

— Милая Айшет, не мучь нас, скажи скорее!

— А вот угадайте!..

Она помолчала и, растягивая по слогам каждое слово, медленно и торжественно произнесла:

— Я еду учиться!

— Как учиться? — Биболэт даже вскочил.

— Еду учиться в Ростов, на курсы горянок.

— Ты обманываешь! — недоверчиво и разочарованно протянул Биболэт. — Я никогда не поверю, чтобы Хусен согласился на это.

— Ему поневоле пришлось согласиться...

— Каким образом?

Радость Айшет мгновенно померкла. Она грустно опустила голову и начала обстоятельный рассказ:

— Он давно перестал замечать меня и начал ухаживать за девицами, выбирая себе новую, молодую жену. После твоей стычки с Юсуфом я крепко задумалась. Я поняла, что теперь уже не те времена, когда во всем мы зависели от мужей. Я подумала, что в колхозе можно прокормить и себя и своего ребенка. И вот решила разойтись с ним. Попросила Мхамета как-нибудь доставить меня домой. В этот момент в правлении был Доготлуко, и он сказал мне: «Если хочешь, пошлем тебя на курсы учиться». Я сразу же так подумала: раз уж сорвалась со старого места, где прожила полжизни, мне все равно, далеко идти или близко. И вот решила. Взяла ребенка, села на колхозную линейку, приехала домой. Ребенка оставила с матерью, а сама, как видите, с чемоданчиком отправляюсь на учебу. Вот так я и приехала! Выходит, что жизнь я начинаю заново.

— Мужественный поступок! Хорошо сделала, что решила учиться! — сказал Биболэт, обнимая сестру.

Когда все трое немного успокоились, Айшет перешла к колхозным новостям:

— Самый знатный человек в ауле — твой дедушка, Нафисет. Вечерами Карбеч зажигает фонарь и обходит свой квартал. Кончиком палки стучит в каждую дверь и даже в двери женской половины: подумайте, сам Карбеч уже не соблюдает обычаев! Если из двери выглянет женщина, он отворачивается и сурово приказывает ей: «Выгони-ка своего лентяя на ликпункт! И ты тоже завтра на учебу женщин не опаздывай!»

Так он обходит все дома. Мужчины, боясь навлечь на себя упреки Карбеча, аккуратно являются на ликпункт. Во время занятий Карбеч ставит свой фонарь на землю, садится в угол и, как ночной сыч, строго следит за порядком. Если увидит, что кто-нибудь ведет себя легкомысленно, одергивает. Так сидит до конца занятий, а потом, замкнув помещение, идет в аульский штаб колхозного ликбеза и обо всем докладывает.

А старуха Дарихан стала теперь заведующей детскими...

Перед вечером Нафисет и Айшет отправились на первый съезд черкешенок.

Город теперь уже не казался Айшет чужим и враждебным. Чувство тоскливого одиночества исчезло. Оживленное движение на улицах, пробегающие трамваи, высокие дома, нарядные витрины магазинов — все, казалось ей, подчеркивало ее радость.

Может быть, Айшет даже казалась со стороны смешной: она потеряла привычную скованность походки адыгейской женщины и не приобрела еще свободной поступи горожанки. Но Айшет уже не стыдилась этого: она понимала, что если тело ее еще сковано старыми привычками, то сердце и ум уже свободны! Она вся была охвачена восторгом человека, только что выпущенного из темницы, и наивно радовалась всему, что видит на свободе. Счастливая, беспечная, окрыленная, она шагала рядом с Нафисет, путаясь в подоле платья, и необычно высоко держала голову. Новый мир, обретенный ею, слепил привыкшие к темнице адата глаза, и они светились необыкновенно ярко и молодо. Это замечали даже прохожие и невольно улыбались ей.

...Съезд женщин-адыгеек проходил в Северном театре. Айшет и Нафисет пришли уже после открытия съезда. В тот момент, когда они вошли, старая женщина в черном платье шла к трибуне, поддерживаемая под руки.

Остановившись у трибуны, она восторженно оглядывала зал и наконец растроганно заговорила:

— Милые мои! Ваши знамена осыпаны золотом, ваш новый мир облит золотыми лучами солнца, вы сами — золотые люди, начавшие шамбул¹ старой жизни в борьбе за новую жизнь. Аллах да поможет вам в этом святом деле. Я радуюсь за вас и желаю вам счастья!

Старуха умолкла, вытерла концом черной шали глаза, хотела еще что-то сказать, но только махнула рукой:

— Много хорошего я хотела вам сказать, но больше не могу, не осудите, — и она сошла с трибуны.

Аплодисменты провожали ее до места, и еще долго после того, как она села, зал бушевал.

Айшет, забыв обо всем, восторженно хлопала в ладоши, и пока Нафисет не тронула ее за руку, она не замечала, что одна во всем зале продолжала аплодировать.

¹ Ш а м б у л — штурм.